

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева

Статьи, эссе

Поэт и время

«Я очень люблю искусство, только не современное» – слово не только обывателя, но, бывает, и большого художника, но неизменно – о чужой отрасли художества, живописца о музыке, например. В своей же области крупный художник неизбежно современен, почему – увидим дальше.

Нелюбовь к вещи, во-первых и в главных, есть неузнавание ее: в ней – уже знакомого. Первая причина неприятия вещи есть неподготовленность к ней. Простонародье в городе долго не ест наших блюд. Как и дети – новых. Физический отворот головы. Ничего не вижу (на этой картине) и поэтому не хочу смотреть – а чтобы видеть, именно нужно смотреть, чтобы увидеть – всматриваться. Обманутая надежда глаза, привыкшего по первому взгляду – то есть по прежнему, чужих глаз, следу – видеть. Не дознаваться, а узнавать. У стариков усталость (она и есть отсталость), у обывателя предубежденность, у живописца, не любящего современной поэзии, – заставленность (голова и всего существа) – своим. Во всех трех случаях страх усилия, вещь простимая – пока не судят.

Единственный достойный уважения случай. То есть единственно законное неприятие вещи, – неприятие ее в полном знании. Да, знаю, да, читаю, да, признаю – но предпочитаю (положим) Тютчева, мне, хочу моей крови и мысли, более сродного.

Всякий волен выбирать себе любимых, вернее никто своих любимых выбирать не волен: рада бы, предположим, любить свой век больше предыдущего, но не могу. Не могу да и не обязана. Любить никто не обязан, но всякий нелюбящий обязан знать: то, чего не любит, – раз, почему не любит – два.

Дойдем до крайнего из крайних случая: неприятия художником собственной вещи. Мне мое время может претить, я сама себе, поскольку я – оно, могу претить, больше скажу (ибо бывает!) мне чужая вещь чужого века может быть желаннее своей – и не по примете силы, а по примете родности – матери чужой ребенок может быть милее своего, пошедшего в отца, то есть в век, но я на свое дитя – дитя века – обречена, другого породить, как бы хотела, не могу. Роковое. Любить свой век больше предыдущего не могу, но творить иной век, чем свой, тоже не могу: сотворенного не творят и творят только вперед. Не дано выбирать своих детей: данных и заданных.

«Я очень люблю стихи, только не современные» – есть и у этого утверждения, как у всякого, свое контр-утверждение, а именно: «Я очень люблю стихи, но только современные». Начнем с самого нелюбопытного и частого случая: того же обывателя и дойдем до любопытнейшего: большого поэта.

«Долой Пушкина» есть ответный крик сына на крик отца «Долой Маяковского» – сына, орущего не столько против Пушкина, сколько против отца. Крик «долой Пушкина» первая на глазах уже не курящего отца и не столько на радость себе, сколько на зло ему выкуренная папироса. В порядке семейной ссоры, кончающейся – миром. (Ни отцу, ни сыну, по существу, ни до Маяковского, ни до Пушкина дела нет.) Крик враждующих поколений.

Второй автор обывательскому крику: Долой Пушкина – худший из авторов: мода. На этой авторессе останавливаться не будем: страх отстать, то есть расписка в собственной овечьести. Что спрашивать с обывателя, когда этой овечьести подвержены и сами писатели, писательский хвост. У каждой современности два хвоста: хвост реставраторский и хвост новаторский, и один хуже другого.

Но крик не обывателя, крик большого писателя (тогда восемнадцатилетнего) Маяковского: долой Шекспира!

Самоохрана творчества. Чтобы не умереть – иногда – нужно убить (прежде всего – в себе). И вот Маяковский – на Пушкина. Своего по существу не врага, а союзника, самого современного поэта своего времени, такого же творца своей эпохи, как Маяковский – своей – и только потому врага, что его вылили в чугуне и этот чугун на поколения навалили. (Поэты, поэты, еще больше прижизненной славы бойтесь

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru посмертных памятников и хрестоматий!) Крик не против Пушкина, а против его памятника. Самоохрана, кончающаяся (и кончившаяся), как только творец (борец) окреп. (Чудесная поэма встречи с Лермонтовым, например, произведение зрелых годов.)

Но – кроме исключительного примера Маяковского – утверждение: «очень люблю стихи, только не современные» и его контр: «Очень люблю стихи, но только современные» друг друга стоят, то есть мало – то есть ничего не стоят.

Никто (кроме кровной самообороны Маяковского) любящий стихи так не скажет, никто истинно-любящий стихи в пользу нынешнего настоящего не отрубит вчерашнего – и всегдашнего – настоящего, никто истинно любящий и не вспомнит, что есть у слова настоящее еще иное значение кроме как: неподдельное – в искусстве ему иного значения нет – никто над искусством, природой, не совершит греха политиков: на единстве почвы установки столба розни.

Не любит никакого любящий только это. Пушкин с Маяковским бы сошлись, уже сошлись, никогда по существу и не расходились. Враждуют низы, горы – сходятся. «Под небом места много всем» – это лучше всего знают горы. И одинокие пешеходы. А до суждения остальных: отсталых, усталых или отстать боящихся, до суждения и предпочтения незнающих нам, по выяснению, а самому искусству и до выяснения – дела нет.

Надпись на одном из пограничных столбов современности: В будущем не будет границ – в искусстве уже сбывалась, отродясь сбывалась. Мирская вещь та, которая в переводе на другой язык и на другой век – в переводе на язык другого века – меньше всего – ничего не утрачивает. Все дав своему веку и краю, еще раз все дает всем краям и векам. Предельно явив свой край и век – беспредельно являет все, что не-край и не-век: навек.

Не современного (не являющего своего времени) искусства нет. Есть реставрация, то есть не искусство, и есть одиночки, заскочившие из своего времени на сто, скажем, лет вперед (NB! никогда – назад), то есть опять-таки, хотя и не своему времени, но современные, то есть не вне-временные.

Гений? Чье имя мы произносим, когда думаем Возрождение? Винчи. Гений дает имя эпохе, настолько он – она, даже если она этого не доосознает. Да просто: Эпоха Гёте, определение, дающее и историческую и географическую – вплоть до звездной карты данного часа. («В дни Гёте», то есть когда так-то стояли звезды, либо, совсем уже достоверно: «Землетрясение в Лиссабоне», то есть, когда Гёте впервые усумнился во всеблагости божества. Сомнение семилетнего Гёте то землетрясение увековечило – и перевесило.)

Гений дает имя эпохе, настолько он – она, даже если он этого не доосознает (якобы, прибавим, ибо Винчи, Гёте, Пушкин – сознавали). Даже в учебниках: Гёте и его время (то есть собирательное и его собираемое). Гений с полным правом может сказать о времени то, что о государстве Людовик – без никакого: *le Temps c'est moi* [1] (вся плеяда: *mon temps – c'est nous*). [2] Это о гении, опережающем. Насчет же якобы на век или три запаздывающих приведу один только случай: поэта Гёльдерлина, по теме, источникам, даже словарю – античного, то есть в свой XVIII в. запоздавшего не на век, а на все восемнадцать, Гёльдерлина, которого в Германии начинают читать только теперь, то есть сто с лишком лет спустя, то есть усыновленного нашим веком, уже вовсе не античным. Запоздавший в свой век на восемнадцать веков оказался современником в XX в. Что сие чудо означает? А то, что запоздать в искусстве нельзя, что само искусство, чем бы ни питалось и что бы ни пыталось восстановить, уже само есть продвижение. Что возврата в искусстве нет: безостановочно, то есть невозвратно. Не безоглядно, но невозвратно. Не на поворот головы идущего смотрите, а на версты отмахиваемые. Можно идти и вовсе закрыв глаза – с палкой слепого – и вовсе без палки. Ноги сами выведут, будь ты мысленно от них за тридевять земель. Глядел назад, а шел вперед.

Одиночка Тютчев? Лесков, вместо своего поколения, попавший в наше? Но так ведь можно дойти до Есенина, запоздавшего в свой край всего на десять лет. Родись он на десять лет раньше – пели бы – успели бы спеть – его, а не Демьяна. Для литературы эпохи показателен он, а не Демьян – показательный может быть, но никак не для поэзии. Есенин, погибший из-за того, что заказа нашего времени выполнить не мог – из-за чувства очень близкого к совести: между завистью и совестью – зря погиб, ибо даже гражданский заказ нашего времени (множеств –

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru (единоличному) выполнил.

«Я последний поэт деревни»...

Всякая современность в настоящем – сосуществование времен, концы и начала, живой узел – который только разрубить. Всякая современность – пригород. Вся российская современность сейчас один сплошной духовный пригород с деревнями-не деревнями и городами-не городами – место во времени, на котором Есенин, так и оставшийся между деревней и городом, и биографически был уместен.

Не современных, поныне здравствующих поэтов, могла бы назвать десятками, но они либо уже не поэты, либо никогда ими и не были. Их покинуло не чувство своего времени, которого, может быть, в голом виде у них и не было, их покинул дар, через который они в свое время чувствовали – являли – творили. Не идти дальше (в стихах – как во всем) – идти вспять, то есть выбывать. С главным козырем эмигрантской литературы случилось то же, что с тридцати лет случается с обывателем: он стал современен предыдущему поколению, то есть в данном случае собственному авторству тридцать лет назад. Не от других идущих, от долженствовавшего идти себя – отстал. Причина неприятия Иксом современного искусства в том, что он его больше не творит. Икс не современен не потому, что не принял современности, а на своем творческом пути остановился, единственное, на что творец не вправе. Искусство идет, художники остаются.

Не современны, кроме нейтральностей, не современных никакому времени, только выбывшие из строя – инвалиды, титул почтенный, ибо в прошлом предполагает валидность (годность).

Даже мой единственный вызов времени:

Ибо мимо родилась

Времени. Вотще и всуе

Требуешь! Калиф на час –

Время! Я тебя миную.

– крик моего времени – моими устами, контр-крик его самому себе. Живи я сто лет назад, когда реки тихо текли... Современность поэта есть его обреченность на время. Обреченность на водительство им.

Из истории не выскочишь. Пойми это Есенин, он спокойно пел бы не только свою деревню, но и дерево над хатой, и этого бы дерева никакими топорами из поэзии XX в. не вырубить.

Современность у поэта не есть провозглашение своего времени лучшим, ни даже просто – приятие его – нет тоже ответ! – ни даже насущность того или иного ответа на события (поэт сам событие своего времени и всякий ответ его на это самособытие, всякий самоответ, будет ответ сразу на все), – современность поэта настолько не в содержании (что ты этим хотел сказать? – А то, что я этим сделал) – что мне, пишущей эти строки, своими ушами довелось слышать после чтения моего Мулодца – это о Революции? (Сказать, что слушатель просто не понял – самому не понять, ибо: не о революции, а она: ее шаг.)

Больше скажу, современность (в русском случае – революционность) вещи не только не в содержании, но иногда вопреки содержанию, – точно насмех ему. Так и в Москве 20 г. мне из зала постоянно заказывали стихи «про красного офицера», а именно:

И так мое сердце над Рэсэфэсэром

Скрежещет – корми – не корми! –

Как будто сама я была офицером

В октябрьские смертные дни.

Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: – их звучание. И солдаты Москвы 20 г. не ошибались: стихи эти, по существу своему, гораздо более про красного офицера (и даже солдата), чем про белого, который бы их и не принял, который (1922–1932 гг.) их и не принял.

Знаю это по чувству веселия и доверия, с которым я их читала там: врагам бросала как в родное, и по чувству (робости и неуместности), с которым их читаю здесь, вроде: «простите Христа ради» – что? да то, что я о вас пишу – так, о вас пишу – не так: по-тамошнему, по-ихнему, вас славлю на языке врага: моем языке! А в общем: простите Христа ради за то, что я – поэт, ибо пиши я так, чтобы вы мне

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru меня не «прощали», а себя во мне узнавали – я бы не была тем, кто я есть – поэтом.

Когда я однажды читала свой Лебединый Стан в кругу совсем неподходящем, один из присутствующих сказал: – Все это ничего. Вы – все-таки революционный поэт. У вас наш темп.

В России мне все за поэта прощали, здесь мне этого поэта прощают.

Знаю еще, что истинные слушатели моему белому Перекопу – не белые офицеры, которым мне, каждый раз как читаю, в полной чистоте сердца хочется рассказать вещь в прозе – а красные курсанты, до которых вещь вплоть до молитвы священника перед наступлением – дошла бы – дойдет.

Если бы между поэтом и народом не стояло политиков!

И еще: мои рэские вещи, при всей моей уединенности, и волей не моей, а своей, рассчитаны – на множества. Здесь множеств – физически нет, есть группы. Как вместо арен и трибун России – зальца, вместо этического события выступления (путь наступления!) литературные вечера, вместо безымянного незаменимого слушателя России – слушатель именной и даже именитый. В порядке литературы, не в ходе жизни. Не тот масштаб, не тот ответ. В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать. Если бы давали говорить.

А в общем просто: здесь та Россия, там – вся Россия. Здешнему в искусстве современно прошлое. Россия (о России говорю, не о властях), Россия, страна ведущих, от искусства требует, чтобы оно вело, эмиграция, страна оставшихся, чтобы вместе с ней оставалось, то есть неудержимо откатывалось назад. В здешнем порядке вещей я непорядок вещей. Там бы меня не печатали – и читали, здесь меня печатают – и не читают. (Впрочем, уж и печатать перестали.) Главное в жизни писателей (во второй половине ее) – писать. Не: успех, а: успеть. Здесь мне писать не мешают, дважды не мешают, ибо мешает не только травля, но и слава (любовь).

Все точка зрения. В России меня лучше поймут. Но на том свете меня еще лучше поймут, чем в России. Совсем поймут.

Меня самое научат меня совсем понимать. Россия только предел земной понимаемости, за пределом земной понимаемости России – беспредельная понимаемость не-земли. «Есть такая страна – Бог, Россия граничит с ней», так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне России, по России, всю жизнь. С этой страной Бог – Россия по сей день граничит. Природная граница, которой не сместят политики, ибо означена не церквями. Не только сейчас, после всего свершившегося, Россия для всего, что не-Россия, всегда была тем светом, с белыми медведями или большевиками, все равно – тем. Некоей угрозой спасения – душ – через гибель тел.

И решиться ехать туда тогда, при всех до-военных ласках было немногим легче, чем сейчас через все запреты. Россия никогда не была страной земной карты. И ехавшие отсюда ехали именно за границу: видимого.

На эту Россию ставка поэтов. На Россию – всю, на Россию – всегда.

Но и России мало. Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России. Эмигрант Царства Небесного и земного рая природы. На поэте – на всех людях искусства – но на поэте больше всего – особая печать неуютя, по которой даже в его собственном доме – узнаешь поэта. Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в свое небо. Возьмите самых разных и мысленно выстройте их в ряд, на чьем лице – присутствие? Все – там. Почвенность, народность, национальность, расовость, классовость – и сама современность, которую творят, – все это только поверхность, первый или седьмой слой кожи, из которой поэт только и делает, что лезет. «Который час? – его спросили здесь. – А он ответил любопытным: Вечность» – Мандельштам о Батюшкове, и: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» – Борис Пастернак о самом себе. По существу все поэты всех времен говорят одно. И это одно так же остается на поверхности кожи мира, как сам зримый мир на поверхности кожи поэта. Перед той эмиграцией – что – наша!

И долго на свете томилась она, желанием чудным полна.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И песен небес заменить не могли
Ей скучные песни земли!
– не менее скучные оттого, что собственные!

Возвращаясь к здесь:

Обыватель большей частью в вещах искусства современен поколению предыдущему, то есть художественно сам себе отец, а затем и дед и прадед. Обыватель в вещах искусства выбывает из строя к тридцати годам и с точки своего тридцатилетия неудержимо откатывается назад – через непонимание чужой молодости – к неузнаванию собственной молодости – к непризнанию никакой молодости – вплоть до Пушкина, вечную молодость которого превращает в вечное старчество, и вечную современность которого в отрочьясь-старинность. И на котором и умирает. Показательно, что ни один рядовой старик Пастернаку, которого не знает, не противупоставляет Державина – которого тоже не знает. Великий знаток не только своей современности, но и первый защитник подлинности новооткрытого тогда Слова о Полку Игоревом – Пушкин – предел обывательской осведомленности вокруг и назад. Всякое незнание, всякая немощь, всякая нежить неизменно под прикрытием Пушкина, знавшего, могшего, ведшего.

Два встречных движения: продвигающегося возраста и отодвигающегося, во времени, художественного соответствия. Прибывающего возраста и убывающего художественного восприятия.

Так старшие в эмиграции по сей день считают своего семидесятилетнего сверстника Бальмонта – двадцатилетним и до сих пор еще с ним сражаются или как внуку «прощают». Другие, помоложе, еще или уже современны тому Игорю Северянину, то есть собственной молодости (на недавний вечер Игоря Северянина эмиграция пошла посмотреть на себя – тогда: на собственную молодость воочью, послушать, как она тогда пела, а молодость – умница! – выросла и петь перестала, только раз – с усмешкой – над нами и над собой...). Третьи, наконец, начинают открывать (допускать возможность) Пастернака, который вот уже пятнадцать лет (1917 г. Сестра моя Жизнь), как лучший поэт России, а печатается больше двадцати лет. Любят и знают Пастернака, то есть настоящие Борису Пастернаку современники, не его сверстники, возле-сорокалетние, а их дети, которые когда-нибудь тоже в свою очередь отстанут, устанут, застынут, на том – нем, если не откатятся куда-нибудь за Блока и дальше, в страну отцов, забывая, что та в свое время была страной сыновей. А где-то, в защитном цвете неизвестности, бродит среди нас тот, будущий – уже сущий – которого – о, как любили бы двадцатилетние его ровесники – если бы знали! Но они его не знают. Но он сам себя еще не знает. Он для себя сейчас еще последний из всех. О нем знают только боги и – пустая его тетрадь с продолженным следом двух его локтей. Двадцатилетнего Бориса Пастернака не дано знать никому.

Из всего сказанного явствует, что признак современности поэта отнюдь не в своевременности его общепризнанности, следовательно не в количественности, а в качественности этого признания. Общепризнанность поэта может быть и посмертной. Но современность (воздействие на качество своего времени) всегда прижизненная, ибо в вещах творчества только качество и в счет.

«On ne perd rien pour attendre»[3] – Пастернак-то ничего не потерял, но может быть, попади тот русский самоубийца под какой-нибудь пастернаковский ливень, будь он (художественно) способен его воспринять, его – выдержать, – он бы и не бросился с Триумфальной арки (в ответ на: любовь моя смерть – Сестра моя Жизнь!).

Спросить бы тех, кто на войну уходили с Пастернаком и Блоком в кармане.

Современная Россия, которая обывателя чуть ли не насильно – во всяком случае неустанно и неуклонно – наглядным и изустным путем приучает к новому искусству, все это переместила и перевернула. Пусть не все понимают, пусть не все сразу понимают, достаточно того, что причину этого непонимания ищут в себе, а не в писателе. – «Почему, Владимир Владимирович, – вопрос рабочих Маяковскому, – когда вы читаете, мы все понимаем, когда сами...» – «Учитесь читать, ребята, учитесь читать»... Россия страна, где впервые учатся читать поэтов, которые – сколько бы этого ни утверждали – не есть соловьи.

Современность поэта во стольких-то ударах сердца в секунду, дающих точную

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
пульсацию века – вплоть до его болезней (NB! мы в стихах все задыхаемся!) во
внесмысловом, почти физическом созвучии сердцу эпохи – и мое включающему, и в
моем – моим – бьющемуся.

Я идейно и жизненно могу отстаивать, отстою, ушедшее – там за краем земли
оставшееся – отстаиваю, а стихи сами без моего ведома и воли выносят меня на
передовые линии. Ни стихов, ни детей у Бога не заказывают, они – отцов!

Так я в Москве 20 г., впервые услышав, что я «новатор», не только не
обрадовалась, но вознегодовала – до того сам звук слова был мне противен. И
только десять лет спустя, после Десяти лет эмиграции, рассмотрев, кто и что мои
единомышленники в старом, а главное, кто и что мои обвинители в новом – я
наконец решила свою «новизну» осознать – и усыновить.

Стихи наши дети. Наши дети старше нас, потому что им дольше, дальше жить. Старше
нас из будущего. Потому нам иногда и чужды.

Возвращаясь к содержанию и его частности направлению. Оттого, что Луначарский
революционер, он не стал революционным поэтом, оттого, что я не – я не стала
поэтом-реставратором. Поэт Революции (*le chantre de la Revolution*) и
революционный поэт – разница. Слилось только раз в Маяковском. Больше слилось,
ибо еще и революционер – поэт. Посему он чудо наших дней, их гармонический
максимум. Но бывают и контр-чудеса: Шатобриан, бывший не с Революцией, а против,
подготовил в литературе революцию Романтизма, чего бы не было, если бы Революция
взяла его в оборот на предмет писания политических памфлетов (№! гениальных – у
Маяковского, сильных всей его – им самим в себе подавленной – лирической силой).
Второе и главное: признай, минуи, отвергни Революцию – все равно она уже в тебе
– и извечно (стихия) и с русского 1918 г., который хочешь не хочешь – был. Все
старое могла оставить Революция в поэте, кроме масштаба и темпа.

– А старый Сологуб с его предсмертными бержериями? Именно-что – старый Сологуб.
Пронзительно как человеческий документ (старого поэта в Революцию),
растравительно как образ (старика, потерявшего все, и вот...), но не это же, не
бержерии же – искусство, и не это же, не бержерии же – Сологуб! В бержериях
Сологуб мрачным потоком своего дара отпущен – опущен на аркадский бережок. У
тоже старого Кузмина в его византийском Св. Георгии (1921 г.) – шаг Революции,
слушал бы иностранец, сказал бы: бой. Об этой революционности говорю. Другой для
поэта нет. Или уж (кроме единственного чуда Маяковского) поэта нет. Пастернак не
потому революционер, что написал 1905 год, а потому, что открыл новое
поэтическое сознание и его неизбежное следствие – форму. (Показательно, что
Пятый год среди своих – тогда больших современников – певца не нашел, в своих
тогда больших поэтах современника не нашел. Есть один Пятый Год –
пастернаковский, двадцать с лишним лет спустя. Из чего вывод, что событие – так
же как поэт и как поэма – иногда может и подождать, не только без всякого для
себя урона, но и на благо. События и события – торопящим великий творческий урок
терпения.)

Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не
дрогнул и не вырос голос – нет. Тема Революции – заказ времени. Тема
прославления Революции – заказ партии.

Является ли – хотя бы самая могущественная, с самым большим будущим в мире
политическая партия – всем своим временем и может ли она от лица всего его
предъявлять свой заказ?

Есенин погиб, потому что не свой, чужой заказ (времени – обществу) принял за
свой (времени – поэту), один из заказов – за весь заказ. Есенин погиб, потому
что другим позволил знать за себя, забыл, что он сам – провод: самый прямой
провод!

Политический (каков бы ни был!) заказ поэту – заказ не по адресу, таскать поэта
по Турксибам – не по адресу, поэтическая сводка вещь неубедительная, таскать
поэта в хвосте политики – непроизводительно.

Посему: политический заказ поэту не есть заказ времени, заказывающего без
посредников. Заказ не современности, а злободневности. Злобе вчерашнего дня и
обязаны мы смертью Есенина.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Есенин погиб, потому что забыл, что он сам такой же посредник, глашатай, вожатый времени – по крайней мере настолько же сам свое время, как и те, кому во имя и от имени времени дал себя сбить и загубить.

Писатель, если только он
Волна, а океан – Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.

Если бы идеологи пролетарской поэзии побольше читали и поменьше учили поэтов, они бы дали этой потрясенной стихии потрясать поэта самой, предоставили поэту потрясаться ею по-своему.

Если бы идеологи пролетарской поэзии побольше читали и поменьше учили поэтов, они бы задумались и над последующим четверостишием:

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода
– то есть самый нерв творчества.

Не пишите против нас, ибо вы – сила, вот единственно законный заказ всякого правительства – поэту.

Если же вы мне скажете: «во имя будущего»... – я от будущего заказы принимаю непосредственно.

Что все то давление (церкви, государства, общества) перед этим, изнутри!

Есть и у меня заказы времени. Помимо боевого темпа «Царь-Девы», «Мулодца», «Красного Коня» и многого еще – то есть помимо косвенного воздействия времени – прямой заказ времени вплоть до имен вождей, но данный не вождами или контр-вождями, а самим явлением. Так, поэма «Перекоп» заказана Перекопом-валом. Закажи или даже предложи мне ее тот или иной идеолог Белого движения, из нее бы ничего не вышло, ибо в дело Любви вмешался бы третий – неизменно-губительный, как бы его ни звали – и убийственный, когда его никак не зовут, то есть когда этот третий – политическая программа.

Больше скажу – если мне и удался «Перекоп», то только благодаря тому, что писала я его не смущенная ничьей корыстной радостью, в полном отсутствии сочувствия, здесь в эмиграции точно так же, как писала бы в России. Одна против всех – даже своих собственных героев, не понимающих моего языка. В двойной отрешенности *cause perdue* Добровольчества и *cause perdue*[4] о нем поэмы.

Всякое групповое партийное корыстное сочувствие – гибель. Есть одно сочувствие – народное. Но оно – потом.

Заказ мне времени есть моя дань времени. Если всякое творчество, т. е. всякое воплощение – дань человеческому естеству, это – сугубая дань естеству и как таковая сугубый грех перед Богом. Единственное спасение меня и вещей, что заказ времени у меня оказался приказом совести, вещи вечной. Совесть за всех тех в чистоте сердца убитых и не воспетых, воспетыми быть не имеющих. В главенстве же, в моих вещах, приказа совести над заказом времени порукой главенство в них любви над ненавистью. Я, обратно всей контрреволюционной Москве и эмиграции, никогда так не ненавидела красных, как любила белых. Злостность времени, думаю, этой любовью несколько искуплена.

Те, кого в Советской России или кто сами себя по скромности зовут попутчиками – сами вожатые. Творцы не только слова, но и видений своего времени.

Даже в бессмертной гоголевской тройке России я поэта не вижу пристяжной.

Не «попутчество», а одинокое сотворчество. И лучше всего послужит поэт своему времени, когда даст ему через себя сказать, сказаться. Лучше всего послужит поэт своему времени, когда о нем вовсе забудет (о нем вовсе забудут). Современность не то, что перекрикивает, а иногда и то, что перемалчивает.

Современность не есть все мое время. Современность есть показательное для времени,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru то, по чему его будут судить: не заказ времени, а показ. Современность сама по себе отбор. Истинно современное есть то, что во времени – вечного, посему, кроме показательности для данного времени, своевременно – всегда, современно – всему. Пушкинские стихи «К Морю», например, с тенью Наполеона и Байрона на вечном фоне Океана.

Современность в искусстве есть воздействие лучших на лучших, то есть обратное злободневности: воздействию худших на худших. Завтрашняя газета уже устарела. Из чего явствует, что большинство обвиняемых в «современности» этого обвинения и не заслуживают, ибо грешат только временностью, понятию такому же обратному современности, как и вневременность. Современность: все-временность. Кто из нас окажется нашим современником? Вещь, устанавливаемая только будущим и достоверная только в прошлом. Современник: всегда меньшинство.

Современность не есть все мое время, но так же и вся современность не есть одно из ее явлений. Эпоха Гёте одновременно и эпоха Наполеона и эпоха Бетховена. Современность есть совокупность лучшего.

Если даже допустить, что коммунизм как попытка наилучшего устройства земной жизни – благо, есть ли он один – благо, есть ли он один – все блага, включает ли в себя, определяет ли он собою все остальные блага и силы: искусства, науки, религии, мысли. Включает, исключает или – наравне – сосуществует.

Я, от лица всех остальных благ, стою на последнем. Как один из двигателей современности, а именно устроитель земной жизни, чем дальше, тем хуже, расстраиваемой – честь и место. Но равно как земное устройство не главнее духовного, равно как наука общежития не главнее подвига одиночества – так и коммунизм, устроитель земной жизни – не главнее всех двигателей жизни духовной, ни надстройкой, ни пристройкой не являющейся. Земля – не все, а если бы даже и все – устройство людского общежития – не вся земля. Земля большего стоит и заслуживает.

Честь и место – как всякому знающему честь и место.

Подхожу к самому трудному для себя ответу: показателен ли для наших дней Рильке, этот из далеких – далекий, из высоких – высокий, из одиноких – одинокий. Если – в чем никакого сомнения – показателен для наших дней – Маяковский.

Рильке не есть ни заказ, ни показ нашего времени, – он его противовес.

Войны, бойни, развороченное мясо розни – и Рильке.

За Рильке наше время будет земле – отпущено.

По обратности, то есть необходимости, то есть противуюдию нашего времени Рильке мог родиться только в нем.

В этом его – современность.

Время его не заказало, а вызвало.

Заказ множества Маяковскому: скажи нас, заказ множества Рильке: скажи нам. Оба заказа выполнили. Учителем жизни Маяковского никто не назовет, так же как Рильке – глашатаем масс.

Рильке нашему времени так же необходим, как священник на поле битвы: чтобы за тех и за других, за них и за нас: о просвещении еще живых и о прощении павших – молиться.

Быть современником – творить свое время, а не отражать его. Да отражать его, но не как зеркало, а как щит. Быть современником – творить свое время, то есть с девятью десятками в нем сражаться, как сражаешься с девятью десятками первого черновика.

Со щей снимают накипь, а с кипящего котла времени – нет?

Гумилевское:

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Я вежлив с жизнью современной,
Но между нами есть преграда –
конечно, относится к тем, кто локтями и гудками мешали ему думать, к времени шумам, а не к тем, кто совместно с ним творили тишину своего времени, о которой так чудесно Пастернак:

Тишина, ты лучшее
Из всего, что слышал.
К временщикам и поденщикам времени, а не к его, Гумилева, современникам.

Теперь, расчистив совесть от всяких недомолвок, взяв труднейшую на себя задачу: констатирования факта времени, признав свою зависимость от времени, свою связанность с ним – и им – признав время своим рабочим материалом, своим орудием производства, своим частичным – и как часто частным! – работодателем, наконец – спрашиваю:

Кто такое мое время, чтобы я еще ему и вольно служила?

Что такое вообще время, чтобы ему служить?

Мое время завтра пройдет, как вчера – его, как послезавтра – твое, как всегда всякое, пока не пройдет само время.

Служение поэта времени – оно есть! – есть служение мимо-вольное, то есть роковое: не могу не. Моя вина перед Богом, – пусть заслуга перед веком!

Брак поэта с временем – насильственный брак. Брак, которого, как всякого претерпеваемого насилия, он стыдится и из которого рвется – прошлые поэты в прошлое, настоящие в будущее – точно время оттого меньше время, что оно не мое! Вся советская поэзия – ставка на будущее. Только один Маяковский, этот подвижник своей совести, этот каторжанин нынешнего дня, этот нынешний день возлюбил: то есть поэта в себе – превозмог.

Брак поэта с временем – насильственный брак, потому ненадежный брак. В лучшем случае – *bonne mine a mauvais jeu*, [5] а в худшем – постоянном – настоящем – измена за изменой все с тем же любимым – Единым под множеством имен.

Как волка ни корми – все в лес глядит. Все мы волки дремучего леса Вечности.

«Брака – нет». Нет, брак – есть: тот же брак колодника с колодкой. Но когда нам кроме брака с вообще-временем, понятием времени, навязывают еще и брак с нашим временем, этим временем, брак с каким-то под-временем, а главное, когда нам это насилие навязывают еще и в любовь, каторгу выдают за служение по призванию, когда нам эту колодку набивают еще и духовно...

Претерпеваемое насилие – слабость. Духовное узаконение претерпеваемого насилия – вещь без имени, на которую не способен ни один раб.

Отстаивать у времени то, что в нем вечного, либо увековечивать то, что в нем временного, – как ни повернуть: времени – веку мира сего – противопоставляется век тот.

Служение времени как таковому есть служение смене – измене – смерти. Не угонишься, не у – служишь. Настоящее. Да есть ли оно? Служение периодической дроби. Думаю, что еще служу настоящему, а уже прошлому, а уже будущему. Где оно present, в чем?

С бегущим можно бежать, но если ты узнаешь, что он никуда не бежит, всегда бежит, бежит, потому что бежит, бежит для того, чтобы бежать. Что его бег – самоцель, либо – что еще хуже – бегство самого от себя: себя – раны, прорехи, в которую утекает все.

«Diese Strecke laufen wir zusammen» (до первого поворота пойдем вместе) – на лучший конец худой дорожный товарищ, заводящий нас во все кабаки, ввязывающий во все драки, отбивающий нас от нашей хотя бы самой скромной цели и в конце концов (очень, очень скоро наступающем!) бросающий нас с пустым кошельком и головою. Если сами, опередив, его не бросили.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Служение своему времени есть заказ с отчаяния. Только данная минута века, только эта мера веса у атеиста и есть обратный и родной лик «лови момента», ибо дальше крышка. Царство земное с отчаяния в Царстве Небесном.

Атеисту ничего не остается кроме земли и устройства.

Прогресс? Но доколе? А если и до конца планеты – продвижение вперед – к яме?

Продвижение вперед не к концу – достижению, а к концу-уничтожению. Если же и планету как-нибудь научат не кончиться, отстоят планету у небытия – поколение земных богов за поколением земных богов? Конец или бесконечность земной жизни, равно-страшно, ибо равно-пусто.

Лермонтовское «на время не стоит труда» относится не к любви, а к самому времени: само время не стоит труда.

Смерть и время царят на земле
Ты владыками их не зови
Все кружась исчезает во мгле
Неподвижно лишь Солнце Любви.

Послесловие

Проставив последнюю точку – Любви, в вечер того же дня читаю в газете:

«Кончилась в Москве одна „дискуссия“, начинается другая. Сейчас „внимание писательской общественности перенесено на стихотворный фронт“».

Доклад о поэзии прочел Асеев, друг и последователь Маяковского. Потом начались прения, и длились они три дня. Сенсацией прений было выступление Пастернака. Пастернак сказал, во-первых, что

– Кое-что не уничтожено Революцией...

Затем он добавил, что

– Время существует для человека, а не человек для времени.

Борис Пастернак – там, я – здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние (Борис Пастернак – с Революцией, я – ни с кем), Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно.

Это и есть: современность.

Медон,

январь 1932

Искусство при свете совести[6]

«Искусство свято», «святое искусство» – как ни обще это место, есть же у него какой-то смысл, и один на тысячу думает же о том, что говорит, и говорит же то, что думает.

К этому одному на тысячу, сознательно утверждающему святость искусства, и обращаюсь.

Что такое святость? Святость есть состояние, обратное греху, греха современность не знает, понятие грех современность замещает понятием вред. Стало быть, о святости искусства у атеиста речи быть не может, он будет говорить либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему, настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого – Бог – грех – святость – есть.

Если атеист заговорит о высоте искусства, речь моя, отчасти, будет относиться и к нему.

Что такое искусство?

Искусство есть та же природа. Не ищите в нем других законов, кроме собственных (не самоволия художника, не существующего, а именно законов искусства). Может быть – искусство есть только ответвление природы (вид ее творчества).

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Достоверно: произведение искусства есть произведение природы, такое же рожденное, а не сотворенное. (А вся работа по осуществлению? Но земля тоже работает, французское «la terre en travail».[7] А само рождение – не работа? О женском вынашивании и вынашивании художником своей вещи слишком часто упоминалось, чтобы на нем настаивать: все знают – и все верно знают.)

В чем же отличие художественного произведения от произведения природы, поэмы от дерева? Ни в чем. Какими путями труда и чуда, но оно есть. Есмь!

Значит, художник – земля, рождающая, и рождающая все. Во славу Божью? А пауки? (есть и в произведениях искусства). Не знаю, во славу чью, и думаю, что здесь вопрос не славы, а силы.

Свята ли природа? Нет. Грешна ли? Нет. Но если произведение искусства тоже произведение природы, почему же мы с поэмы спрашиваем, а с дерева – нет, в крайнем случае пожалеем – растет криво.

Потому что земля, рождающая, безответственна, а человек, творящий – ответственен. Потому что у земли, произрастающей, одна воля: к произрастанию, у человека же должна быть воля к произрастанию доброго, которое он знает. (Показательно, что порочно только пресловутое «индивидуальное»: единоличное, порочного эпоса, как порочной природы, нет.)

Земля в раю яблока не ела, ел Адам. Не ела – не знает, ел – знает, а знает – отвечает. И поскольку художник – человек, а не чудище, одушевленный костяк, а не коралловый куст, – он за дело своих рук в ответе.

Итак, произведение искусства – то же произведение природы, но долженствующее быть просвещенным светом разума и совести. Тогда оно добру служит, как служит добру ручей, крутящий мельничное колесо. Но сказать о всяком произведении искусства – благо, то же, что сказать о всяком ручье – польза. Когда польза, а когда и вред, и насколько чаще – вред!

Благо, когда вы его (себя) возьмете в руки.

Нравственный закон в искусство привносится, но из ландскнехта, развращенного столькими господствами, выйдет ли когда-нибудь солдат правильной Армии?

Поэт и стихи
«Поэзия есть БОГ в святых мечтах земли».

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю.
Упоение, то есть опьянение – чувство само по себе не благое, вне-благое – да еще чем?

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного сулит
Неизъяснимы наслажденья.
Когда будете говорить о святости искусства, помяните это признание Пушкина.

– Да, но дальше...

– Да. Остановимся на этой единственной козырной для добра строке.

Бессмертья, может быть, залог!

Какого бессмертья? В Боге? В таком соседстве один звук этого слова дик. Залог бессмертья самой природы, самих стихий – и нас, поскольку мы они, она. Строка, если не кощунственная, то явно-языческая.

И дальше, черным по белому:

Итак – хвала тебе.
Чума! Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призыванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье –

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Быть может – полное Чумы.

Не Пушкин, стихии. Нигде никогда стихии так не выговаривались. Наитие стихий – все равно на кого, сегодня – на Пушкина. Языками пламени, валами океана, песками пустыни – всем, чем угодно, только не словами – написано.

И эта заглавная буква Чумы, чума уж не как слепая стихия – как богиня, как собственное имя и лицо зла.

Самое замечательное, что мы все эти стихи любим, никто – не судим. Скажи кто-нибудь из нас это – в жизни, или, лучше, сделай (подожги дом, например, взорви мост), мы все очнемся и закричим: – преступление! Именно, очнемся – от чары, проснемся – от сна, того мертвого сна совести с бодрствующими в нем природными – нашими же – силами, в который нас повергли эти несколько размеренных строк.

Гений

Наитие стихий все равно на кого – сегодня на Пушкина. Пушкин в песенке Вильсоновой трагедии в первую голову гениален тем, что на него нашло.

Гений: высшая степень подверженности наитию – раз, управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности. Высшая – страдательности и высшая – действенности.

Дать себя уничтожить вплоть до какого-то последнего атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет – мир.

Ибо в этом, этом атоме сопротивления (-вляемости) весь шанс человечества на гения. Без него гения нет – есть раздавленный человек, которым (он все тот же!) распираются стены не только Бедламов и Шарантонов, но и самых благополучных жилищ.

Гения без воли нет, но еще больше нет, еще меньше есть – без наития. Воля – та единица к бессчетным миллиардам наития, благодаря которой только они и есть миллиарды (осуществляют свою миллиардность) и без которой они нули – то есть пузыри над тонущим. Воля же без наития – в творчестве – просто кол. Дубовый. Такой поэт лучше бы шел в солдаты.

Пушкин и Вальсингам

Не на одного Вальсингама нашла чума. Пушкину, чтобы написать «Пир во время Чумы», нужно было быть Вальсингамом – и перестать им быть. Раскаившись? Нет.

Пушкину, чтобы написать песню Пира, нужно было побороть в себе и Вальсингама и священника, выйти, как в дверь, в третье. Растворись он в чуме – он бы этой песни написать не мог. Открестись он от чумы – он бы этой песни написать не мог (порвалась бы связь).

От чумы (стихии) Пушкин спасся не в пир (ее над ним! то есть Вальсингама) и не в молитву (священника), а в песню.

Пушкин, как Гёте в Вертере, спасся от чумы (Гёте – любви), убив своего героя той смертью, которой сам вожделем умереть. И вложив ему в уста ту песню, которой Вальсингам сложить не мог.

Смоги эту песню Вальсингам, он был бы спасен, если не для Вечной жизни – так для жизни. А Вальсингам – мы все это знаем – давно на черной телеге.

Вальсингам – Пушкин без выхода песни.

Пушкин – Вальсингам с даром песни и волей к ней.

* * *

Почему я самовольно отождествляю Пушкина с Вальсингамом и не отождествляю его с священником, которого он тоже творец?

А вот. Священник в Пире не поет. (– Священники вообще не поют. – Нет, поют – молитвы.) Будь Пушкин так же (сильно) священником, как Вальсингамом, он не мог бы не заставить его спеть, вложил бы ему в уста контр-гимн, Чуме – молитву, как вложил прелестную песенку (о любви) в уста Мэри, которая в Пире (Вальсингам –

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru то, что Пушкин есть) – то, что Пушкин любит.

Лирический поэт себя песней выдает, выдаст всегда, не сможет не заставить сказать своего любимца (или двойника) на своем, поэта, языке. Песенка в драматическом произведении всегда любовная обмолвка, нечаянный знак предпочтения. Автор устал говорить за других и вот проговаривается – песней.

Что у нас остается (в ушах и в душах) от Пира? Две песни. Песня Мэри – и песня Вальсингама. Любви – и Чумы.

Гений Пушкина в том, что он противовеса Вальсингамову гимну, противоядия Чуме – молитвы – не дал. Тогда бы вещь оказалась в состоянии равновесия, как мы – удовлетворенности, от чего добра бы не прибыло, ибо, утолив нашу тоску по противу-гимну, Пушкин бы ее угасил. Так, с только-гимном Чуме, Бог, Добро, молитва остаются – вне, как место не только нашей устремленности, но и отбрасываемости: то место, куда отбрасывает нас Чума. Не данная Пушкиным молитва здесь как неминуемость. (Священник в Пире говорит по долгу службы, и мы не только ничего не чувствуем, но и не слушаем, зная заранее, что он скажет.)

О всем этом Пушкин навряд ли думал. Задумать вещь можно только назад, от последнего пройденного шага к первому, пройти взрячую тот путь, который прошел вслепую. Продумать вещь.

Поэт – обратное шахматисту. Не только Шахматов, не только доски – своей руки не видать, которой может быть и нет.

* * *

В чем кощунство песни Вальсингама? Хулы на Бога в ней нет, только хвала Чуме. А есть ли сильнее кощунство, чем эта песня?

Кощунство не в том, что мы, со страха и отчаяния, во время Чумы – пируем (так дети, со страха, смеются!), а в том, что мы в песне – апогее Пира – уже утратили страх, что мы из кары делаем – пир, из кары делаем дар, что не в страхе Божьем растворяемся, а в блаженстве уничтожения.

Если (как тогда верили все, как верим и мы, читая Пушкина) Чума – воля Божия к нас покаранию и покорению, то есть именно бич Божий.

Под бич бросаемся, как листва под луч, как листва под дождь. Не радость уроку, а радость удару. Чистая радость удару как таковому.

Радость? Мало! Блаженство, равного которому во всей мировой поэзии нет. Блаженство полной отдачи стихии, будь то Любовь, Чума – или как их еще зовут.

Ведь после гимна Чуме никакого Бога не было. И что же остается другого священнику, как не: войдя («входит священник») – выйти.

Священник ушел молиться, Пушкин – петь. (Пушкин уходит после священника, уходит последним, с трудом (как: с мясом) отрываясь от своего двойника Вальсингама, вернее в эту секунду Пушкин распадается: на себя – Вальсингама – и себя поэта, себя – обреченного и себя – спасенного.)

А Вальсингам за столом сидит вечно. А Вальсингам на черной телеге едет вечно. А Вальсингама лопатой зарывают вечно.

За ту песню, которой спасся Пушкин.

* * *

Страшное имя – Вальсингам. Недаром Пушкин за всю вещь назвал его всего три раза (назвал – как вызывают, и так же трижды). Анонимное: Председатель, от которого вещь приобретает жуткую современность: еще родней.

Вальсингамы стихиям не нужны. Они берут их походя. Перебороть в Вальсингаме Бога, увы, полегче, чем в Пушкине – песню.

В «Пире во время Чумы» Чума не на Вальсингама льстилась, а на Пушкина.

И – дивные дела! – Вальсингам, который для Чумы только повод к заполучению

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Пушкина, Вальсингам, который для Пушкина только повод к стихийному (чумному) себе, именно Вальсингам Пушкина от Чумы спасает – в песню, без которой Пушкин не может быть стихийным собой. Дав ему песню и взяв на себя конец.

Последний атом сопротивления стихии во славу ей – и есть искусство. Природа, перебарывающая сама себя во славу свою.

* * *

Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает тебя в стихию стихий: слово.

Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно.

Гибель поэта – отрешение от стихий. Проще сразу перерезать себе жилы.

* * *

Весь Вальсингам – экстерриоризация (вынесение за пределы) стихийного Пушкина. С Вальсингамом внутри не проживешь: либо преступление, либо поэма. Если бы Вальсингам был – Пушкин его все равно бы создал.

* * *

Слава Богу, что есть у поэта выход героя, третьего лица, его. Иначе – какая бы постыдная (и непрерывная) исповедь. Так спасена хотя бы видимость.

* * *

«Аполлоническое начало», «золотое чувство меры» – разве вы не видите, что это только всего: в ушах лицеиста застрявшая латынь.

Пушкин, создавший Вальсингама, Пугачева, Мазепу, Петра – изнутри создавший, не создавший, а извергший...

Пушкин – муря «свободной стихии»...

– Был и другой Пушкин.

– Да: Пушкин Вальсингамовой задумчивости. (Священник уходит. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость.)

* * *

Ноябрь 1830 г. Болдино. Сто один год назад. Сто один год спустя.

Уроки искусства

Чему учит искусство? Добру? Нет. Уму-разуму? Нет. Оно даже себе самому научить не может, ибо оно – дано.

Нет вещи, которой бы оно не учило, как нет вещи, ей прямо обратной, которой бы оно не учило, как нет вещи, которой бы одной только и учило.

Все уроки, которые мы извлекаем из искусства, мы в него влагаем.

Ряд ответов, к которым нет вопросов.

Все искусство – одна данность ответа.

Так, в «Пире во время Чумы» оно ответило раньше, чем я спросила, закидало меня ответами.

Все наше искусство в том, чтобы суметь (поспеть) противопоставить каждому ответу, пока не испарился, свой вопрос. Это обскакивание тебя ответами и есть вдохновенье. И как часто – пустой лист.

* * *

Один прочел Вертера и стреляется, другой прочел Вертера и, потому что Вертер стреляется, решает жить. Один поступил, как Вертер, другой, как Гёте. Урок самоистребления? Урок самообороны? И то и другое. Гёте, по какому-то закону данного часа его жизни, нужно было застрелить Вертера, самоубийственному демону поколения нужно было воплотиться рукой именно Гёте. Дважды роковая необходимость и как таковая – безответственная. И очень последственная.

Виновен ли Гёте во всех последовавших смертях?

Он, на глубокой и прекрасной старости своих лет, сам ответил: нет. Иначе бы мы и слова сказать не смели, ибо кто может учесть действие данного слова? (передача моя, смысл таков).

И я за Гёте отвечу: нет.

Злой воли у него не было, никакой воли, кроме творческой, не было. Он, пища своего Вертера, не только о всех других (то есть их возможных бедах), но и о себе (своей беде!) забыл.

Всезабвенье, то есть забвенье всего, что не вещь, то есть самая основа творчества.

Написал ли бы Гёте после всего происшедшего второго Вертера – если, вопреки вероятно, ему бы еще раз так же до зарезу понадобилось – и был ли бы подсуден тогда? Написал ли бы Гёте – зная?

Тысячу раз бы написал, если бы понадобилось, как не написал бы и первой строки первого, будь давление чуть-чуть ниже. (Вертер, как Вальсингам, давит изнутри.)

– и был ли бы подсуден тогда?

Как человек – да, как художник – нет.

Больше скажу: подсуден и осужден Гёте, как художник, был бы именно в случае умерщвления в себе Вертера в целях сохранения человеческих жизней (исполнения заповеди: не убий). Здесь художественный закон нравственному прямо-обратен. Виновен художник только в двух случаях: уже упомянутого отказа от вещи (в чью бы то ни было пользу) и в создании вещи нехудожественной. Здесь его малая ответственность кончается и начинается безмерная человеческая.

Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимая атрофия совести, тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим (не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя. Единственный способ искусству быть заведомо-хорошим – не быть. Оно кончится с жизнью планеты.

Поход Толстого

«Исключение в пользу гения». Все наше отношение к искусству – исключение в пользу гения. Само искусство тот гений, в пользу которого мы исключаемся (выключаемся) из нравственного закона.

Что же все наше отношение к искусству, как не: победителей не судят – и кто же оно – искусство, как не заведомый победитель (обольститель) прежде всего нашей совести.

Оттого-то мы, вопреки всей нашей любви к искусству, так горячо и отзываемся на неумелый, внехудожественный (против собственной шерсти шел и вел) вызов Толстого искусству, что этот вызов из уст художника, обольщенных и обольщающих.

В призыве Толстого к уничтожению искусства важны уста, призывающие, звучи он не с такой головокружительной художественной высоты, призывай нас любой из нас – мы бы и головы не обернули.

В походе Толстого на искусство важен Толстой: художник. Художнику мы прощаем сапожника. «Войны и Мира» из нашего отношения не вытравить. Невытравимо. Непоправимо.

Художником мы освящаем сапожника.

В походе Толстого на искусство мы еще раз обольщены – искусством.

* * *

Все это не в укор Толстому, а в укор нам, рабам искусства. Толстой бы душу отдал, чтобы слушали не Толстого, а правду.

* * *

Возражение.

Чья проповедь нищеты убедительнее, то есть для богатства убийственнее – отродясь-нищего, или богача, отрекшегося?

Последнего, конечно.

Тот же пример с Толстым. Чье осуждение чистого искусства убедительнее (для искусства убийственнее) – толстовца, в искусстве ничем не бывшего, или самого Толстого – бывшего всем?

Так, начав с нашего навеки-кредита Толстому-художнику, кончаем признанием полного дискредитирования – Толстым-художником – самого искусства.

* * *

Когда я думаю о нравственной сущности этой человеческой особи: поэта, я всегда вспоминаю определение толстовского отца в «Детстве и Отрочестве»: – Он принадлежал к той опасной породе людей, которые один и тот же поступок могут рассказать как величайшую низость и как самую невинную шутку.

Спящий

Вернемся к Гёте. Гёте в своем Вертере так же неповинен в зле (гибели жизней), как (пример со вторым читателем, из-за Вертера решающим жить) неповинен в добре. Оба – и смерть и желание жить – как последствие, а не как цель.

Когда у Гёте была цель, он осуществлял ее в жизни, то есть строил театр, предлагал Карлу-Августу ряд реформ, изучал быт и душу гетто, занимался минералогией, наконец, когда у Гёте была та или иная цель, он осуществлял ее прямо, без этого великого обхода искусства.

Единственная цель произведения искусства во время его совершения – это завершение его, и даже не его в целом, а каждой отдельной частицы, каждой молекулы. Даже оно само, как целое, отступает перед осуществлением этой молекулы, вернее: каждая молекула является этим целым, цель его всюду на протяжении всего его – всеместно, всеприсутственно, и оно как целое – самоцель.

По свершении же может оказаться, что художник сделал больше, чем задумал (смог больше, чем думал!), иное, чем задумал. Или другие скажут, – как говорили Блоку. И Блок всегда изумлялся и всегда соглашался, со всеми, чуть ли не с первым встречным соглашался, до того все это (то есть наличность какой бы то ни было цели) было ему ново.

«Двенадцать» Блока возникли под чарой. Демон данного часа революции (он же блоковская «музыка Революции») вселился в Блока и заставил его.

А наивная моралистка З. Г. потом долго прикидывала, дать или нет Блоку руку, пока Блок терпеливо ждал.

Блок «Двенадцать» написал в одну ночь и встал в полном изнеможении, как человек, на котором катались.

Блок «Двенадцати» не знал, не читал с эстрады никогда. («Я не знаю „Двенадцати“, я не помню „Двенадцати“». Действительно: не знал.)

И понятен его страх, когда он на Воздвиженке в 20 году, схватив за руку спутницу:

– Смотрите!

И только пять шагов спустя:

– Катька!

В средние (о, какие крайние!) века целые деревни, одержимые демоном, внезапно начинали говорить по-латыни.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Поэт? Спящий.

Искусство при свете совести

Один проснулся. Востроносый, восковолицый человек, жегший в камине шереметевского дома рукопись. Вторую часть «Мертвых Душ».

Не ввести в соблазн. Пуще чем средневековое – собственноручное предание творения огню. Тот само-суд, о котором говорю, что он – единственный суд.

(Позор и провал Инквизиции в том, что она сама жгла, а не доводила до сожжения – жгла рукопись, когда нужно было прожечь душу.)

– Но Гоголь тогда уже был сумасшедшим.

Сумасшедший – тот, кто сжигает храм (которого не строил), чтобы прославиться. Гоголь, сжигая дело своих рук, и свою славу жег.

И вспоминается мне слово одного сапожника (1920 г. Москва) – тот случай сапожника, когда он поистине выше художника.

– Не мы с вами, М<арина> И<вановна>, сумасшедшие, а они недошедшие.

* * *

Эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долголетняя проповедь Толстого.

Потому что здесь дело, наглядное дело рук, то движение руки, которого мы все жаждем и которого не перевесит ни одно «душевное движение».

* * *

Может быть, мы бы второй частью «Мертвых Душ» и не соблазнили. Достоверно – им бы радовались. Но наша та бы радость им ничто перед нашей этой радостью Гоголю, который из любви к нашим живым душам свои Мертвые – сжег. На огне собственной совести.

Те были написаны чернилами.

Эти – в нас – огнем.

Искусство без искусства

Но есть в самом лоне искусства и одновременно на высотах его вещи, о которых хочется сказать: «Это уже не искусство. Это больше, чем искусство». Всякий такие знал.

Примета таких вещей – их действенность при недостаточности средств, недостаточности, которую мы бы ни за что в мире не променяли бы ни на какие достатки и избытки и о которой вспоминаем только, когда пытаемся установить: как это сделано? (Подход сам по себе несостоятельный, ибо в каждой рожденной вещи концы скрыты.)

Еще не искусство, но уже больше, чем искусство.

Такие вещи часто принадлежат перу женщин, детей, самоучек – малых мира сего. Такие вещи часто вообще никакому перу не принадлежат, ибо не записываются и сохраняются (пропадают) устно. Часто – единственные за жизнь. Часто – совсем первые. Часто – совсем последние.

Искусство без искусства.

Вот стихи четырехлетнего мальчика, долго не жившего.

Там птица белая живет,
Там ходит мальчик бледный.
Ведно! Ведно! Ведно!
Есть – там-от.

(Ведно – детское и народное ведомо, здесь звучащее и как верно и как заведомо, заведомо-верно, там-от – нянькино обозначение дали.)

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Вот последняя строчечка стихов семилетней девочки, никогда не ходившей и молящейся о том, чтобы ей встать. Стихи слышала раз, двадцать лет назад, и донесла только последнюю строку:

– Чтоб стоя я могла молиться!

А вот стихи монашенки Ново-Девичьего монастыря, – было много, перед смертью все сожгла, осталось одно, ныне живущее, только в моей памяти. Сообщаю его, как доброе дело.

Что бы в жизни ни ждало вас, дети,
В жизни много есть горя и зла,
Есть соблазна коварные сети,
И раскаянья жгучего мгла,
Есть тоска невозможных желаний,
Беспросветный нерадостный труд,
И расплата годами страданий
За десяток счастливых минут. –
Все же вы не слабейте душою,
Как придет испытаний пора –
Человечество живо одною
Круговою порукой добра!

Где бы сердце вам жить ни велело,
В шумном свете иль сельской тиши,
Расточайте без счета и смело
Вы сокровища вашей души!

Не ищите, не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой,
Человечество все же богато
Лишь порукой добра круговой!

Возьмем рифмы – явно-обычные (тиши – души, дети – сети), явно-бедные (душою – одною). Возьмем размер, тоже ничем нестораживающий слуха. Какими средствами сделано это явно-большое дело?

– Никакими. Голой душою.

Этой безвестной монашенкой безвозвратного монастыря дано самое полное определение добра, которое когда-либо существовало: добра, как круговой поруки, и брошен самый беззлобный вызов злу, который когда-либо звучал на земле:

Где бы сердце вам жить не велело,
В шумном свете иль сельской тиши,
(Это монашенка говорит, заточенная!)

Расточайте без счета – и смело
Вы сокровища вашей души!

Сказать об этих строках «гениальные» было бы кощунством и судить их, как литературное произведение – просто малость – настолько это все за порогом этой великой (как земная любовь) малости искусства.

Привела, что припомнила. Убеждена, что есть еще. (Стихи своей, тогда шестилетней дочери, частью напечатанные в конце моей книги «Психея», обхожу намеренно, думая когда-нибудь сказать о них отдельно.) Да если бы и не было! Вот уже на одной моей памяти три стихотворения, больше, чем стихи.

А может быть. только такие стихи и есть стихи?

* * *

Примета таких вещей – их неровность. Возьмем стихи монашки.

Что бы в жизни ни ждало вас, дети – В жизни много есть горя и зла – Есть соблазна коварные сети – И раскаянья жгучего мгла – (пока что – общее место).
Есть тоска невозможных желаний – Беспросветный нерадостный труд – (все то же). –
И расплата годами страданий – За десяток счастливых минут (последнее почти романс!) – Все же вы не слабейте душою – Как придет испытаний пора –

И – вот, вот оно!

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Человечество живо одною
Круговою порукой добра!
И дальше уже по непрерывной линии восхождения, не снижая, одним великим и
глубоким вздохом до самого конца.

Это, на первый взгляд (о котором уже сказано), обычное начало ей было нужно, как разбег, чтобы, наконец, до круговой поруки добра договориться. Неопытность непрофессионала. Настоящий бы поэт, какими кишат столицы, если бы, паче чаяния, до круговой поруки дописался (не дописался бы!), такого бы начала не оставил, попытался бы все пригнать под один общий уровень высоты.

А монашка несостоятельности начала и не заметила, ибо и круговой поруки не заметила, может быть смутно ей порадовалась, как чему-то очень похожему – но и только. Ибо моя монашка не поэт-профессионал, который душу черту продаст за удачный оборот (да только черт не берет, потому что ничего и нет) – а: – чистый сосуд Божий, то есть тот же четырехлетний с его «там-от» – и говорят они: и монашка, и безногая девочка, и мальчик, – все безымянные девочки, мальчики, монашки мира – одно, об одном, вернее одно через них говорит.

Эти стихи мои любимые из всех, которые когда-либо читала, когда-либо писала, мои любимые из всех на земле. Когда после них читаю (или пишу) свои, ничего не ощущаю, кроме стыда.

К таким стихам отнесу еще стихи «Мысль» (Ее побивали камнями во прах) безымянного автора, во всех сборниках, где перепечатывались, помеченные только буквою Д.

Так с буквой Д (добром с большой буквы) и пошли – дальше.

Попытка иерархии

Большой поэт. Великий поэт. Высокий поэт. Большим поэтом может быть всякий – большой поэт. Для большого поэта достаточно большого поэтического дара. Для великого самого большого дара – мало, нужен равноценный дар личности: ума, души, воли и устремление этого целого к определенной цели, то есть устройство этого целого. Высоким же поэтом может быть и совсем небольшой поэт, носитель самого скромного дара – как тот же Альфред де Виньи – силой только внутренней ценности добывающийся у нас признания поэта. Здесь дара хватило как раз в край. Немножко меньше – получился бы просто герой (то есть безмерно больше).

Великий поэт включает – и уравнивает. Высокий – великого – нет, иначе бы мы говорили: великий. Высота как единственный признак существования. Так, нет поэта больше Гёте, но есть поэты – выше, его младший современник Гёльдерлин, например, поэт несравненно-беднейший, но горец тех высот, где Гёте – только гость. И великий ведь меньше (ниже), чем высокий, будь они даже одного роста. Так: дуб – велик, кипарис – высок.

Слишком обширен и прочен земной фундамент гения, чтобы дать ему – так – уйти в высь. Шекспир, Гёте, Пушкин. Будь Шекспир, Гёте, Пушкин выше, они бы многого не услышали, на многое бы не ответили, ко многому бы просто не снизошли.

Гений: равнодействующая противодействий, то есть в конечном счете равновесие, то есть гармония, а жираф – урод, существо единственного измерения: собственной шеи, жираф есть шея. (Каждый урод есть часть самого себя.)

«Витание поэта в облаках» – правда, но правда только об одной породе поэтов: только-высоких, чисто-духовных. И даже не витанье, а обитанье. Горбач за свой горб платит, ангел за свои крылья на земле тоже платит. Бесплотность, так близкая бесплодности, разреженный воздух, вместо страсти – мысль, вместо слов – речения – вот земные приметы небесных гостей.

Единственное исключение – Рильке, поэт не только равно-высокий и великий (это можно сказать и о Гёте), но с тою же исключительностью высоты, здесь ничего не исключает. Точно Бог, который у других поэтов духа, дав им одно, взял все, этому – это все – оставил. В придачу.

* * *

Высоты, как равенства, нет. Только как главенство.

Для только-большого искусство всегда самоцель, то есть чистая функция, без которой он не живет и за которую не отвечает. Для великого и высокого – всегда средство. Он сам – средство в чьих-то руках, как, впрочем, и только-большой – в руках иных. Вся разница, кроме основной разницы рук, в степени осознанности поэтом этой своей держимости. Чем поэт духовно больше, то есть, чем руки, его держащие, выше, тем сильнее он эту свою держимость (служебность) сознает. Не знай Гёте над собой и своим делом высшего, он никогда бы не написал последних строк последнего Фауста. Дается только невинному – или все знающему.

По существу, вся работа поэта сводится к исполнению, физическому исполнению духовного (не собственного) задания. Равно как вся воля поэта – к рабочей воле к осуществлению. (Единоличной творческой воли – нет.)

К физическому воплощению духовно уже сущего (вечного) и к духовному воплощению (одухотворению) духовно еще не сущего и существовать желающего, без различия качеств этого желающего. К воплощению духа, желающего тела (идей), и к одухотворению тел, желающих души (стихий). Слово для идей есть тело, для стихий – душа.

Всякий поэт, так или иначе, слуга идей или стихий. Бывает (о них уже сказано) – только идей. Бывает – и идей и стихий. Бывает – только стихий. Но и в этом последнем случае он все-таки чье-то первое низкое небо: тех же стихий, страстей. Через стихию слова, которая, единственная из всех стихий, отродясь осмысленна, то есть одухотворена. Низкое близкое небо земли.

* * *

В этом этическом подходе (требовании идейности, то есть высоты, с писателя) может быть вся разгадка непонятого на первый взгляд предпочтения девяностых годов Надсона – Пушкину, если не явно-безыдейному, то менее явно-идейному, чем Надсон, и предпочтения поколения предыдущего Некрасова-гражданина просто Некрасову. Весь тот лютый утилитаризм, вся базаровщина – только утверждение и требование высоты, как первоосновы жизни – только русское лицо высоты. Наш утилитаризм – то, что в пользу духу. Наша «польза» – только совесть. Россия, к ее чести, вернее к чести ее совести и не к чести ее художественности (вещи друг в друге не нуждающиеся), всегда подходила к писателям, вернее: всегда ходила к писателям – как мужик к царю – за правдой, и хорошо, когда этим царем оказывался Лев Толстой, а не Арцыбашев. Россия ведь и у арцыбашевского Санина училась жить!

Молитва

Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? Все. Стихи к Богу есть молитва. И если сейчас нет молитв (кроме Рильке и тех малых сих молитв не знаю), то не потому, что нам Богу нечего сказать, и не потому, что нам этого чего-то некому сказать – есть что и есть кому – а потому, что совести не хватает хвалить и молить Бога на том же языке, на котором мы же, веками, хвалили и молили – решительно все. Чтобы сейчас на прямую речь к Богу (молитву) отважиться, нужно либо не знать, что такое стихи, либо – забыть.

Потеря доверия.

* * *

Жестокое слово Блока о первой Ахматовой: «Ахматова пишет стихи так, как будто на нее глядит мужчина, а нужно их писать так, как будто на тебя смотрит Бог» – видоизменяя первую, обличительную, половину соответственно каждому из нас – в конце свято. Как перед Богом, то есть предстояние.

Но что в нас тогда устоит – и кто из нас?

Точка зрения

По отношению к миру духовному – искусство есть некий физический мир духовного.

По отношению к миру физическому – искусство есть некий духовный мир физического.

Ведя от земли – первый миллиметр над ней воздуха – неба, (ибо небо начинается сразу от земли, либо его нет совсем. Проверить по далям, явления уясняющим).

Ведя сверху неба – этот же первый над землей миллиметр, но последний – сверху, то есть уже почти земля, с самого верха – совсем земля.

Откуда смотреть.

* * *

(Так же и душа, которую бытовик полагает верхом духовности, для человека духа – почти плоть. Уподобление с искусством не случайное, ибо стихи – то, с чего глаз не свожу, говоря искусство – все событие стихов – от наития поэта до восприятия читателя – целиком происходит в душе, этом первом, самом низком небе духа. Чту отнюдь не в противоречии с искусством – природой. Неодушевленной природы – нет, есть только неодухотворенная.

Поэт! поэт! Самый одушевленный и как часто – может быть именно одушевленностью своей – самый неодухотворенный предмет!)

* * *

Fier quand je me compare[8] – нет! ибо ниже поэта и в счет не идет, все же достаточно гордости, чтобы по низшему не равняться. Ибо гляжу-то – снизу и упор не в моей низости, а в той высоте.

Humble quand je me compare, inconnu quand je me considere,[9] ибо для того, чтобы что-либо созерцать, нужно над этим созерцаемым подняться, поставить между собою и вещь весь отвес – отказ – высоты. Ибо гляжу-то – сверху! Высшее во мне – на низшее во мне. И что же мне остается от этого лицезрения – как не изумиться... или не узнать.

Брала истлевшие листья
И странно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.
Так я когда-нибудь буду, нет, так я уже, порой, гляжу на свои стихи...

Небо поэта
– Священник служит Богу по-своему, вы – по-своему.

– Кошунство. Когда я пишу своего Молодца – любовь упыря к девушке и девушки к упырю – я никакому Богу не служу: знаю, какому Богу служу. Когда я пишу татар в просторах, я тоже никакому Богу не служу, кроме ветра (либо чура: пращура). Все мои русские вещи стихийны, то есть грешны. Нужно различать, какие силы im Spiel.[10] Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за правду и чару за святость!

Искусство – искус, может быть самый последний, самый тонкий, самый неодолимый соблазн земли, та последняя тучка на последнем небе, на которую умирая глядел – ни на что уже тогда не глядевший и окраску которой словами пытался – все слова тогда уже забывший брат брата – Жюль Гонкур. Третье царство со своими законами, из которого мы так редко спасаемся в высшее (и как часто – в низшее!). Третье царство, первое от земли небо, вторая земля. Между небом духа и адом рода искусство чистилище, из которого никто не хочет в рай.

Когда я при виде священника, монаха, даже сестры милосердия – неизменно – неодолимо! – опускаю глаза, я знаю, почему я их опускаю. Мой стыд при виде священника, монаха, даже сестры милосердия, мой стыд – вещь.

– Вы делаете божеское дело.

– Если мои вещи отрешают, просвещают, очищают – да, если обольщают – нет, и лучше бы мне камень повесили на шею.

А как часто в одной и той же вещи, на одной и той же странице, в одной и той же строке и отрешают и обольщают. То же сомнительное пойло, что в котле колдуньи: чего только не навалено и не наварено!

* * *

Скульких сгубило, как малых – спасло!

* * *

И – мгновенный рипост обвиняемого:

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Темная сила!

Мра-ремесло!
Сколько сгубило,
Как малых – спасло.

Боюсь, что и умирая... Мра, кстати, беру как женское имя, женское окончание, звучание – смерти. Мор. Мра. Смерть могла бы называться, а может быть где-нибудь, когда-нибудь и называлась – Мра. Слово-творчество, как всякое, только хождение по следу слуха народного и природного. Хождение по слуху. Et tout le reste n'est que littérature.[11]

* * *

Многобожие поэта. Я бы сказала: в лучшем случае наш христианский Бог входит в сонм его богов.

Никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего (что было и у язычников). Большинство же и этого не знают и слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что одно уже сопоставление этих имен – кощунство и святотатство.

Искусство было бы свято, если бы мы жили тогда или те боги – теперь. Небо поэта как раз в уровень подножию Зевеса:

вершине Олимпа.

Зерно зерна

...И шлешь ответ.

Тебе ж нет отзыва... Таков

И ты, поэт!

Не-поэт, над-поэт, больше чем поэт, не только поэт – но где же и что же поэт во всем этом? Der Kern des Kernes, зерно зерна.

Поэт есть ответ.

От низшей степени простого рефлекса до высшей – гётевского ответственного – поэт есть определенный и неизменный душевно-художественный рефлекс: на что – уже вопрос – может быть, просто объема мозга. Пушкин сказал: на все. Ответ гения.

Этот душевно-художественный рефлекс и есть зерно зерна, объединяющее и безымянного автора частушки и автора Второго Фауста. Без него поэта нет, вернее оно-то и есть поэт. Никакими извилинами мозга не объяснимое чудо поэта.

Рефлекс до всякой мысли, даже до всякого чувства, глубочайшая и быстрейшая, как электрическим током, пронзенность всего существа данным явлением и одновременный, почти что преждевременный на него ответ.

Ответ не на удар, а на колебание воздуха – вещи еще не двинувшейся. Ответ на до-удар. И не ответ, а до-ответ. Всегда на явление, никогда на вопрос. Само явление и есть вопрос. Вещь поэта самоударяет – собой, самовопрошает – собой. Приказ к ответу самого явления – еще не явленного и явленного только через ответ. Приказ? Да, если SOS – приказ (неотразимейший из всех).

Раньше, чем было (было-то всегда, только до времени еще не дошло, – так тот берег еще не дошел до парома). Оттого рука поэта так часто и повисает в воздухе, что упор – во времени – еще не существует (nicht vorhanden[12]). Рука поэта – пусть повисла в воздуха – явление создает (досоздает). Эта рука, повисшая в воздухе, и есть поэтово – несовершенное, полное отчаяния, но все же творческое, все же: будь. (Кто меня звал? – Молчание. – Я должен того, кто меня звал, создать, то есть – назвать. Таково поэтово «отозваться».)

Еще одно. «Душевно-художественный рефлекс». Художественной-болевой, ибо душа наша способность к боли – и только. (К не-головной, не-зубной, не-горловой – не – не – не и т. д. боли – и только.)

Это зерно зерна поэта – непереносимое искусство в сторону – сила тоски.

Правда поэтов

Такова и правда поэтов, самая неодолимая, самая неуловимая, самая бездоказательная и убедительная, правда, живущая в нас только какую-то первую

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
згу восприятия (что это было?) и остающаяся в нас только, как след света или утраты (да было ли?). Правда безответственная и беспоследственная, которой – ради Бога – и не пытаться следовать, ибо она и для поэта безвозвратна. (Правда поэта – тропа, зарастающая по следам. Бесследная бы и для него, если бы он мог идти позади себя.) Не знал, что произнесет, а часто и что произносит. Не знал, пока не произнес, и забыл, как только произнес. Не одна из бесчисленных правд, а один из ее бесчисленных обликов, друг друга уничтожающих только при сопоставлении. Разовые аспекты правды. Просто – укол в сердце Вечности. Средство: сопоставление двух самых простых слов, ставших рядом именно так. (Иногда – разъединение одного тире!)

Есть такой замок, открывающийся только при таком-то соединении цифр, зная которое открыть – ничто, не зная – чудо или случай. Чудо-случай, происшедшее к стати с моим шестилетним сыном, повернувшем и открывшим защелкнутую у себя на шее такую цепочку сразу и этим повергшим обладателя цепочки – в ужас. Знает или не знает поэт соединение цифр? (В поэтовом случае – ибо весь мир под замком и все надо открыть – каждый раз разное, что ни вещь, то замок, а под замком данная правда, каждый раз разная – единоразовая – как сам замок.) Знает ли поэт – все соединения цифр?

* * *

У моей матери было свойство – переставлять среди ночи, когда остановились, часы. В ответ на их, вместо тикания, тишину, от которой, вероятно, и просыпалась, переводить в темноте, не глядя. Утром часы показывали то, полагаю – именно то абсолютное время, которого так и не добился тот несчастный коронованный созерцатель стольких противоречивых циферблатов и слушатель стольких несовпадающих звуков.

Часы показывали то.

* * *

Случайность? повторяющаяся каждый раз, есть в жизни человека – судьба, в мире явлений – закон. Это был закон ее руки. Закон знания ее руки.

Не: «у моей матери было свойство», у ее руки было свойство – правды.

Не играючи, как мой сын, не самоуверенно, как хозяин замка, и не вещь, как тот предполагаемый математик – и слепо и вещь – повинуюсь только руке (которая – сама – чему?) – так поэт открывает замок.

Одного только жеста у него нет: самоуверенного – в себе как в замке уверенного – жеста собственника замка. Поэту в собственность не принадлежит ни один замок. Потому открывает все. И потому же, открывая каждый сразу, вторично не откроет ни одного. Ибо не собственник, а только прохожий секрета.

Состояние творчества

Состояние творчества есть состояние наваждения. Пока не начал – *obsession*, [13] пока не кончил – *possession*. [14] Что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель, не тебя, а того. Кто – он? То, что через тебя хочет быть.

Меня вещи всегда выбирали по примете силы, и писала я их часто – почти против воли. Все мои русские вещи таковы. Каким-то вещам России хотелось сказаться, выбрали меня. И убедили, обольстили – чем? моей собственной силой: только ты! Да, только я. И поддавшись – когда зряче, когда слепо – повиновалась, выискивала ухом какой-то заданный слуховой урок. И не я из ста слов (не рифм! посреди строки) выбирала сто первое, а она (вещь), на все сто эпитетов упирившаяся: меня не так зовут.

Состояние творчества есть состояние сновидения, когда ты вдруг, повинуюсь неизвестной необходимости, поджигаешь дом или сталкиваешь с горы приятеля. Твой ли это поступок? Явно – твой (спишь, снишь ведь ты!). Твой – на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя – природы.

Ряд дверей, за одной кто-то – что-то – (чаще ужасное) ждет. Двери одинаковы. Не эта – не эта – не эта – та. Кто мне сказал? Никто. Узнаю нужную по всем неузнанным (ту – по всем не-тем). Так и со словами. Не это – не это – не это – то. По явности не-этого узнаю то. Всякому спящему и пишущему родной – удар узнавания. О, спящего не обманешь! Знает друга и врага, знает дверь и знает

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
провал за дверь – и на все это: и друга, и врага, и дверь, и дыру – обречен. Не обманет спящего даже сам спящий. Тщетно говорю себе; не войду (в дверь), не загляну (в окно) – знаю, что войду, еще говоря, не загляну – заглядываю.

О, спящего не спасешь!

Есть, впрочем, и во сне лазейка: когда будет слишком ужасно – проснусь. Во сне – проснулась, в стихах – упрусь.

Кто-то мне о стихах Пастернака: – Прекрасные стихи, когда вы все так объясните, но к ним бы нужно приложить ключ.

Не к стихам (снам) приложить ключ, а сами стихи ключ к пониманию всего. Но от понимания до принятия не один шаг, а никакого: понять и есть принять, никакого другого понимания нет, всякое иное понимание – непонимание. Недаром французское *comprendre* одновременно и понимать, и обнимать, то есть уже принять: включить.

Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии – следовательно и бунта – нет. Пушкин Николая опасался, Петра боготворил, а Пугачева – любил. Недаром все ученики одной замечательной и зря-забытой поэтессы, одновременно преподавательницы истории, на вопрос попечителя округа: «Ну, дети, кто же ваш любимый царь?» – всем классом: «Гришка Отрепьев!»

Найдите мне поэта без Пугачева! без Самозванца! без Корсиканца! – внутри. У поэта на Пугачева может только не хватить сил (средств). *mais l'intention y est – toujours.* [15]

Не принимает (отвергает и даже – извергает) человек: воля, разум, совесть.

В этой области у поэта может быть только одна молитва: о непонимании неприемлемого: не пойму, да не обольщусь, единственная молитва поэта – о неслышании голосов: не услышу – да не отвечу. Ибо услышать, для поэта – уже ответить, а ответить – уже утвердить – хотя бы страстностью своего отрицания. Единственная молитва поэта – молитва о глухости. Или уж – труднейший выбор по качеству слышимого, то есть насильственное затыкание себе ушей – на ряд зовов, неизменно-сильнейших. Выбор отродясь, то есть слышанье только важного – благодать, почти никому не данная.

(На Одиссеевом корабле ни героя, ни поэта не было. Герой тот, кто и несвязанный устоит, и без воску в ушах устоит, поэт тот, кто и связанный бросится, кто и с воском в ушах услышит, то есть опять-таки бросится.

Единственное отродясь не понимаемое поэтом – полумеры веревки и воска.)

Вот Маяковский поэт в себе не превозмог и получился революционнейшим из поэтов воздвигнутый памятник добровольческому вождю. (Поэма «Крым», двенадцать бессмертных строк.) Нельзя не отметить лукавства тех или иных сил, выбирающих себе глашатая именно из врагов. Нужно же, чтобы тот последний Крым был дан – именно Маяковским.

Когда я тринадцати лет спросила одного старого революционера: – Можно ли быть поэтом и быть в партии? – он не задумываясь ответил: – Нет.

Так и я отвечу: – Нет.

* * *

Какова же стихия, каков же демон, вселившийся в тот час в Маяковского и заставивший его написать Врангеля. Ведь Добровольчество, теперь уже всеми признано, стихийным не было. (Разве что – степи, которыми шли, песни, которые пели...)

Не Белое движение, а Черное море, в которое, трижды поцеловав русскую землю, [16] ступил Главнокомандующий.

Черное море того часа.

* * *

Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям.

Чужим? А есть ли для поэта – чужое? Пушкин в Скупом Рыцаре даже скупость присвоил, в Сальери – даже без-дарность. Не по примете же чуждости, а именно по примете родности стучался в меня Пугачев.

Тогда скажу: не хочу не вполне моего, не заведомо моего, не сбмого моего.

А если самое-то мое (откровение сна) и есть – Пугачев?

– Ничего не хочу, за что в 7 ч. утра не отвечу и за что (без чего) в любой час дня и ночи не умру.

За Пугачева – не умру – значит не мое.

* * *

Обратная крайность природы есть Христос.

Тот конец дороги есть Христос.

Всё, что между – на полдороге.

И не поэту же, отродясь раздорожному, отдавать свое раздорожье – родной крест своего перекрестка! – за полдороги общественности или другого чего-либо.

Душу отдать за други своя.

Только это в поэте и может осилить стихию.

Intoxiques[17]

– Когда я нахожусь среди литераторов, художников, таких... у меня всегда чувство, что я среди... intoxiciques.

– Но когда вы с большим художником, большим поэтом, вы этого не скажете, наоборот: все остальные покажутся вам отравленными.

(Разговор после одного литературного собрания)

Когда я говорю об одержимости людей искусства, я вовсе не говорю об одержимости их искусством.

Искусство есть то, через что стихия держит – и одерживает: средство держания (нас – стихиями), а не самодержание, состояние одержимости. Не делом же своих двух рук одержим скульптор и не делом же своей одной поэт!

Одержимость работой своих рук есть держимость нас в чьих-то руках.

– Это – о больших художниках.

Но одержимость искусством есть, ибо есть – и в безмерно-большем количестве, чем поэт – лже-поэт, эстет, искусства, а не стихии, глотнувший, существо погибшее и для Бога и для людей – и зря погибшее.

Демон (стихия) жертве платит. Ты мне – кровь, жизнь, совесть, честь, я тебе – такое сознание силы (ибо сила – моя!), такую власть над всеми (кроме себя, ибо ты – мой!), такую в моих тисках – свободу, что всякая иная сила будет тебе смешна, всякая иная власть – мала, всякая иная свобода – тесна

– и всякая иная тюрьма – просторна.

Искусство своим жертвам не платит. Оно их и не знает. Рабочему платит хозяин, а не станок. Станок может только оставить без руки. Сколько я их видала, безруких поэтов. С рукой, пропавшей для иного труда.

* * *

Робость художника перед вещью. Он забывает, что пишет не он. Слово мне Вячеслава Иванова (Москва, 1920 г., убеждал меня писать роман) – «Только начните! уже с третьей страницы вы убедитесь, что никакой свободы нет», – то есть: окажусь во власти вещей, то есть во власти демона, то есть только покорным слугой.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Забить себя есть прежде всего забыть свою слабость.

Кто своими двумя руками когда-либо вообще что-нибудь мог?

Дать уху слышать, руке бежать (а когда не бежит – стоять).

Недаром каждый из нас по окончании: «Как это у меня чудно вышло!» – никогда: «Как это я чудно сделал!» Не «чудно вышло», а чудом – вышло, всегда чудом вышло, всегда благодать, даже если ее посылает не Бог.

– А доля воли во всем этом? О, огромная. Хотя бы не отчаяться, когда ждешь у моря погоды.

На сто строк десять – данных, девяносто – заданных: недававшихся, дававшихся, как крепость – сдававшихся, которых я добилась, то есть дослушалась. Моя воля и есть слух, не устать слушать, пока не услышишь, и не заносить ничего, чего не услышал. Не черного (в тщетных поисках исчерканного) листа, не белого листа бояться, а своего листа: самовольного. Творческая воля есть терпение.

Скобка о роде слуха

Слух этот не иносказательный, хотя и не физический. Настолько не физический, что вообще никаких слов не слышишь, а если слышишь, то не понимаешь, как спросонок. Физический слух либо спит, либо не доносит, замещенный слухом иным.

Слышу не слова, а какой-то беззвучный напев внутри головы, какую-то слуховую линию – от намека до приказа, но об этом сейчас долго – это целый отдельный мир, и сказать об этом – целый отдельный долг. Но убеждена, что и здесь, как во всем, закон есть.

Пока же: достоверный слух, без ушей, то есть еще одно доказательство, что:

– Есть там-от!

* * *

Лже-поэт искусство почитает за Бога и этого Бога делает сам (причем ждет от него дождя!).

Лже-поэт всегда делает сам.

Приметы лже-поэзии: отсутствие данных строк.

Есть среди них большие мастера.

* * *

Но бывает и с поэтами и с гениями. Есть в Гимне Чуме две строки только-авторские, а именно:

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Пушкин, на секунду отпущенный демоном, не дотерпел. Это, а не иное происходит, когда мы у себя или у других обнаруживаем строку на затычку, ту поэтическую «воду», которая не что иное, как мель наития.

Возьмем весь отрывок.

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы!
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Их обретать и ведать мог.
Давайте по словам:

– И счастлив тот – мало, мало и вяло после абсолютов наслажденья и упоения, явное повторение, ослабление, спуск – кто среди волненья – какого? и опять какое малое слово (и вещь!). После всех ураганов и бездн! Аллегория житейского волнения после достоверности океанских волн. Их обретать и ведать мог – обретать неизъяснимы наслажденья – по-немецки? Во всяком случае не по-пушкински и не по-русски, дальше: и ведать (повторение, ибо обретая уже ведаешь) мог. Да как тут, когда такое, не мочь? Галлицизм: *heureux celui qui a pu les connaître*, [18] а в общем резонерство, дикое в этом вихре.

Так случается, когда рука опережает слух.

* * *

Возвращаясь к лже-поэтам.

Лже-поэт. Поэт. Жертва литературы. Жертва демона. Оба для Бога (дела, добра) пропали, но если пропадать, так с честью, подпадать – так под иго высшее.

К сожалению, господ не выбираешь.

Скобка о поэте и ребенке

Часто сравнивают поэта с ребенком по примете одной невинности. Я бы сравнила их по примете одной безответственности. Безответственность во всем, кроме игры.

Когда вы в эту игру придете со своими человеческими (нравственными) и людскими (общественными) законами, вы только нарушите, а может и прикончите игру.

Привнесением совести своей – смутите нашу (творческую). «Так не играют». Нет, тбк играют.

либо совсем запретить играть (нам – детям. Богу – нам), либо не вмешиваться.

То, что вам – «игра», нам – единственный серьез.

Серьезнее и умирать не будем.

Кого, за что и кому судить

В человека вселился демон. Судить демона (стихию)? Судить огонь, который сжигает дом?

Меня? Допустим.

За что? За недостаток совести, воли, силы: за слабость.

Отвечу вопросом:

Почему из всех, кто ходит по улицам Москвы и Парижа, именно на меня находит, и внешне тбк находит, что пены у рта нет, и на ровном месте не падаю, что ни в больницу, ни в участок не заберут.

Почему – если я одержимый – эта внешняя невинность (невидность) моей одержимости (писать стихи – чего невиннее!) и – если я преступник – это благоприличие моей преступности? Почему – если все это так – на мне нет клейма? Бог шельму метит, почему Бог этой шельмы не метит?

Почему, наоборот, вместо вразумления – поощрения, вместо приговора – утверждение моей неподсудности?

– Я делаю дурное дело!

Общество (хор обольщенных): – Нет, ты делаешь святое дело.

Ведь и самое идеологическое из всех правительств в мире поэта расстреляло не за стихи (сущность), а за дела, которые мог сделать всякий.

Почему я сам себе должен быть врачом, укротителем, конвойным?

Не слишком ли много с меня требовать?

Отвечу ответом.

Все ведающее заведомо повинно. Тем, что мне дана совесть (знание), я раз навсегда во всех случаях преступления ее законов, будь то слабость воли или сила дара (по мне – удара) – виновна.

Перед Богом, не перед людьми.

Кому судить? Знающему. Люди не знают, настолько не знают, что меня с последнего знания собьют. А если судят, то – как ту упомянутое правительство – не за стихи, а за дела (точно есть у поэта дела – кроме!), случайности жизни, которые есть только следствия.

Меня, например, судят за то, что я своего шестилетнего сына не отдаю в школу (на все шесть утренних часов подряд!), не понимая, что не отдаю-то я его именно потому, что пишу стихи, а именно:

(Из стихов к Байрону)

Свершилось! Он один меж небом и водою..
Вот школа для тебя, о ненавистник школ!
И в роковую грудь, пронзенную звездой.
Царь роковых ветров врывается – Эол.
– А пишу-то такие стихи именно потому, что не отдаю. Стихи хвалить, а за сына судить? Эх вы, лизатели сливок!

* * *

Задуматься над преподаванием литературы в средней школе. Младшим дают «Утопленника» и удивляются, когда пугаются. Старшим – Письмо Татьяны и удивляются, когда влюбляются (стреляются). Дают в руки бомбу и удивляются, когда взрывается.

И – чтобы кончить о школе:

Если те стихи о Байроне вам нравятся – отпустите детей (то есть ваше «нравится» оплатите), либо признайте, что «нравится» не есть мера вещей и стихов, есть не мера вещей и стихов, а только вашей (как и авторской) низости, наша общая слабость перед стихией, за которую мы в какой-то час и еще здесь на земле – ответим.

либо отпустите детей.

либо вырвите из книги стихи.

* * *

Права суда над поэтом никому не даю. Потому что никто не знает. Только поэты знают, но они судить не будут. А священник отпустит.

Единственный суд над поэтом – само-суд.

* * *

Но есть, кроме суда – борьба: моя – со стихией, ваша – с моими стихами. Не уступать: мне – ей, вам – мне. [19] Да не обольстимся.

* * *

Где тот священник, который мне, наконец, моих стихов не отпустит?

Заключение

Но – приказ или просьба, на испуг нас стихии берут или на жалость, ненадежны никакие: ни христианские, ни гражданские, ни иные подходы. К искусству подхода нет, ибо оно захват. (Пока ты еще подходишь – оно уже захватило.)

Пример. Борис Пастернак в полной чистоте сердца, обложившись всеми материалами, пишет, списывает с жизни – вплоть до ее оплошностей! – лейтенанта Шмидта, а главное действующее лицо у него – деревья на митинге. Над пастернаковской

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
площадью они – главари. Что бы Пастернак ни писал – всегда стихии, а не лица, как в «Потемкине» море, а не матросы. Слава Пастернаку (человеческой совести Бориса) за матросов и слава морю, слава дару – за море, то ненасытное море, которому всех наших глоток мало и которое нас со всеми нашими повестями и совестями – всегда покроет.

Посему, если хочешь служить Богу или людям, вообще хочешь служить, делать дело добра, поступай в Армию Спасения или еще куда-нибудь – и брось стихи.

Если же песенный твой дар неистребим, не лести себя надеждой, что – служишь, даже по завершении Ста Пятидесяти Миллионов. Это только твой песенный дар тебе послужил, завтра ты ему послужишь, то есть будешь отброшен им за тридевять земель или небес от поставленной цели.

* * *

Владимир Маяковский, двенадцать лет подряд верой и правдой, душой и телом служивший –

Всю свою звонкую силу поэта
Я тебе отдаю, атакующий класс!
кончил сильнее, чем лирическим стихотворением – лирическим выстрелом. Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил.

Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не спуск курка, а двенадцать лет жизни.

Никакой державный цензор так не расправлялся с Пушкиным, как Владимир Маяковский с самим собой.

Если есть в этой жизни самоубийство, оно не одно, их два, и оба не самоубийства, ибо первое – подвиг, второе – праздник. Превозможение природы и прославление природы.

Прожил как человек и умер как поэт.

* * *

Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы. Врач и священник человечески-важнее, все остальные общественно-важнее. (Важна ли сама общественность – другой вопрос, на него вправе буду ответить только с острова.) За исключением дармоедов во всех их разновидностях – все важнее нас.

И зная это, в полном разуме и твердой памяти расписашись в этом, в не менее полном и не менее твердой утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяла бы. Зная будущее, творю меньшее. Посему мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном суде совести и спросится. Но если есть Страшный суд слуга – на нем я чиста.

<1932>

Эпос и лирика современной России

Владимир Маяковский и Борис Пастернак

Если я, говоря о современной поэзии России, ставлю эти два имени рядом, то потому, что они рядом стоят. Можно, говоря о современной поэзии России, назвать одно из них, каждое из них без другого – и вся поэзия все-таки будет дана, как в каждом большом поэте, ибо поэзия не дробится ни в поэтах, ни на поэтов, она во всех своих явлениях – одна, одно, в каждом – вся, так же как, по существу, нет поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца мира, сила, окрашивающаяся в цвета данных времен, племен, стран, наречий, лиц, проходящих через ее, силу, несущих, как река, теми или иными берегами, теми или иными небесами, тем или иным дном. (Иначе бы мы никогда не понимали Виллона, которого понимаем целиком, несмотря даже на чисто физическую непонятность иных слов. Именно возвращаемся в него, как в родную реку.)

Итак, если я ставлю Пастернака и Маяковского рядом, – ставлю рядом, а не даю их вместе, – то не потому, что одного мало, не потому, что один в другом нуждается,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru другого восполняет; повторяю, каждый полон до краев, и Россия каждым полна (и дана) до краев, и не только Россия, но и сама поэзия, – делаю я это, чтобы дважды явить то, что дай Бог единожды в пятидесятилетие, здесь же в одно пятилетие дважды явлено природой: цельное полное чудо поэта.

Ставлю их рядом, потому что они сами в эпохе, во главе угла эпохи, рядом стали и останутся.

Слышу голос: «Современная поэзия России». «Пастернак-то Пастернак, но как же Маяковский, который в 1928 г...»

Во-первых, когда мы говорим о поэте – дай нам Бог помнить о веке. Второе и обратное: говоря о данном поэте, Маяковском, придется помнить не только о веке, нам непрестанно придется помнить на век вперед. Эта вакансия: первого в мире поэта масс – так скоро-то не заполнится. И оборачиваться на Маяковского нам, а может быть, и нашим внукам, придется не назад, а вперед.

Когда я на каком-нибудь французском литературном собрании слышу все имена, кроме Пруста, и на свое невинное удивление:

«Et Proust?» – «Mais Proust est mort, nous parlons des vivants», [20] – я каждый раз точно с неба падаю; по какому же признаку устанавливают живость и умерщсть писателя? Неужели Х. жив, современен и действителен потому, что он может прийти на это собрание, а Марсель Пруст потому, что никуда уже ногами не придет, – мертв? Так судить можно только о скороходах.

И в ответ такое добродушное, такое спокойное:

– Где ж найду

Такого, как я, быстроногого?

Этими своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу современность и где-то за каким-то поворотом долго еще нас будет ждать.

* * *

Пастернак и Маяковский сверстники. Оба москвичи, Маяковский по росту, а Пастернак и по рождению. Оба в стихи пришли из другого, Маяковский из живописи, Пастернак из музыки. Оба в свое принесли другое: Маяковский «хищный глазомер простого столяра», Пастернак – всю несказанность. Оба пришли обогащенные. Оба нашли себя не сразу, оба в стихах нашли себя окончательно. (Попутная мысль: лучше найти себя не сразу в другом, чем в своем. Поплутать в чужом и обрести себя в родном. Так, по крайней мере, обойдешься без «попыток».)

Irrjahre [21] обоих кончились рано. Но к стихам Маяковский пришел еще из Революции, и неизвестно, из чего больше. Из революционной деятельности. Шестнадцати лет он уже сидел в тюрьме. «Это не заслуга». – Но показатель. Для поэта не заслуга, но для человека показатель. Для этого же поэта – и заслуга: начал с платежа.

Поэтический облик каждого сложился и сказался рано. Маяковский начал с явления себя миру: с показа, с громогласия. Пастернак, – но кто скажет начало Пастернака? О нем так долго никто ничего не знал. (Виктор Шкловский, в 1922 году, в беседе: «У него такая хорошая слава: подземная».) Маяковский являлся, Пастернак таился. Маяковский себя казал. Пастернак – скрывал. И если теперь у Пастернака имя, то этого так легко могло бы не быть: случайность благоприятного для дарований часа и края; *la carrière ouverte aux talents*, и даже не *ouverte*, а *offerte*, [22] если только – ряд поэтов кормимых, но замалчиваемых – носитель этого дара не инакомыслящий.

У Маяковского же имя было бы всегда, не было бы, а всегда и было. И было, можно сказать, раньше, чем он сам. Ему потом пришлось догонять. С Маяковским произошло так. Этот юноша ощущал в себе силу, какую – не знал, он раскрыл рот и сказал: «Я!» Его спросили: «Кто – я?» Он ответил: «Я: Владимир Маяковский». – «А Владимир Маяковский – кто?» – «Я!» И больше, пока, ничего. А дальше, потом, – всё. Так и пошло: «Владимир Маяковский, тот, кто: я». Смеялись, но «Я» в ушах, но желтая кофта в глазах – оставались. (Иные, увы, по сей день ничего другого в нем не увидели и не услышали, но не забыл никто.)

Пастернак же... Имя знали, но имя отца: художника Ясной Поляны, пастелиста,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru создателя женских и детских головок. Я и в 1921 году встречала отзывы: «Ну, да, Боря Пастернак, сын художника, такой воспитанный мальчик, очень хороший. Он у нас бывал. Так это он пишет стихи? Но он ведь, кажется, занимался музыкой...» Между живописью отца и собственной отроческой (очень сильной) музыкой Пастернак был затерт, как между сходящимися горами ущелья. Где тут утвердиться третьему, поэту? А за плечами Пастернака было уже три полустанка (начиная с последнего): 1917 год – «Сестра моя Жизнь» (изданная только в 1922 году), 1913 год – «Поверх Барьеров» – и первая, самая ранняя, которой даже я, пишущий, не знаю имени. Чего же спрашивать с остальных? До 1920 года Пастернака знали те немногие, что видят, как кровь течет, и слышат, как трава растет. О Пастернаке можно сказать словами Рильке:

...die wollten blühen,
Wir wollen dunkel sein und uns bemühen.[23]

Пастернак не хотел славы. Может быть, боялся сглазу: повсеместного, непричастного, беспредметного глаза славы. Так Россия должна беречься Интуризма.

А Маяковский ничего не боялся, стоял и орал, и чем громче орал – тем больше народу слушало, чем больше народу слушало, тем громче орал – пока не доорался до «Войны и мира» и многотысячной аудитории Политехнического музея – а затем и до 150-миллионной площади вся Россия. (как про певца – выпелся, так про Маяковского: выорался.)

У Пастернака никогда не будет площади. У него будет, и есть уже, множество одиноких, одинокое множество жаждущих, которых он, уединенный родник, поит. Идут за Маяковским и по Пастернака, как в неведомом месте по воду, куда-то по что-то – достоверно, но где? но что? – сущее, ошупью, наугад, каждый своим путем, все врозь, всегда вразброд. На Пастернаке, как на ручье, можно встретиться, чтобы вновь разойтись, каждый напившись, каждый умывшись, унося ручей в себе и на себе. На Маяковском же, как на площади, либо дерутся, либо поют.

Сколько читателей у Пастернака – столько голов. У Маяковского один читатель – Россия.

В Пастернаке себя не забывают: обретают и себя, и Пастернака, то есть новый глаз, новый слух.

В Маяковском забывают и себя, и Маяковского.

Маяковского нужно читать всем вместе, чуть ли не хором (ором, собором), во всяком случае, вслух и возможно громче, что с каждым читающим и происходит. Всем залом. Всем веком.

Пастернака же нужно всюду носить с собой, как талисман от этих всех, хором орущих все те же две (непреложных) истины Маяковского. А еще лучше – как во все века писали поэты и читали поэтов – в лесу, одному, не заботясь, лес ли это листьями или Пастернак листьями.

Я сказала: первый в мире поэт масс. И еще прибавлю: первый русский поэт – оратор. От трагедии «Владимир Маяковский» до последнего четверостишия:

Как говорят, «инцидент исперчен»,
Любовная лодка разбилась о быт.
Мы с жизнью в расчете, и не к чему перечень
Взаимных болей, и бед, и обид.
– всюду, на протяжении всего его – прямая речь с живым прицелом. От витии до рыночного зазывалы Маяковский неустанно что-то в мозги вбивает, чего-то от нас добывается – какими угодно средствами, вплоть до грубейших, неизменно удачных.

Пример последнего:

И на кровати Александры Феодоровны
Развалился Александр Феодорович, –
то, что мы всегда знали, созвучие имен, которое все отмечали, – ничего нового,
но – здорово! И как бы мы ни относились и к Александре Феодоровне, и к
Александру Феодоровичу, и к самому Маяковскому, каждый из нас этими строками
удовлетворен, как формулой. Он тот поэт, которому всегда все удается, потому что
должно удаваться. Ибо на том краю, по которому неустанно ходит Маяковский,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru ошибиться, значит – разбиться. Все творчество Маяковского балансировка между великим и прописным. Путь Маяковского – не литературный путь. Идущие его путями повседневно это доказывают. Сила неподражаема, а Маяковский без силы – nonsens. [24] Общее место, доведенное до величия – вот, зачастую, формула Маяковского. В этом он – иной век – иная речь – сходен с Гюго, которого, напомним, – читил:

В каждом юноше – порох Маринетти,
В каждом старце – мудрость Гюго.
Недаром Гюго, а не Гёте, с которым Маяковского не роднило ничто.

Кому же говорит Пастернак? Пастернак говорит сам с собою. Даже хочется сказать: при самом себе, как в присутствии дерева или собаки, того, кто не выдаст. Читатель Пастернака, и это чувствует всякий, – соглядатай. Взгляд не в его, Пастернакову, комнату (что он делает?), а непосредственно ему под кожу, под ребра (что в нем делается?).

При всем его (уже многолетнем) усилии выйти из себя, говорить тем-то (даже всем), так-то и о том-то – Пастернак неизменно говорит не так и не о том, а главное – никому. Ибо это мысли вслух. Бывает – при нас. Забывает – без нас. Слова во сне или спросонку. «Парки сонной лепетанье...»

* * *

(Попытка беседы читателя с Пастернаком мне напоминает диалоги из «Алисы в стране чудес», где на каждый вопрос следует либо запаздывающий, либо обскакивающий, либо вовсе не относящийся к делу ответ, – очень точный бы, ежели бы, – но здесь неуместный. Сходство объясняется введением в «Алисе» другого времени, времени сна, из которого никогда не выходит Пастернак.)

* * *

Ни у Маяковского, ни у Пастернака, по существу, нет читателя. У Маяковского – слушатель, у Пастернака – подслушиватель, соглядатай, даже следопыт.

И еще одно: Маяковский в читательском сотворчестве не нуждается, имеющий (самые простые) уши – да слышит, да – вынесет.

Пастернак весь на читательском сотворчестве. Читать Пастернака немногим легче, а может быть, и совсем не легче, чем Пастернаку – себя писать.

Маяковский действует на нас, Пастернак – в нас. Пастернак нами не читается, он в нас совершается.

* * *

Есть формула для Пастернака и Маяковского. Это – двуединая строка Тютчева:

Всё во мне и я во всем.

Всё во мне – Пастернак. Я во всем – Маяковский. Поэт и гора. Маяковскому, чтобы быть (сбыться), нужно, чтобы были горы. Маяковский в одиночном заключении – ничто. Пастернаку, чтобы были горы, нужно было только родиться. Пастернак в одиночном заключении – всё. Маяковский сбывается горой. Пастернаком – гора сбывается. Маяковский, восчувствовав себя, предположим, Уралом, – Уралом стал. Нет Маяковского. Есть Урал. Пастернак, вобрав в себя Урал, сделал Урал – собою. Нет Урала. Есть Пастернак. (Распространенно: нет Урала, кроме пастернаковского Урала, как оно и есть: ссылаюсь на всех читавших «Детство Люверс» и Уральские стихи.)

Пастернак – поглощение, Маяковский – отдача. Маяковский – претворение себя в предмете, растворение себя в предмете. Пастернак – претворение предмета в себя, растворение предмета в себе: да, и самых нерастворяющихся предметов, как горные породы Урала. Все горные породы Урала растворены в его лирическом потоке, лишь оттого таком тяжелом, таком громоздком, что это – нет, даже не лава, ибо растворение однородного земного – а насыщенный (миром) раствор.

Маяковский безличен, он стал вещью, живописуемой. Маяковский, как имя, собирательное. Маяковский, это кладбище Войны и Мира, это родины Октября, это Вандомский столп, задумавший жениться на площади Конкорд, это чугунный Понятовский, грозящий России, и некто (сам Маяковский) с живого пьедестала толп

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru – ему грозящий, это на Версаль идущее «хлеба!». Это последний Крым, это тот последний Врангель... Маяковского нет. Есть – эпос.

Пастернак останется в виде прилагательного: пастернаковский дождь, пастернаковский прилив, пастернаковский орешник, пастернаковский и так далее, и так далее.

Маяковский – в виде собирательного: сократительного.

В жизни дней Маяковский один за всех (от лица всех).

(Десятилетие Октября)

Под скромностью ложной – радости не тая,
Ору с победителями голода и тьмы:
– «Это я!

Это – мы!»

(Ложной скромности в нем не было, но – вчитайтесь! – какая глубочайшая настоящая. Впервые поэт гордится тем, что он тоже, что он – все!)

Пастернак: один из всех, меж всех, без всех:

Всю жизнь хотел я быть, как все,
Но мир в своей красе
Не слушал моего нытья
И быть хотел – как я!
Пастернак – невозможность слияния.

Маяковский – невозможность неслияния. Он во вражде больше сливается с врагом, чем Пастернак, в любви, с любимым. (Конечно, знаю, что и Маяковский был одинок, но одинок только в порядке исключительности силы, не единственность лица, а единоличность силы.) Маяковский насквозь человечен. У него и горы говорят человеческим языком (как в сказке, как в каждом эпосе). У Пастернака человек – горным (тем же пастернаковским потоком). Ничего нет умильнее, чем когда Пастернак пытается подражать человеку, той честности, доведенной до рабства, некоторых отрывков «Лейтенанта Шмидта». Он до такой степени не знает, как это (он или иное это) с людьми бывает, что, как последний ученик на экзамене, списывает у соседа все сплошь, вплоть до описок. И какой жуткий контраст: живой Пастернак, с его речью, и речь его, якобы объективного, героя.

Все Пастернаку дано, кроме другого – от любовного до данного, во всех его разновидностях другого, живого человека. Ибо другой человек Пастернака не живой, а какой-то сборник общих мест и поговорок, – как немец хочет прихвастнуть знанием русского языка. Обыкновенный человек Пастернака самый необыкновенный. Пастернаку даны живые горы, живое море (и какое! первое море в русской литературе после моря свободной стихии и пушкинскому равное), зачем перечислять? дано живое – всё!

Здесь даже снег благоухает
И камень дышит под ногой...

– все, кроме живого человека, который либо тот немец, либо сам Борис Пастернак, то есть единоличное, ни на что не похожее, то есть сама жизнь, а не живой человек. (Сестра моя Жизнь, так люди – жизни не зовут.)

В его гениальной повести о четырнадцатилетней девочке все дано, кроме данной девочки, цельной девочки, то есть дано все пастернаковское прозрение (и присвоение) всего, что есть душа. Дано все девчончество и все четырнадцатилетие, дана вся девочка вразброд (хочется сказать: враздробь), даны все составные элементы девочки, но данная девочка все-таки не состоялась. Кто она? Какая? Не скажет никто. Потому что данная девочка – не данная девочка, а девочка, данная сквозь Бориса Пастернака: Борис Пастернак, если был бы девочкой, то есть сам Пастернак, весь Пастернак, которым четырнадцатилетняя девочка быть не может. (Сбываться через себя людям Пастернак не дает. Здесь он обратное медиуму и магниту – если есть медиуму и магниту обратное.) Что у нас от этой повести остается? Пастернаковы глаза.

Но больше скажу: эти Пастернаковы глаза остаются не только в нашем сознании, они физически остаются на всем, на что он когда-то глядел, – в виде знака, меты,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru патента, так что мы с точностью можем установить, пастернаковский это лист или просто. Вобрав (лист) глазом – возвращает с глазом (глазком). (Не могу удержаться от следующей – русского слова нет – реминисценции: пастернаковская (отца) известная и прелестная пастель: «Глазок». Огромная кружка, над ней, покрывая и скрывая все лицо пьющего – детский огромный глаз: глазок... Может быть, сам Борис Пастернак в младенчестве, достоверно, Борис Пастернак – в вечности. Если бы отец знал, кто и, главное, что так пьет.)

Как я некогда, совсем иначе, лирически и иносказательно:

И все твоими очами глядят иконы!

– об Ахматовой, так нынче, вполне достоверно и объективно, о Пастернаке:

И все твоими очами глядят деревья!

Всякий лирик вбирает, но большинство вне сита и задержки глаза, непосредственно извне в душу, окунает вещь в общелирическую влагу и возвращает ее окрашенной этой общелирической душой. Пастернак же через глаз мир – процеживает. Пастернак – отбор. Его глаз – отжим. За сетчатку пастернаковского глаза протекает – течет потоками – вся природа, проскакивает порой и человеческий фрагмент (всегда незабвенный!), за нее никогда еще не проникал ни один человек в целом. Пастернак и его неизменно растворяет. Не человек, а человеческий раствор.

Поэзия! Греческой губкой в присосках

Будь ты, и меж зелени клейкой

Тебя б положил я на мокрую доску

Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брызги и фижмы,

Вбирай облака и овраги,

А ночью, поэзия, я тебя выжму

Во здравие жадной бумаги.

Напоминаю, что губка Пастернака – сильно окрашивающая. Все, что вобрано ею, никогда уже не будет тем, чем было, и мы, вначале утверждавшие, что такого (как у Пастернака) дождя никогда не было, кончаем утверждением, что никакого, кроме пастернаковского, ливня никогда и не было и быть не может. Тот случай Уайльда воздействия искусства (иначе: глаза) на природу, то есть прежде всего на природу нашего глаза.

* * *

Живой человек Пастернака, как мы сказали, либо фантом, либо сам Пастернак, лицо всегда подставное. Маяковский также не способен на живого человека, но не потому же. Если Пастернак его раздробляет и растворяет, Маяковский его дотворяет, надставляет – и вверх, и вниз, и вширь (только не вглубь!), подводит под него постамент своей любви или помост своей ненависти, так что получается не любимая Лиля Брик, например, но Лиля Брик, возведенная в иксую степень его, Маяковского, любви: всей человеческой, мужской и почтовой любви, Лиля Брик – Собор Парижской Богоматери. То есть сама любовь, громада маяковской любви, всей любви. Если же это «белогвардеец» (враг), Маяковский наделяет его такой выразительности атрибутами, что мы не вспомним ни одного нашего живого знакомого добровольца, это будет Белая Армия глазами Красной Армии: то есть живой эпос ненависти, то есть совершенный урод (изверг), а не живой (несовершенный, то есть и с добродетелями) человек. Генерал будет – до чудовищности отросший погон и бакенбард, буржуй будет – не мясом, а целым мысом выступающий на нас живот, муж (в поэме «Любовь») – его, Маяковского, ненавистью, которой не в состоянии оправдать, если даже сложатся вместе в своем ничтожестве, целая сотня «мужей». Такого мужа нет. Но такая ненависть – есть. Чувства Маяковского не гипербола. Но живой человек – гипербола. В случае любви – собор. В случае ненависти – забор, то есть эпос наших дней: плакат.

Глазомер масс в ненависти и глазомер всей массы Маяковского в любви. Не только он, но и герои его – эпичны, то есть безымянны... В этом он опять-таки сроден Гюго, на бесконечных и густо заселенных пространствах своих Мизераблей не давшему ни одного живого человека, как он есть, а Долг (Жавера), Добро (Монсеньера), Несчастье (Вальжана), Материнство (Фантину), Девичество (Козетту) – и так далее, и так далее, – и давшему так безмерно больше «живого человека»: живые силы, миром движущие. Ибо – настаиваю на этом всем весом – всякую силу, будь то сила чисто физическая, Маяковский при самой живой ненависти, дает живой. Искажает он только, когда презирает, когда перед лицом слабости (хотя бы целого торжествующего класса!), а не силы – хотя бы осиленной. Не прощает Маяковский, в

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
конце концов, только немощи. Всякой мощи его мощь воздаст должное. Вспомним стихи Понятовскому и, недалеко ходя, гениальные строки о последнем Врангеле, встающем и остающемся как последнее видение Добровольчества над последним Крымом, Врангеле, только Маяковским данным в росте его нечеловеческой беды, Врангеле в рост трагедии.

Перед лицом силы Маяковский обретает верный глаз, вернее его непомерный глаз здесь оказывается у места: нормальным. Пастернак ошибается в составе человека, Маяковский в размере человека.

* * *

Когда я говорю «глашатай масс», мне видится либо время, когда все такого росту, шагу, силы, как Маяковский, были, либо время, когда все такими будут. Пока же, во всяком случае, в области чувствований, конечно, Гулливер среди лилипутов, совершенно таких же, только очень маленьких. Об этом же говорит и Пастернак в своем приветствии лежащему:

Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих.

* * *

Не похож «живой человек» и у Пастернака, и у Маяковского еще и потому, что оба поэты, то есть живой человек плюс что-то и минус что-то.

* * *

Действие Пастернака и действие Маяковского. Маяковский отрезвляет, то есть, разодрав нам глаза возможно шире – верстовым столбом перста в вещь, а то в глаз: гляди! – заставляет нас видеть вещь, которая всегда была и которой мы не видели только потому, что спали – или не хотели.

Пастернак, мало что отпечатавшись на всем своим глазом, нам еще этот глаз вставляет.

Маяковский отрезвляет. Пастернак завораживает.

Когда мы читаем Маяковского, мы помним всё, кроме Маяковского.

Когда мы читаем Пастернака, мы всё забываем, кроме Пастернака.

Маяковский космически останется во всем внешнем мире. Безлично (слитно). Пастернак остается в нас, как прививка, видоизменившая нашу кровь.

Орудование массами, даже массивами («les grandes machines», [25] сам Маяковский – завод Гигант). Явление деталями – Пастернак.

Всесильный Бог любви,
Всесильный Бог деталей,
Ягайлов и Ядвиг.

У Маяковского тоже есть детали, весь на деталях, но каждая деталь с рояль. (По временам физика стихов Маяковского мне напоминает лицо Воскресенья из «Человека, который был Четвергом» – слишком большое, чтобы его можно было мыслить.) Оптом – Маяковский. В розницу – Пастернак.

Тайнопись – Пастернак. Явнопись, почти пропись – Маяковский. «Черного и белого не покупайте, да и нет не говорите» – Пастернак. Черное, белое. Да, нет – Маяковский.

Иносказание (Пастернак)

Беру любой пример. Смерть поэта:

Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках прорванного бредня.
Слезный, влажный сдвиг, сдвинувший все лицо. Бредень прорван, проступила вода. – Слезы.

Прямосказание, причем, если не понял, повторит и будет повторять до бесчувствия, пока не добьется. (Из сил никогда не выбьется!)

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Шифр (Пастернак). – Световая реклама, или, что лучше, прожектор, или, что еще лучше, – маяк.

Нет человека, не понимающего Маяковского. Где человек, до конца понявший Пастернака? (Если он есть – это не Борис Пастернак.)

Маяковский – весь самосознание, даже в отдалении:

Всю свою звонкую силу поэта
Я тебе отдаю, атакующий класс! –
с ударением на всю. Знает, что отдает!

Пастернак весь самосомнение и самозабвение.

Гомерический юмор Маяковского.

Исключенность юмора у Пастернака, разве что начало робкой (и сложной) улыбки, тут же и кончающейся.

Пастернака долго читать невыносимо от напряжения (мозгового и глазного), как когда смотришь в чрезмерно острые стекла, не по глазу (кому он по глазу?).

Маяковского долго читать невыносимо от чисто физической растраты. После Маяковского нужно много и долго есть. Или спать. Или – кто постоиче – ходить. Наверстывать, или – кто постоиче – вышагивать. И невольно видение Петра, глазами восемнадцатилетнего Пастернака:

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза навернулись,
Слезя их, заливы в осоке...
И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили...
Так Маяковский нынче смотрит на российскую стройку.

* * *

У Маяковского мы всегда знаем о чем, зачем, почему. Он сам – отчет. У Пастернака мы никогда не можем доискаться до темы, точно все время ловишь какой-то хвост, уходящий за левый край мозга, как когда стараешься вспомнить и осмыслить сон.

Маяковский – поэт темы.

Пастернак – поэт без темы. Сама тема поэта.

Действие Пастернака равно действию сна. Мы его не понимаем. Мы в него попадаем. Под него подпадаем. В него – впадаем. Пастернака, когда мы его понимаем, то понимаем помимо него, помимо смысла (который есть и за прояснение которого нам – борется) – через интонацию, которая неизменно точна и ясна. Мы Пастернака понимаем так, как нас понимают животные. Мы так же не умеем говорить по-пастернаковски, как Пастернак не умеет говорить по-нашему, но оба языка есть, и оба вняты и осмысленны, только они на разных ступенях развития. Разобщены. Мост – интонация. Больше скажу: чем больше старается Пастернак свою мысль развить и уяснить, чем больше громоздит придаточных предложений (строение его фразы всегда правильно и напоминает германскую художественно-философскую прозу начала прошлого века), тем больше он смысл затемняет. Есть темнота сжатости, есть темнота распространенности, здесь же – говорю об иных местах его прозы – двойная темнота поэтической сжатости и философской распространенности. В распространенной прозе, какова, например, лекторская, должна быть вода (обмеление вдохновения), то есть распространение должно быть повторением, а не разъяснением: одного образа другим и одной мысли – другой.

Возьмем прозу Маяковского: тот же сокращенный мускул стиха, такая же проза его стихов, как Пастернакова проза – проза стихов Пастернака. Плоть от плоти и кость от кости. О Маяковском сказано – мною обо мне сказанное:

Я слово беру – на прицел!

А словом – предмет, а предметом – читателя. (Мы все Маяковским убиты – если не воскрешены!)

Важная особенность: Маяковский – поэт весь переводим на прозу, то есть рассказуем своими словами, и не только им самим, но любым. И словаря менять не приходится, ибо словарь Маяковского – сплошь обиходен, разговорен, прозаичен (как и словарь Онегина, старшими современниками почитавшийся «подлым»). Утрачивается только сила поэтической речи: маяковская расстановка: ритм.

А если Пастернака перевести на прозу, то получится проза Пастернака, место куда темнейшее его стихов, то есть темнота, присущая самому стиху, и нами, поэтому, в стихах узаконенная, здесь окажется именно темнотой сути, никакими стихами не объясненная и не проясненная. Ибо, не забудем: лирика темное – уясняет, явное же – скрывает. Каждый стих – речение Сивиллы. то есть бесконечно больше, чем сказал язык.

Маяковский весь связан, логика же Пастернака сущая, но неисследимая связь между собой событий, – сна, во сне, но только во сне, неопровержимая. Во сне (когда мы читаем Пастернака) все именно так, как нужно, все узнаешь, но попробуй-ка этот сон рассказать – то есть своими словами передать Пастернака – что останется? Мир Пастернака держится только по его магическому слову. «И сквозь магический кристалл...» Магический кристалл Пастернака – его глазной хрусталик.

Маяковского рассказать пусть берется каждый, говорю заранее: удастся, то есть половина Маяковского останется. Пастернака же может рассказать только сам Пастернак. Что и делает в своей гениальной прозе, сразу ввергающей нас в сновидение и в сновидение.

Пастернак – чара.

Маяковский – явь, белейший свет белого дня.

* * *

Но основная причина нашего первичного непонимания Пастернака – в нас. Мы природу слишком очеловечиваем, поэтому вначале, пока еще не заснули, в Пастернаке ничего не узнаем. Между вещью и нами – наше (вернее, чужое) представление о ней, наша застилающая вещь привычка, наш, то есть чужой, то есть дурной опыт с вещью, все общие места литературы и опыта. Между нами и вещью наша слепость, наш порочный, порченный глаз.

Между Пастернаком и предметом – ничего, оттого его дождь – слишком близок, больше бьет нас, чем тот из тучи, к которому мы привыкли. Мы дождя со страницы не ждали, мы ждали стихов о дожде. Поэтому мы говорим: «Это не дождь!» и «Это не стихи!» Дождь забарабанил прямо по нас:

На листьях сотни запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Природа явила себя через самое беззащитное, лунатическое, медиумическое существо – Пастернака.

* * *

Пастернак неисчерпаем. Каждая вещь в его руке, вместе с его рукой, из его руки уходит в бесконечность – и мы с нею – за нею. Пастернак только Invitation au voyage [26] – самораскрытия и мирораскрытия, только отправной пункт: то, откуда. Наш отчал. Ровно столько места, чтобы – сняться. На Пастернаке мы не замедливаем, мы медлим над Пастернаком. Над пастернаковской строкой густейшая и тройная аура – пастернаковских, читательских и самой вещи – возможностей. Пастернак сбывается над строкою. Чтение Пастернака надстрочное, – параллельное и перпендикулярное. Меньше читаешь, чем глядишь (думаешь, идешь) от. Наводящее. Заводящее. Можно сказать, что Пастернака читатель пишет сам.

Пастернак неисчерпаем.

Маяковский – исчерпывает. Исчерпаема только его сила, с которой он так исчерпывает предмет. Сила, готовая, как земля, каждый раз все заново, каждый раз – раз навсегда.

За порогом стихов Маяковского – ничего: только действие. Единственный выход из

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
его стихов – выход в действие. Его стихи нас из стихов выталкивают, как белый день с постели сна. Он именно тот белый день, не терпящий ничего скрытого. – Die Sonne bringt es an den Tag! [27] Посмотрите на его тени – разве это не ножом отрезанные, ограниченные тени полдня, на которые нельзя не наступить ногой. Пастернак: неисчерпаемость (неограниченность) ночи.

Над строками Маяковского – ничего, предмет весь в его строке, он весь в своей строке, как гвоздь весь ушел в доску: мы же уже непосредственно у дела и с молотком в руках.

От Пастернака думается.

От Маяковского делается.

После Маяковского ничего не остается сказать.

После Пастернака – всё.

* * *

И, в каком-то последнем, конечном счете:

«Мне борьба мешала быть поэтом» – Пастернак.

«Песни мне мешали быть бойцом» – Маяковский.

Ибо упор Пастернака в поэте.

Ибо упор Маяковского в бойце.

«Певец в стане русских воинов» – вот Пастернак в российской современности.

Боец в стане мировых певцов – вот Маяковский в поэтической современности.

И – кто знает – куда бы дошел, до какой глубины бы дошел Пастернак, если бы не невольная, тоже медиумическая, привлеченность общественностью: данным часом России, века, истории. Отдавая все должное Пятому Году – гению Пастернака во образе Пятого Года, – не могу не сказать, что Шмидт и без Пастернака остался бы Шмидтом, Пастернак и без Шмидта остался бы Пастернаком, а с чем-нибудь иным чем Шмидт, с чем-нибудь неназванным оказался бы – дальше.

Если час для поэтической карьеры – внешнего прохождения и дохождения поэта – ныне в России благоприятный, то для поэтической одинокой дороги он неблагоприятен. События питают, но они же и мешают, и, в случае лирического поэта, больше мешают, чем питают. События питают пустого (незаполненного, опустошенного, временно пустующего), переполненному они – мешают. События питают Маяковского, у которого была только одна полнота – сил. События питают только бойца. У поэта – свои события, свое самособытие поэта. Оно в Пастернаке если не нарушено, то отклонено, заслонено, отведено. Тот же отвод рек. Видоизменение русл.

Пастернак, по благородству сущности, сам свои пороги упразднил – поскольку мог. Пастернак, в полной добросовестности, – старается не впасть в Каспийское море.

Может быть, может быть. Но – жаль Неясыти. И той Волги – жаль.

* * *

«Песни мне мешали быть бойцом» – Маяковский. Да, ибо есть борьба более непосредственная, чем словом, – телом! – и более действенная, чем словом, – делом, общее дело рядовой борьбы. А Маяковский никогда не стоял рядовым. Его дар его от всех его собоютов – товарищей – отъединил, от всякого, кроме разговорного, дела отставил. Маяковскому, этому самому прямому из бойцов, пришлось драться иносказательно, этому самому боевому из бойцов – биться окольно. И сколько ни заявляй Маяковский: «Я – это все! Я – это мы!» – он все-таки одинокий товарищ, неравный ровня, атаман – ватаги, которой нет, или настоящий атаман которой – другой. Вот стихи рабочего:

Вспоминаю тебя и тебе пою
Как сталь звучащую песнь мою.

К тебе вздымается песнь! К тебе
И больше ни к кому.
Ты слабости не знал в себе,
Был тверд. И потому
Всю молодость мою
Тебе я отдаю.
Нет лучшего, чем ты, у нас
И не было в веках.
Весна. И лето уж недалеко.
Воды бурлят, содрогаясь до дна.
Улицы мира вздыхают глубоко.
Шли года и года,
Но никто никогда
Не жил, так нас любя,
Как ты.
И уж нет тебя.
И все ж я стою пред тобою.
Ты жив... И будешь – пока земля
Будет. Мощным звоном с башен Кремля
Падают ритмы Парижской Коммуны.
Все гонимые в мире сердца
Натянули в груди твоей общие струны.
На старых камнях площади Красной,
С весенним вихрем один на один,
Победоносный и властный,
Окраинной улицы сын
Поет тебя.

Это стихи – не Маяковскому. Они тому, кто, по слуху народной славы выписав себе полное собрание сочинений Маяковского, прочел две страницы и навсегда отложил, сказав: «А все-таки Пушкин – лучше писал!»

А я скажу, что без Маяковского русская революция бы сильно потеряла, так же как сам Маяковский – без Революции.

А Пастернак бы себе рос и рос...

* * *

Если у нас из стихов Маяковского один выход – в действие, то у самого Маяковского из всей его действенности был один выход – в стихи. Отсюда и их ошеломляющая физика, их подчас подавляющая мускульность, их физическая ударность. Всему бойцу пришлось втесниться в строки. Отсюда и рваные размеры. Стих от Маяковского всеместно треснул, лопнул по швам и без швов. И читателю, сначала в своей наивной самонадеянности убежденному, что Маяковский это для него ломается (действительно ломался: как лед в ледоход!), скоро пришлось убедиться, что прорывы и разрывы Маяковского не ему, читателю, погремушка, а прямое дело жизни – чтобы было чем дышать. Ритмика Маяковского физическое сердцебиение – удары сердца – застоявшегося коня или связанного человека. (Про Маяковского можно сказать чудным ярмарочным словом владельца карликовой трупы, ревновавшего к соседнему бараку: «Чего глядите? Обнакнавенный великан!») Нет гнета большего – подавленной силы. А Маяковский, даже в своей кажущейся свободе, связан по рукам и по ногам. О стихах говорю, ни о чем другом.

Если стихи Маяковского были делом, то дело Маяковского не было: писать стихи.

Есть рожденные поэты – Пастернак.

Есть рожденные бойцы – Маяковский.

А для рожденного бойца – да еще такой идеи – всякая дорога благоприятнее поэтовой.

Еще одно необходимое противопоставление. Маяковский при всей его динамичности – статичен, та непрерывность, предельность, однородность движения, дающая неподвижность. (Недвижный столб волчка. Волчок движется только, когда останавливается.)

Пастернак же – динамика двух впертых в стол локтей, подпирающих лоб – мыслителя.

Так динамично небо, которым идут тучи.

Статичность Маяковского от его статуарности. Даже тот быстроногий бегун он – мраморный. Маяковский – Рим. Рим риторства. Рим действия. «Карфаген должен быть разрушен!» (Если ругать его, так только: «статэй».) Маяковский – живой памятник. Гладиатор вживе. Вглядитесь в лобные выступы, вглядитесь в глазницы, вглядитесь в скулы, вглядитесь в челюсти. Русский? Нет. Рабочий. В этом лице пролетарии всех стран больше чем соединились – объединились, сбились в это самое лицо. Это лицо такое же собирательное, как это имя. Безымянное имя. Безличное лицо. Как есть лица с печатью интернациональной авантюры, так это лицо – сама печать Пролетариата, этим лицом Пролетариат мог бы печатать свои деньги и марки.

Маяковский среди рабочих мира был настолько свой, он – настолько они, что спокойно мог дымить на них английским табаком из английской трубки и сверкать на них черным лаком парижских башмаков и собственной парижской машины – только радость: своему повезло, и говорить рабочим «ты» (весь Пастернак напряженное «вы», «на ты» он только с Гёте, Рильке, такими. «Ты» братственности, ученичества, избрничества. У Маяковского – рядовое «ты» товарищества). Маяковский в коммунизме настолько свой, что он вопреки всем попрекиам Есенину и наказам комсомолке Марусе, отравившейся, потому что не было лаковых туфель (из-за них-то и милый бросил!), –

Помни ежедневно, что ты – зодчий
И новых отношений и новых Любвей, –
И станет ерундовым любовный эпизодчик
Какой-нибудь Любы к любому вове, –
мог покончить с собой из-за частной, несчастной любви так же просто, как тогда резался в карты. Своему все позволено, чужому – ничего. Свой среди своих. Только те рабочие живые, этот – каменный.

Боюсь, что несмотря на народные похороны, на весь почет ему, весь плач по нем Москвы и России, Россия и до сих пор до конца не поняла, кто ей был дан в лице Маяковского. Маяковскому в России только один – ровня. (Не говорю: в мире, не говорю: в слове, говорю: в России.) Если тот был «хлеба», этот был «зрелищ», то есть первым шагом души из хлеба, первой новой российской душой. Маяковский первый новый человек нового мира, первый грядущий. Кто этого не понял, не понял в нем ничего. Недаром я, слушая с голосу те уже приведенные стихи рабочего «Весна», где все свелось к одному: ему: ушедшему, сразу сказала: – либо Маяковскому – либо.

Пролетариат может печатать только двумя лицами. Должен печатать двумя лицами.

Даже известная ограниченность его – ограниченность статуи. Статуя может только менять положения: угрозы, защиты, страха и т. д. (Весь античный мир одна статуя в различных положениях.) Видоизменять положения, но не менять материал, который раз навсегда ограничен, и раз навсегда ограничивающий возможности. Вся статуя в себя включена. Она из себя не выйдет. Потому-то она и статуя. Для того-то она и статуя. In der Beschdnkung zeigt sich erst der Meister.[28] Может быть, в этом смысле Маяковский более Meister и Meisterwerk,[29] чем Пастернак, которого так же дико, как Рильке, искать в ограниченном мире мастерства и так же естественно, как Рильке, находить в неограниченном, ничем от нас не отграниченном мире чуда.

Лаокоон из кожи не вылезет никогда, но вылезает всегда, но не вылезет никогда, и так далее до бесконечности. В Лаокооне дано вылезание из: статика динамики. Ему, как морю, положен закон и предел. Эта же неподвижность бойца дана и в Маяковском.

Теперь прошу о предельном внимании. Из кожи Маяковского лез только боец, лез только размер. Как из его глазниц – глазомер. Дай ему тело и дело в тысячу раз больше ему положенных, тело и дело его силы, весь Маяковский отлично в себе уместится, ибо распределится в непрерывности живого движения, и не будет статуей. Статуей он стал. Его трагедия опять-таки вопрос количества, а не качества (разнокачественности). В этом он еще раз одинок среди поэтов, ибо лез-то он именно из кожи слова. ставшей роковым образом его собственной и которую он повсеместно прорвал – в действительный мир, тогда как все поэты именно из кожи действительного мира лезут. Все поэты: из физики – в психику. Маяковский из

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru психики – в физику – с нашей точки зрения, – ибо для Маяковского, наоборот всем поэтам, слово было тело, а дело – душа. Пусть для лирика и поэзия тесна, Маяковскому именно она была тесна. Маяковский за письменным столом – физическое несоответствие. Уже больше видишь его за «grandes machines»[30] декоративной живописи, где, по крайней мере, руке есть где взмахнуть, ноге – куда отступить, глазу – что окинуть. Из кожи поэзии рвался еще и живописец. Та секунда, когда Маяковский впервые уперся локтем в стол, – начало его статуарности. (Окаменел с локтя.) Россия в эту секунду обрела самого живого, самого боевого, самого неотразимого из своих поэтов, в эту секунду любые ряды боя – первый ряд боя, все первые ряды всех боев мира утратили своего лучшего, самого боевого, самого неотразимого бойца.

Приобрел эпос, потерял миф.

Самоубийство Маяковского, в другом моем смысловом контексте встающее, как убийство поэтом – гражданина, из данного моего контекста встает расправой с поэтом – бойца. Самоубийство Маяковского было первым ударом по живому телу, это тело – первым живым упором его удару, а все вместе – его первым делом. Маяковский уложил себя, как врага.

Если Маяковский в лирическом пастернаковском контексте – эпос, то в эпическом действенном контексте эпохи он – лирика. Если он среди поэтов – герой, то среди героев – он поэт. Если творчество Маяковского эпос, то только потому, что он, эпическим героем задуманный, им не стал, в поэта всего героя взял. Приобрела поэзия, но пострадал герой.

Герой эпоса, ставший эпическим поэтом – вот сила и слабость и жизни и смерти Маяковского.

С Пастернаком проще, на этот раз Пастернак Темный – читается с листа. Пастернаку, как всякому лирическому поэту, всюду тесно, кроме как внутри, во всем мире действия тесно, особенно же в самом месте мирового действия – нынешней России.

Иль я не знаю, что в потемках тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота?
Иль я урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой костности косней!
Пастернаку, как всякому поэту, как всякому большому о счастье не думающему, приходится снижаться до цифрового сопоставления счастья ста и сотен тысяч, до самого понятия счастья как ценности, орудовать двумя неизвестными, если не заведомо подозрительными ему величинами: счастья и цифрового количества.

Пастернаку, который так недавно, высунув голову в форточку – детям:

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
приходится по полной доброй воле, за которую никто ему не благодарен (кому досадно, кому жалко, кому умирительно и всем неловко), мериться пятилеткой.

Весь Пастернак в современности – один большой недоуменный страдальческий глаз – тот самый глазок над кружкой – тот самый глаз из форточки – глаз непосредственно из грудной клетки – с которой он не знает, как быть, ибо видимое и сущее в ней, так Пастернаку кажется, сейчас никому не нужно. Пастернак из собственных глазниц вылезает, чтобы увидеть то, что все видят, и ко всему, что не то, ослепнуть. Глаз тайновидца, тшщийся стать глазом очевидца. И так хочется от лица мира, вечности, будущего, от лица каждого листка, на который он так глядел, уговорить Пастернака тихими словами его любимого Ленау («Bitte»[31]).

Weil auf mir du dunkles Auge,
Uebe deine ganze Macht.[32]
* * *

Мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века: отношению к России.

Здесь Пастернак и Маяковский – единомышленники. Оба за новый мир и оба, – но вижу, что первое оба останется последним, ибо если Пастернак явно за новый мир, то вовсе не с такой силой явности против старого, который для него, как бы он ни осуждал политический и экономический строй прошлого, прежде всего и после всего – его огромная духовная родина. «Кто не с нами, тот против нас». Мы для Пастернака не ограничивается «атакующим классом». Его мы – все те уединенные всех времен, порознь и ничего друг о друге не зная делающие одно. Творчество – общее дело, творимое уединенными. Под этим, не сомневаюсь, подпишется сам Борис Пастернак не боец (kein Umstürzler![33]). Пастернак – сновидец и прозорливец. В своей революционности он ничем не отличается от всех больших лириков, всех, включая роялиста Виньи и казненного Шенье, стоявших за свободу – других (у поэта – своя свобода), равенство – возможностей, и братство, которым каждый поэт, несмотря на свое одиночество, а может быть, и благодаря своему одиночеству, переполнен до самых краев сердца. В своей «левизне» он ничем не отличается от каждого человека, у которого сердце на месте, то есть – слева.

Вот признание самого Пастернака, недавнее, после пятнадцати лет Революции, признание:

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта – только след
Ее путей – не боле,
И так как я лишь ей задет,
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на нет
В революционной воле –

то есть то же слово Виньи сто лет назад: «Après avoir réfléchi sur la destinée des femmes dans tous les temps et chez toutes les nations, j'ai fini par penser que tout homme devrait dire a chaque femme, au lieu de Bonjour: – Pardon!»[34]

И опять-таки от данного к общему, окольный – чисто-поэтов! – приход, через деталь и обход веками обманутой девушки – да через Гретхен же! – в Революцию. Как к лесу – через лист. И показательно, что самосознающий себя, боевой, волевой Маяковский с его самосознающим себя даром:

Всю свою звонкую силу поэта
Я тебе отдаю, атакующий класс!
– со всей своей волей и личностью в этом своем выборе – растворяется.
Пастернаково же признание:

То весь я рад сойти на нет
В революционной воле –
нами, вопреки убежденности Пастернака и очевидности букв, читается:

Я рад бы весь сойти на нет –
– то есть Пастернак в нашем сознании, несмотря на Лейтенанта Шмидта и все, что еще такого напишет, в этой революционной воле, как вообще ни в какой людской, не растворяется, ибо ни с какой волей, кроме мировой, всей мировой – и действующей непосредственно через него – не только не слиянен, но и не знаком. Каждый подвластен, но каждый подвластен иному. За Пастернака знает кто-то больший, чем он, и иной, чем мы.

Маяковского ведут массы, хочется сказать по-французски: гений масс, потому он их и ведет. Массы будущего, потому он и ведет массы настоящего. И чтобы не было двусмысленности в толковании: Маяковского ведет история.

Маяковский: ведущий – ведумый. Пастернак – только ведомый.

* * *

Единомыслие – не мера сравнения двух поэтов. У Маяковского единомышленники – если не вся Россия, то вся русская молодежь. Каждый комсомолец больший и, во всяком случае, более явный единомышленник Маяковскому, чем Пастернак. Сходятся (едино – мыслят) эти двое только раз – в теме поэм: Октябрь и Пятый Год. Один написал Октябрь, другой Декабрь, но какой Октябрь и какой Декабрь, да и Декабрь-то от Октября сильно разнится... И напиши Пастернак завтра же свой Октябрь, это прежде всего будет его Октябрь, где центр боевых действий будет

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
перенесен на вершины метущихся деревьев.

Второго, а по существу первого и единственного вопроса:

об отношении к Богу того и другого, Бога к тому и другому, я сейчас намеренно не подымаю. В свой час.

В разные устья, из разных истоков, разные в источниках, из которых пьют, в жаждущих, которых поят – зачем перечислять? – не: разные во всем, а люди разных измерений, они равны только в одном: силе. В силе творческого дара и отдачи. Следовательно, и в силе, по нас, удара.

Маяковский наш силомер. Пастернак наш глубино-мер: лот.

Но есть у этих двух, связанных только одной наличностью – силы, и одно общее отсутствие: объединяющий их пробел песни. Маяковский на песню неспособен, потому что сплошь мажорен, ударен и громогласен. Так шутки шутят («не гораздо хорошие») и войсками командуют. Так не поют. Пастернак на песню не способен, потому что перегружен, перенасыщен и, главное, единоличен. В Пастернаке песне нету места, Маяковскому самому не место в песне. Поэтому блоковско-есенинское место до сих пор в России «вакантно». Певучее начало России, расструенное по небольшим и недолговечным ручейкам, должно обрести единое русло, единое горло.

Для того чтобы быть народным поэтом, нужно дать целому народу через тебя петь. Для этого мало быть всем, нужно быть всеми, то есть именно тем, чем не может быть Пастернак. Целым и только данным, данным, но зато целым народом – тем, чем не хочет быть Маяковский: глашатай одного класса, творец пролетарского эпоса.

Ни боец (Маяковский), ни прозорливец (Пастернак) песен не слагают.

Для песни нужен тот, кто наверное уже в России родился и где-нибудь, под великий российский шумок, растет. Будем жить.

* * *

...Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих.
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.
Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал со всех ног, со всех лодыг,
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих.
Пастернак – Маяковскому

Кламар,

декабрь 1932.

Поэты с историей и поэты без истории
Никто еще дважды не ступал в одну и ту же реку.

Гераклит
Восходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит.
Идет ветер к югу, и переходит к северу,
и кружится, кружится на ходу своем,
и возвращается ветер на круги свои.

Проповедник

Передо мною лежит первое издание полного собрания стихотворений Пастернака в одной книге, этого, 1933 года. Почти пятьсот страниц мелким шрифтом. 1912–1932. Двадцать лет. Полтысячи страниц.

Вернемся назад на полстолетия, когда ни нас, ни нашего мира, ни самого Бориса Пастернака еще не существовало, и попытаемся угадать: каким может быть творчество поэта в течение двух десятилетий, из которых три года будут отданы мировой войне, еще три – гражданской, и еще двенадцать – строительству нового мира – и какому еще строительству! после какой разрухи! И лишь два первых года этих десятилетий будут принадлежать самому человеку, самому поэту, будто даны ему для того, чтоб научился дышать, чтобы вдохнул запас воздуха для всего, что последует дальше, когда он уже не сможет свободно, полной грудью лиры дышать. Каким же может стать лирическое двадцатилетие такого двадцатилетия исторического?

И такой же вопрос, с заменой «может быть» на «могло быть», поставим перед собой в конце протекающего пятидесятилетия, когда мы, современники Пастернака, и сам Пастернак, все наши исторические и личные судьбы будут видны как на ладони, когда мы войдем в область преданий и перестанем быть, мы – пройдем. Будущее как область преданий о нас и прошлое как область гаданий о нас (хотя иногда и кажется наоборот). Настоящее же – краткое и крохотное поле реальной деятельности.

Попробуем же с этой маленькой сцены настоящего ответить им – гаданию и преданию – и вам!

Борис Пастернак – поэт без развития. Он сразу начал с себя самого и никогда себе не изменял. Что вообще такое «я» поэта? Или шире, нет, пожалуй, – уже. Что такое языковое «я» поэта? Ведь словарь – не просто порядок слов. Сочетание «гоголевский период» мы узнаем прежде, чем уловим смысл каждого из этих двух слов.

Поэтическое «я» – это, по-видимому, «я» человеческое, проступающее в строе речи. Стихи часто являют нам нечто скрытое, приглушенное и совсем заглушенное, чего и сам-то человек в себе не знал. Он бы и не узнал это о себе, если бы не стихотворчество. Действие сил, неведомых действующему и осознаваемым лишь в самый момент действия. Здесь аналогия со сновидениями. Ведь если бы сновидения были управляемы (а это могут некоторые люди, особенно дети), то эта аналогия сновидений со стихотворчеством была бы полной. То, что в тебе скрыто и закопано, а в стихах открыто и выражено, – и есть твое поэтическое «я», сновидческое «я».

Другими словами, поэтическое я проступает как преданность души поэта особым снам, и это не воля его, а тайный источник всей его природы.

Я поэта есть я сновидца плюс я творца слова. Поэтическое я – это я мечтателя, пробужденное вдохновенной речью и в этой речи явленное.

Такова, в основе, личность поэта. Таков закон личности поэта. Поэтому все поэты столь схожи и столь несхожи. Схожи тем, что все без изъятия сновидят. Не схожи – своими снами.

* * *

Все поэты делятся на поэтов с развитием и поэтов без развития. На поэтов, имеющих историю, и поэтов без неё.

Графические первые отображаются стрелой, пущенной в бесконечность, вторые – кругом. Первые (стрела) влекомы поступательным законом самооткрывания. Они открывают себя во всех явлениях, встречающихся на пути, в каждом новом шаге и каждой новой встрече.

Все коллизии: мое – чужое, насущное – лишнее, случайное – вечное, все для них пробный камень. Пробный камень их силы, растущей с каждым новым препятствием. Их самооткрывание, самопознание души идет через познание мира путем опыта. Они идут, а мы физически ощущаем движение воздуха, ими рассекаемого, свежий ветер.

Они не оборачиваются на своем пути. Их опыт накапливается будто сам собой и складывается позади, как своя ноша за спиной, которая никогда не давит на плечи.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
На такую ношу не оборачиваешься. Ходок не ведает о своем вещевом мешке до той поры, пока он ему не понадобится, – до привала. Гёте «Геца фон Берлихингена» и Гёте «Метаморфоз растений» даже не знакомы. Взяв от себя прежнего все, что ему понадобится, нынешний оставил его в дивных лесах молодой Германии времен собственной молодости и зашагал дальше. Если бы зрелый Гёте встретил на перекрестке времен молодого, он, возможно, не узнал бы его настолько, что захотел бы познакомиться с ним. Говорю не о Гёте-личности, а о Гёте-творце. И этот пример наиболее очевиден.

Поэты, имеющие историю, как и сама история, не отрекаются от себя, а просто не оборачиваются на себя, они движутся только вперед! Таков закон движения и проникновения.

Гёте Геца, Гёте Вертера, Гёте «Римских элегий», Гёте «Науки о красках» и т. д. – где он сам? Везде и нигде. Сколько их? Столько, сколько шагов. Каждый новый шаг делал новый пешеход. Выходил один, а приходил другой. Гете-творец поднимал ступню каждого пешехода. Он был их творческой мышцей. Как и Пушкин. А может быть, это и есть сущность гения?

Как одиноки такие пешеходы! В них ищут того, кого теперь не узнаешь. Полюбили – одного, а он сам от себя уже отрекся. Поверили – одному, а он сам себя уже перерос. От Гёте до его восьмидесяти трех лет (года смерти) требовали Геца (Гёте двадцатилетнего). Более близкий пример – от Блока Двенадцати все еще требуют Незнакомку!

Именно об этом – гениальные строки нашего русского гётеанца, поэта и философа Вячеслава Иванова, живущего теперь в Падуе:

Чье имя с крыш вострубите –
Укрылся под чужим.
Кого и ныне любите –
Уж ныне не любим.

Дело не в возрасте – все мы меняемся. Дело в том, что зрелый Гёте не понимал собственной молодости. Есть поэты, к которым новая молодость приходит в старости. Трилогия страсти Гёте написана семидесятилетним стариком! Все дело в новизне взгляда, во вновь открывающихся горизонтах, вслед за просторами преодоленными. Дело в несчетности мгновений, в бесконечности задач, в безмерности сил Колумба. А вещевой мешок за спиной (Гёте действительно ходил с мешком для камней и минералов) все полнее и полнее. И дорога ведет в бесконечность. Солнце садится и тени растут. Но нет предела ни силам, ни пути!

Поэты с историей, что очень важно, – поэты темы. Мы всегда знаем, о чем они пишут, а если и не знаем, то узнаем после завершения их пути, куда они шли (у них есть цель). Редко такие поэты бывают чистыми лириками. Они слишком велики по объему и размаху, им тесно даже в своем «я» – пусть в самом большом; они так расширяют это «я», что оно просто сливается с краем горизонта. (Гёте, Пушкин.) Человеческое «я» становится «я» страны – народа – данного континента – столетия – тысячелетия – небесного свода... (Всемерное «я» Гёте: «Я вижу в тысячелетиях».) Тема для такого поэта – повод для рождения нового себя, которое не всегда человеческое. Весь их земной путь – череда перевоплощений и не всегда в человека: в камень, цветок, созвездие. Они словно вобрали в себя все дни творения.

Поэты с историей прежде всего поэты воли. Речь не о воле, осуществляющей деяние: никто не усомнится, что такая физическая громада, как «Фауст» или просто поэма в тысячу строк, не может возникнуть сама по себе. Без усилий воли могут возникнуть восемь, шестнадцать, редко двадцать строк – лирический прилив чаще всего приносит к нашим ногам осколки – хотя бы и самые драгоценные. Говорю о воле выбора, о воле – выборе. О решимости не только стать иным, но и именно таким иным. О решимости расстаться с сегодняшним собой. Решить, подобно герою сказки: направо, налево или прямо (но, подобно герою той же сказки, – никогда назад!), Пушкин, проснувшись однажды утром, решает: «Сегодня пишу Моцарта!» Воля выбора Моцарта – отказ от множества других видений и дел, жертва. Поэт с историей отбрасывает все, что не лежит на линии его «стрелы» – его личности, его дара, его истории. Выбирает его непогрешимый инстинкт главного. И после завершения пушкинского пути у нас остается ощущение, что Пушкин не мог не создать того, что создал, и написать то, что он не написал. И никто из нас не жалеет, что он отказался от замысла «Мертвых душ», которые находились на гоголевской

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru генеральной линии. (Поэт с имеет еще и ясный взгляд на других. И Пушкин обладал таким взглядом)

Поэт без истории не имеет и четкого стремления к цели. Он, ведь, и сам не знает, что принесет ему лирический прилив. Чистая лирика не имеет волевого замысла. Нельзя заставить себя увидеть такой и именно такой сон, ощутить такое и именно такое чувство. Чистая лирика есть претворение состояния чистого переживания – «перестрадания», а в промежутках творения («пока не требует поэта к священной жертве Аполлон») – при отливах вдохновения – состояние безмерного опустошения. Море ушло, все унесло и до своего часа не вернет. Постоянное ужасающее висение в воздухе на честном слове вероломного вдохновения. А если оно однажды уронит?

Чистая лирика есть лишь запись наших снов и ощущений, плюс мольба, чтоб эти сны и ощущения никогда не иссякли... Если от лирика требовать еще... Но чего еще можно от него требовать?

Лирику не за что ухватиться: у него нет ни костяка темы, ни обязательных часов работы за столом; нет материала, откуда он черпает, которым он занят и даже поглощен в часы отлива; он держится в полном смысле на волоске доверия.

Не ждите жертвы: чистый лирик ничем не жертвует – он рад, когда хоть что-нибудь пришло. Не ожидайте от него морального выбора – что бы ни пришло, «зло» или «добро», – он так счастлив, что вообще пришло, что уж вам (обществу, морали, Богу) ничего не уступит.

Лирику дана воля лишь настолько, чтобы разобраться в дарах прилива.

Чистая лирика – всего лишь запись наших снов и ощущений. Чем лирик больше, тем запись чище.

* * *

Пешеход и столпник. Поэт без истории – это столпник, или, что то же, спящий. Что бы ни происходило вокруг его столпа, что бы ни создавали (или разрушали) валы истории, он слышит только свое, видит только свое, знает только свое. (Что бы ни разыгрывалось вокруг – он видит только свои сны.) Иногда это – великий поэт, как Борис Пастернак, но и мелкое, и великое с равной неодолимостью и силой влечет нас в зачарованный круг сна. Мы тоже превращаемся в столпников.

Чужие житейские сны, рассказанные нам, невыразительны и незаразительны, но как неотразимы сны лирические, волнующие нас больше наших собственных!

Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч.
Едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ...

Эти строки молодого Лермонтова сильнее всех моих детских снов; и не только детских; и не только моих.

О поэтах без истории можно сказать, что их душа и личность сложились еще в утробе матери. Им не нужно ничего узнавать, усваивать, постигать – они уже всё знают отродясь. Им не нужно ни о чем спрашивать – они являют. Очевидность, опыт для них – ничто.

Если круг их знаний узок – они не выходят из него, если он очень велик – они никогда его не сужают из надобности опыту угодить.

Они пришли в мир не узнавать, а сказать. Сказать то, что уже знают, все, что знают (если это много), единственное, что знают (если это одно).

Они пришли в мир, чтобы дать знать о себе. Чистые лирики, только лирики не допускают в свой мир ничего чужеродного; инстинкт чужого у них так же безошибочен, как у поэтов с историей – инстинкт своей генеральной линии. Весь эмпирический мир для них – чужероден. И поэтому их выбор есть отбор, а вернее – отпор. Отпор всей сущности их природы, а не воли. И обычно бессознательный. В этом они, как и во многом, – дети. Мир для них: «Не так!» – «Нет, так. Сам знаю! Я лучше знаю!» Что он знает? То, что иначе – невозможно.

Поэты-лирики – антиподы миру, если говорить о мире человеческом: обществе,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru семье, морали, господствующей церкви, науке, здравом смысле, любом виде власти, – человеческом устройстве вообще, включая и пресловутый «прогресс»). Их стихи и судьбы всегда единое целое.

Для поэтов с историей нет посторонних тем, они сознательные участники мира. Их «я» равно миру. От человеческого до вселенского.

В отличии масштаба мира – отличие гения от лирического гения. Ведь существуют и чисто лирические гении, но их никогда не называют гениями. Замкнутость, обреченность на самого себя нарекается определяется словом лирик. А безграничность и даже безличность гения – отсутствием определения или невозможностью определения вообще. (Всякое определение, придавая точный смысл, ограничивает).

«Я» нельзя назвать гением. Гением может быть «я», облеченное в имя такого-то смертного, взявшее на потребу времени земные приметы. Вспомним, что гений у древних означал высшее и доброе существо, божество, стоящее над (человеком), а не самого человека. Гёте был гений потому, что над ним парил гений. Этот гений вел его и поддерживал до конца восьмидесят третьего года – до последней страницы Второго Фауста. Этот же гений и запечатлелся на его бессмертном лице.

* * *

Еще одно и, может быть, простейшее объяснение. Чистая лирика живет чувствами. Чувства всегда те же, у них нет развития, нет логики. Они непоследовательны. Они даны нам сразу все, все чувства, которые когда-либо нам суждено будет испытать, отродясь втиснуты в нашу грудь. Чувство (как и детство – человека, народа, планеты) всегда начинается с максимума, а у великих людей и поэтов на этом максимуме остается. Чувству не нужен повод, оно само повод для всего. Чувство не нуждается в опыте: оно все знает до опыта и лучше. (Всякое чувство еще и предчувствие.) В кого вложена любовь – тот любит, в кого гнев – тот негодует, а в кого обида – тот отродясь обижен. Обидчивость порождает обиду. Чувство не нуждается в опыте, оно заранее знает, что обречено. Чувству нечего делать на периферии опытного, оно – в центре, оно само – центр. Чувству нечего искать на дорогах, оно знает – что придет и приведет – в себя.

Зачарованный круг. Сновидческий круг. Магический круг.

* * *

Итак, еще раз:

Мысль – стрела.

Чувство – круг.

Такова сущность чистых лириков, природа чистой лирики. И если нам иной раз кажется, что они развиваются, изменяются, – развиваются и изменяются не они, а лишь их словарь, их языковой арсенал.

Редко кому из чистых лириков сразу даны те слова – его слова! Зачастую от бессловесности они начинают с чужих слов, не с собственных, а с общих (впрочем, именно тогда они и нравятся большинству, которое в них узнает собственную безликость!); и когда они, иной раз довольно быстро, начинают говорить своим языком, нам кажется, что они изменились и выросли. Но это не они выросли, выросло и доросло до «я» его языковое выражение. Ведь даже самый великий музыкант не может выразить себя на детской клавиатуре.

Есть дети, рождающиеся с готовой душой, но нет ребенка, который родился бы с готовой речью. (Был только один – Моцарт.) Чистые лирики буквально учатся говорить, ибо поэтический язык есть физика их творчества, тело их души, а всякое тело подлежит развитию. И тяжелее всего лирику удастся найти именно свое слово, а вовсе не свое чувство, поскольку его он имеет от рождения.

Но нет чистого лирика, который бы уже в детстве не дал себя, окончательного себя, рокового себя, который бы не явил всего себя в какой-нибудь строфе из четырех или восьми строк, – строфе, которую потом никогда больше не даст и которая могла бы стать эпиграфом ко всему его творчеству, формулой всей его жизни. Первая строфа, которая могла бы быть и последней (преджизненная, а могла бы быть и предсмертной надписью на надгробной плите).

Таков лермонтовский «Парус». Чистые лирики, в большинстве своем, – дети очень раннего развития (и очень короткого века – жизненного и творческого), вернее сказать, очень ранней пронзительности – прозрения своей обреченности на лирику. Чистые лирики – вундеркинды в буквальном смысле слова, с пронзительным ощущением судьбы, то есть себя.

Поэт с историей никогда не знает, что с ним будет. Это знает его гений, который ведет его и открывает ему ровно столько, сколько необходимо для его свободного движения: направление и ближайшую цель, постоянно скрывая главное за поворотом. Чистый лирик всегда знает, что с ним ничего не будет, что у него ничего не будет, кроме себя самого: собственного лирического, трагического переживания.

Сопоставим Пушкина, начавшего с лицейских стихов, и Лермонтова, начавшего с «Паруса». Пушкина в его первых стихах мы совершенно не прозрим, это только гений Державин смог в живом лице, в живом голосе и жесте юноши увидеть будущего гения. А в «Парусе» восемнадцатилетнего Лермонтова – уже весь Лермонтов, Лермонтов волнения, обиды, дуэли, смерти. У юного Пушкина не могло быть такого «Паруса», и вовсе не из-за незрелости таланта – он был не менее одарен, чем Лермонтов. Просто Пушкин, как всякий поэт с историей, как и сама история, начал с самого начала и всю свою жизнь провел *in werden* (в становлении), а Лермонтов сразу – был. Пушкину, чтобы открыть себя, потребовалось прожить не одну жизнь, а сто. Лермонтову же, чтобы открыть себя, нужно было только родиться.

Из моих современников назову троих – по совершенству их лирической личности: Анну Ахматову, Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака, поэтов, родившихся сразу с собственным словарем и максимальной оригинальностью.

Когда молодая Ахматова в первых стихах своей первой книги дает любовное смятение строками:

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки, –
она одним толчком дает все женское и все лирическое смятение, – всю эмпирику! – одним росчерком пера запечатлевает исконный нервный жест женщины и поэта, когда в великие мгновенья жизни забывают, где правая и где левая – не только перчатка, а и рука, и страна света, теряющие вдруг всю выверенность. Посредством очевидности, паразитической точности деталей символизируется не просто душевное состояние – целый душевный строй. (Поэт, когда он выпускает перо, а женщина – руку любимого человека, действительно не знают, где правая, а где левая рука...) Две ахматовские строки, как камень, брошенный в воду, порождают широкие ассоциации, расходящиеся кругами по воде. В этом двустишии – вся женщина, весь поэт и вся Ахматова в своей единственности и неповторимости, которой невозможно подражать. До Ахматовой никто у нас так не дал жест. И никто после нее. (Разумеется, Ахматова нисколько не исчерпывается этим жестом; но дает одну из характернейших ее примет.) «Уже или еще?» – спросила я в 1916 году об Ахматовой, начавшей в 1912-м тем же кувшином из того же моря. Сегодня, семнадцать лет спустя, вижу, что тогда, сама того не ведая, она дала формулу своей лирической неизменности. Вслушаемся в образ: он имеет глубину. Вглядимся в движение: оно создает округлость. Округлость исчерпывающего жеста, по самой своей сущности глубокого. Кувшин. Море. Вместе они создают объемность. Возможно, сегодня, через семнадцать лет, я бы сказала: тем же ведром из того же колодца, ставя точность образа выше его красоты. Но сущность его осталась бы прежней. Привожу это как еще один пример лирической неизменности.

Мне никогда не приходилось слышать, чтобы об Ахматовой – или о Пастернаке – кто-нибудь сказал: «Всегда одно и то же! надоело!» – как нельзя сказать: «Всегда одно и то же» – о море, которое, по словам того же Пастернака:

Придается все, лишь тебе не дано примелькаться,
Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет...
Ибо и Ахматова, и Пастернак черпают не с поверхности моря (сердца), а со дна его (бездонного). Они точно так же не могут наскучить, как не может наскучить состояние сна, всегда одно и то же, но со всегда другим сновидениями. Как не может наскучить и самое сон.

Когда подходишь к явлению, надо знать, чего от него можно ожидать. И ожидать от него – именно его самого, того, что составляет его сущность. Когда подходишь к

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru морю (и к лирику), то идешь за тем же впечатлением, а не за новым, за повторением, а не за продолжением. Поэта-лирика, как и море, даже если его книгу раскрываешь в первый раз, непременно пере-читываешь, в то время как реку, что течет вдаль, как и Пушкина, что идет вдаль, даже если ты родился на их берегах, всегда читаешь дальше. Это – различие между приходящим-уходящим, широким, усыпляющим лирическим морским движением и продольным, невозвратным – речным. Разность пребывания и прохождения. Реку любишь за то, что она всегда другая, море – за то, что оно всегда то же. Если хочешь новизны – селись у реки.

Лирика, как и море, сама приходит в волнение, сама успокаивается, сама в себе свершается. Не зря Гераклит, сказавши: «Никто еще дважды не ступал в одну и ту же реку», взял символом течения не море, которое каждый день видел перед собой и знал, а – реку.

Когда идешь к морю и к лирику, жаждешь не невозвратности течения, а именно возвратности волн; не неповторимости мгновенья и непреходящего, а именно повторяемости морских и лирических непредвиденностей, неизменности смен и перемен, неминуемости собственного изумления ими.

Обновление! Вот в чем власть лириков над нами, могущество, на котором держится все богослужение, все колдовство, все чары, все вызовы, все проклятия, все союзы человеческие и нечеловеческие. Даже мертвые встают из могил.

Кто может сказать великому и истинному: будь иным!

Будь! – вот наши безмолвные мольбы.

Поэту с историей мы говорим: «Смотри дальше!» Поэту без истории: «Нырять глубже». Первому: «Дальше!» Второму: «Еще!»

И если иные поэты покажутся нам скучными своей монотонностью, то от недостатка глубины, от мелкости (или усыхания) образа, а не оттого, что образ – один и тот же. (Высохшее море – уже не море.) Если поэт наскучивает нам своим однообразием, берусь доказать, что это – не великий поэт, не великий образ. Если мы блюдце приняли за море – это не вина блюдца.

Сама лирика, при всей обреченности на самое себя, неисчерпаема. (Может быть, лучшая формула лирики и лирической сущности: обреченность на неисчерпаемость!) Чем больше черпаешь, тем больше остается. Потому-то она никогда не исчезает. Потому-то мы с такой жадностью бросаемся на каждого нового лирика: а вдруг душа, и ею утолим нашу? Слово все они опаивают нас горькой, соленой, зеленой морской водой, а мы каждый раз верим, что это – питьевая вода. А она снова – горькая! (Ведь структура моря, структура крови и структура лирики – одна и та же.)

А со скучными поэтами – то же, что и со скучными людьми: надоедает не однообразие, а тождественность ничтожного, хотя бы и весьма разнообразного. Как убийственно одинаковы, при всей разноголосости, газеты на столе, как убийственно одинаковы, при всем разнообразии, парижанки на улицах! Слово все это: рекламы, газеты и парижанки – не разное, а одно. На всех перекрестках, во всех лавках, трамваях, на всех аукционах и во всех концертных залах – им несть числа, но сколько бы их ни было, а все – одно! И это одно – все!

Надоедает, когда вместо человеческого лица видишь нечто худшее маски: слепок массового производства безликости: ассигнации без никакого золотого обеспечения! Когда вместо собственных слов – пусть совсем несладких, звучат чужие – какие угодно блестящие (которые, впрочем, тут же теряют свой блеск – как шерсть мертвого зверя). Надоедает слышать из уст собеседника не его, а чужие слова. Более того, если вам наскучило повторение, то знайте, что слова эти наверняка чужие, не сотворенные, а повторенные. Ибо человек не может повторить себя. Повторить себя в словах невозможно; любая же, самая малая, перемена речи – уже не повторение, а преображение, за которым стоит другая суть. Даже когда человек старается повторить собственную, уже высказанную мысль, он всякий раз невольно делает это иначе; а стоит ему лишь чуть изменить ее, как он говорит уже новое. Разве что выучит наизусть. Когда поэт явно «повторяется», это означает, что он отделился от своего творческого «я», что он обкрадывает себя, как чужого.

Обновление как стержень лирики – это не обновление своих или чужих снов и образов, а лишь возвращение лирических волн при неизменной лирической сущности.

Волна всегда возвращается, и возвращается всегда иному.

С той же водой – другая волна.

Важно, что волна.

Важно, что вернется.

Важно, что вернется всегда иному.

Самое же важное из всего: какую бы иной она ни вернулась, она всегда вернется – морской.

Что такое волна? Структура и мускул. То же и в лирике.

Возобновление не есть повторение. Возобновление заложено в природе самих вещей, в основе самой природы. При возобновлении данных форм деревьев ни один дуб не повторяет соседнего, а на одном и том же дубу ни один лист не повторяет другого. Возобновление в природе – это создание такого же, но не того же самого; подобного, но не тождественного; нового, а не старого; создание, а не повторение.

Каждый новый лист есть очередная вариация на вечном стволе дуба. Возобновление в природе есть бесконечное варьирование единой темы.

В природе нет повторения: оно вне природы и, значит, вне творчества. В этом все дело. Повторяет только машина; у «поэтов, которые повторяют», машина памяти отделяется от творческих источников и становится чистым механизмом. Повторение есть чисто механическое воспроизведение неизбежно чужого, хотя бы и своего собственного. Ибо, выучив наизусть свою собственную мысль, я повторяю ее как чужую, без участия творческого начала.

Творческой, то есть моей, может быть только интонация, то есть чувство, с которым я произношу ее и меняю ее словесную форму, языковое и смысловое соседство, в которое ее ставлю. Но когда, например, я пишу на белом листке голую формулу, которую когда-то нашла: *Etre vaut mieux qu'avoir* (лучше быть, чем иметь), я повторяю формулу, которая так же не принадлежит мне, как любая алгебраическая формула. Вещь можно создать только однажды.

Самоповторение, то есть самоподражание, – акт чисто внешний. Природа, создавая очередной лист, не берет за образец уже существующие, сотворенные ею листы, потому что весь облик будущего листа заключен в ней самой; она творит без образцов. Бог создал человека по своему образу и подобию, но не повторяя себя.

Всякое поэтическое самоповторение и самоподражание – прежде всего подражание форме. Крадут у себя или у соседа некий вид стиха, те или другие обороты, те или иные образы – все вплоть до темы (так у Пастернака, например, все крадут дождь, который никто, кроме него единственного, не любит и который никому, кроме него единственного, не служит). Сущность же (свою или чужую) никому украсть не дано. Ибо сущности подражать нельзя. Поэтому все подражательные стихи мертвы. А если не мертвы и волнуют нас живой тревогой, тогда это не подражание, а превращение. Подражать, значит – уничтожить, во всяком случае – разрушить вещь, чтобы увидеть, как она сделана, украсть из нее тайну ее жизни – и восстановить заново все, кроме жизни.

II

Есть поэты, которые начинают с минимума и завершают максимумом, а есть такие, которые, начав с максимума, кончают минимумом (усыхание творческой жилы). А есть и такие, которые, начав с максимума, на этом максимуме держатся до последней строки. Из наших современников это – уже упомянутые Пастернак и Ахматова. Они никогда не давали ни больше, ни меньше, всегда оставаясь на максимуме самовыражения. Если путь одних есть путь самораскрытия, то в таком случае у них вообще нет пути. Они отродясь здесь. Их детский лепет уже данность, а не источник.

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с дерева,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной, –
четверостишие семнадцатилетнего О. Мандельштама, где весь словарь и весь размер
зрелого Мандельштама. Автоформула.

Что в первую очередь коснулось уха этого лирика? Звук падающего яблока, акустическое видение округлости. Что здесь от семнадцатилетия? Ничего. А что от Мандельштама? Все. И в первую очередь эта зрелость падающего плода. Эта строфа есть тот самый падающий плод, который дал поэт и от которого, как и от двустихия Ахматовой, рождаются необыкновенно широкие круги ассоциаций. Круглое и теплое, круглое и холодное, августовское – Августово (имперское), Парисово (греческое), Адамово (горловое) – все это дарит Мандельштам воображению читателя в одной-единственной строфе. (Ассоциативная мощь лириков!) Характерная примета лирика: давая это яблоко, поэт не назвал его своим именем. Но, в каком-то смысле, он от этого яблока никуда не ушел.

Кто может рассказать о поэтическом пути (беру самых великих и бесспорных лириков) Гейне, Байрона, Шелли, Верлена, Лермонтова? Они заполнили мир своими чувствами, воплями, вздохами и видениями, залили его своими слезами, воспламенили со всех четырех сторон своим негодованием...

Учимся ли мы у них? Нет. Мы из-за них и за них страдаем.

Так на мой русский лад перекраивается французская пословица: *Les heureux n'ont pas d'histoire.* [35]

Исключение – чистый лирик, у которого были, однако, и развитие, и история, и путь, – Александр Блок. Но, сказав «развитие», вижу, что это неверное представление, и слово, противоречащее сущности и судьбе Блока. Развитие предполагает гармонию. Может ли быть развитие – катастрофическим? И может ли быть гармония там, где налицо полный разрыв души? И вот, не для игры слов, строго их выверяя, утверждаю: Блок на всем своем поэтическом пути не развивался, а разрывался.

О Блоке можно сказать, что он от одного себя пытался уйти к какому-то другому себе. От одного, который его мучил, к другому, который мучил его еще больше. Что характерно, Блок тем самым надеялся уйти от самого себя. Так смертельно раненный человек в страхе бежит от раны, так больной мечется из страны в страну, потом из комнаты в комнату и, наконец, с одного бока на другой.

Если Блок нам видится как поэт с историей, то эта история – лично его, Блока, История лирического поэта, лирика страдания. Если Блок нам видится поэтом, имевшим путь, то этот путь – лишь бегство по кругу от самого себя.

Остановиться, чтобы перевести дух.

И войти в дом, чтобы снова встретить там себя самого!

Разница лишь в том, что Блок с рождения побежал, в то время как другие оставались на месте.

Только однажды Блоку удалось убежать от себя – на жестокую улицу Революции. Это был соскок умирающего с постели, бегство от смерти – на улицу, которая его не заметила, в толпу, которая его растоптала. В обессиленную физически и надорванную духовно личность Блока ворвалась стихия Революции со своими песнями и разрушила его тело. Не забудем, что последнее слово «Двенадцати» Христос, – одно из первых слов Блока.

III

Таковы история, развитие и путь этого чистого лирика.

Думаю, что я уже ответила на начальный вопрос о Борисе Пастернаке, который повторю и здесь: чем может быть лирическое творчество двух таких десятилетий – 1912–1932?

Необходимые факты биографии: с 1914 года Б. Пастернак уезжал из России лишь однажды, на два месяца; таким образом, все годы войны, Революции и строительства он провел в самом горниле под молотом событий. Начнем сначала, от Б. Пастернака

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат,
А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй.
Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.

Взгляните: на пороге жизни стоит юноша. Что он видит? Куда смотрит? Какая личная и мировая история открывается перед ним?

Тигр – Евфрат, а посредине Эдем – и он, входящий в этот Эдем, который для него не миф, не исторический объект реальной истории: рая, природы, земли, где все было – всегда. Первый шаг юноши Пастернака был шаг – назад, в рай, в глубину. В тот самый рай, который, по Андерсену, есть не что иное, как сад Эдема, ушедший целиком, как был, и со всем, что в нем было, под землю, где цветет и поныне и будет цвести во веки веков.

Пастернак, как родился, так и исчез с поверхности событий (происходящего): пропал. И как бы он потом, десятилетие спустя, не старался стать хотя бы последней спицей в колеснице другой, собственно человеческой истории, хотя бы песчинкой под ее жерновами, изнанка истории, в буквальном смысле, становится для него лицом ее в стране дубов и верб.

Круг, в котором Б. Пастернак замкнулся, или который охватил, или в котором растворился, – огромен. Это – природа. Его грудь заполнена природой до предела. Кажется, уже с первым своим вздохом он вдохнул, втянул ее всю – и вдруг захлебнулся ею. Всю последующую жизнь с каждым новым стихом (дыханием) он выдыхает ее, но никогда не выдохнет. Его стихи всегда подобны взрыву, но – как бы это лучше сказать? – взрыву растительному. Так верба с набухшими зелеными почками имеет отдаленную аналогию со взрывом зеленых паров природы. Тот мой читатель, которому случилось когда-нибудь быть весной на холмах чешской Праги, окруженных вербами, поймет меня. У Пастернака, как у весны, взрывается весь паровой котел природы – и весь лирический котел.

Вот его определение поэзии 1917 года:

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист.
Это – двух соловьев поединок...
А следующие строки я назвала бы: объем поэзии:

Но чем его песня полней –
Тем полночь над нею просторней,
Тем глубже отдача корней.
Когда она бьется об корни...

Трудно на пятистах пастернаковских страницах выделить природу, гораздо легче выделить неприроду; впрочем, сомневаюсь, что на этих его пятистах страницах могла бы найтись хотя бы одна – без растения, без животного, без какого-нибудь напоминания о природе, видения ее, определения ее. От ископаемых мамонтов, с которыми он сравнивает влюбленного поэта:

Любимая! жуть! Когда любит поэт –
Влюбляется бог неприкаянный!
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых, –
от природы, с которой он лицом к лицу (и которая – вся в нем), до будничной, подножной природы, которую во всей ее деятельности и во всех ее подробностях могут видеть только малые дети по причине своего малого роста и которую, вырастая, перестают видеть навсегда, – вся книга Пастернака – природа.

Когда я утверждаю, что Борис Пастернак прежде всего поэт природы, я не имею в виду природу, наличествующую в творчестве любого лирика.

Это не тот неперенный общий лирический фон, на котором даются столь же общие лирические чувства: грусть, обида, любовь, воспоминания – чувства, отличающиеся одно от другого лишь степенью все той же общей интонации. Это не общее место лирики на общем месте природы. Это не общее (пусть и доходящее до величия) место природы в поэзии Виктора Гюго; это не чувство грусти вообще «Озера» Ламартина. Но это и не призрачная аллегория Гейне, величайшего лирика, у которого роза неминуемо означает девушку, а сосна – юношу, притом непременно – поэта, юношу-поэта вообще, который тоскует о пальме, олицетворяющей собою человеческое существо, юное и женственное; и грусть сосны всегда приобретает характер общечеловеческой тоски. Это не впечатление природы на неизменном лице лирики. Но это и не однообразная и монотонная эгоцентрическая природа романтиков, где всё непохоже на себя, где всё и вся похожи на героя, а все герои – один на другого, и все на одно лицо – лицо романтика. Не принадлежит Пастернак и к тем поэтам, что высятся романтическим утесом и водопадом низвергаются оттуда в бездну своей собственной души. Это не море, которое есть сам Лермонтов, с летящим парусом (все тем же Лермонтовым). Это и не пушкинский «Анчар», «дерево смерти», где дерево – лишь повод для изображения человеческой жестокости. Это и не природа Алексея Толстого с его ощущением мира:

Благословляю вас, леса,
Долины, горы, нивы, воды, –
строки, прекрасно передающие восприятие мира поэтом, но ни в коей мере не рисующие ни леса, ни долины, ни нивы и служащие здесь мерой наполненности души поэта, выражением его душевного состояния. Это и не одухотворенная природа Тютчева:

Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Но что это за душа, любовь, язык? Из тютчевских строк мы этого не узнаем; узнаем мы только душу, любовь и язык – самого Тютчева. Это и не природа, воспроизведенная прозаиком: увиденная глазами крестьянина, охотника, горца, постигнутая толстовским зрением (прибавим к этому: и гениальностью).

И это не совсем другая природа живописания, чарующая природа Гоголя, где вдруг разлилась и засверкала всеми красками его языковая палитра. Это не колдовская власть слова над нами, это не «чуден Днепр при тихой погоде», что с самого начала очаровывает нас словами, звучанием слов, слышится нам шумом самого Днепра вопреки спокойствию его течения, о котором нам говорят эти слова и ради чего они и написаны. Это не колдовская сила слова над нами. (Гоголевский Днепр, как и лермонтовское «Уж над горой дремучею...», – формы чистой поэтической магии, это волшебство поэзии в чистом виде, где ни одна вещь не похожа на себя, где, согласно народной поговорке, «и вода не вода, и земля не земля», где магический Днепр и магический Тифлис, где слова Тифлис и Днепр приобретают новую, необычную наполненность: наполненность не собою, а зачарованностью.)

Наконец, – хотя это и более близко к лирике Пастернака – но все же недостаточно близко, – это не природопоклонство Ницше и его более ранней предшественницы Беттины, где Бог отождествлен с Солнцем, от прикосновения которого чело становится – освященным.

Но здесь – остановимся, ибо, сколько бы мы ни перечисляли поэтов и прозаиков, их природа никогда не будет тождественна природе Пастернака. Ибо пастернаковская природа – единственна в своем роде.

Это не основа вещей.

Это не «он» (автор).

И не «она» (объект).

И даже не «оно» (божество).

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Пастернаковская природа – только собственно она и ничто другое. Она – сама – и есть действующее лицо.

До Пастернака природа давалась через человека. У Пастернака природа – без человека, человек присутствует в ней лишь постольку, поскольку она выражена его, человека, словами. Всякий поэт может отождествить себя, скажем, с деревом. Пастернак себя деревом – ощущает. Природа словно превратила его в дерево, сделала его деревом, чтобы его человеческий ствол шумел на ее, природы, лад. Если принять за исходное слова Паскаля, что человек – это «мыслящий тростник», то Пастернак – не тростник, который мыслит, во всяком случае, его тростник мыслит не по-человечески.

Цельность существования природы дает неотторжимость ее от пастернаковской поэзии. Пастернак уникален и беспримерен в своем предпочтении природы – всему (о чем я скажу в свое время) и, стало быть, в этой природе он не может предпочитать что-нибудь одно в ущерб другому, – а это означает, что природа для него существует только вся, целиком, без изъята.

Этим объясняется и то, что природа у Пастернака – действующее лицо. Действует не он, а она. Сама она. Само-деятельность. Вывожу это из многочисленных примеров. Отсюда – и самоценность природы в творчестве Пастернака. Природа у него – не повод, а цель. Самоцель.

И, наконец, особенность его ощущения природы диктует постоянство ее присутствия в творчестве. Для Пастернака характерно не просто пребывание в природе, а категорическая невозможность какого бы то ни было, пусть даже малейшего, отсутствия его в ней. Ни человек не может так пребывать в природе, ни природа – в человеке; так природа может пребывать только в себе самой. Самопребывание.

Из сего явствует, что Пастернак был сотворен не на седьмой день (когда мир после того, как был создан человек, распался на «я» и все прочее), а раньше, когда создавалась природа. А то, что он родился человеком, есть чистое недоразумение. И все его творчество – лишь исправление этой, счастливой для нас и роковой для него, ошибки природы. Подобно тому, как природа по ошибке может дать человеку не тот пол, здесь произошла явная ошибка в облике. Ибо даже тогда, когда Пастернак говорит о себе и для себя, – это всего лишь голос в хоре природы, на равной ноге с любым другим ее голосом. Он всегда сосуществует, никогда не выделяется. Как равный, а не как высший. Так, например, куст может шелестеть о своих мелких личных заботах. А дуб рядом с ним шумит о своей, дубовой, радости. А все вместе – лес. Хор.

О чем бы ни говорил Пастернак: о своем личном, притом сугубо человеческом, о женщине, о здании, о происшествии, – это всегда природа, возвращение вещей в ее лоно.

Он одинок только среди людей – одинок не как человек, а как не-человек.

После всего этого говорить о любви Пастернака к природе – просто нелепо. Любовь – это наше отстранение от вещей, а в лучшем случае – уничтожение этой дистанции, то есть слияние. Возьмем самый человеческий пример – материнство. Ни одна мать сама себе не скажет, что любит своего ребенка, очень любит, любит больше всего на свете, любит одного его и пр. А если и скажет, то только другим. Потому что она его больше чем любит. Она – это он, а он – это она. Так и у Пастернака с природой. Любить природу – значит признать, что ты – вне ее. Поскольку Пастернак в ней, то она с ним – одно целое, и он не может ее «любить». Можно сказать, что он дает дерево не сердцем, а – сердцевинной. Потому нам и кажется, что он не умеет говорить, что он говорит не как человек. Лучше всего было бы, если бы мы наконец поняли, что он говорит не о людских делах.

Лирическое «я», которое есть самоцель всех лириков, у Пастернака служит его природному (морскому, степному, небесному, горному) «я», – всем бесчисленным «я» природы. Эти бесчисленные «я» природы и составляют его лирическое «я». Лирическое «я» Пастернака есть тот, идущий из земли, стебель живого тростника, по которому струится сок и, струясь, рождает звук. Звук Пастернака – это звук животворных соков всех растений. Его лирическое «я» – питающая артерия, которая разносит повсюду зеленую кровь природы. Последнее «я» Пастернака – не личное, не людское, это – кровь червя, соль волны. Потому-то он – самый удивительный из всех лириков.

Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и cedру,
Рассеянно и щедро –
Едва – едва – едва...

IV

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Удивлен – пугается – боится?.. Кто?.. Больной, что зимой выходит из больницы?
Сам поэт, выходящий зимой из больницы? Нет, тополь, дом, даль – и, в них и через
них, Пастернак. Тополь, удивляющийся внезапно возникшей дали, дома, словно
пугающиеся крутизны и падающие, лишенные своих снежных подпорок. А узелок с
бельем – у больного, выписавшегося из больницы? Нет, сам воздух, чистый,
вымытый, залитый весенней синью. (И – картина больничных халатов на веревке над
лужей, развевающихся, плещущихся.) А все вместе – образ спотыкающегося от немощи
и счастья – «я».

Вот еще образец самодеятельной природы:

А затем прощалось лето

С полустанком.

Снявши шапку,

Сто слепящих фотографий

Ночью снял на память гром.

Каково самое первое впечатление от этого четверостишия? Беспреданное
скрещивание молний, что в народе, не знаю почему, так чудесно и убедительно
называют «воробьиной ночью». И опять-таки: кто это прощается? Поэт с
полустанком? Нет, само лето. Кто, снявши шапку, щелкает затвором аппарата?
Телеграфист на станции? Сам поэт? Нет, гораздо больше и сильнее – гром!
Последний гром струящегося русского лета.

«В 1865 году неподалеку от Луары гром ударил в работника, который спрятался от
непогоды под грушей. Когда его, без сознания, принесли домой, то заметили
поразительную вещь: на его груди отпечатались ветка груши» (Гастон Тисандье.
«Научные беседы», глава «Действие молнии»).

Из чего следует, что гром действительно может сделать отпечаток. Что все
«фантазии» и все «вольности» великого поэта – всего лишь подтверждение законов
природы, неведомых обычно человеку. А в пастернаковском четверостишии мы
увидели еще больше, а именно: самого поэта, лежащего ничком под деревом, с
веткой, оттиснутой на груди с рождения и навек. Все поэты от рождения мечены.
Эта отметина – пастернаковская.

Такова вся книга. В ней все необычайно. Как у ребенка: река купается, куст
наслаждается тенью... Очеловечение природы? Но кто поручится, что река в самом
деле не купается в самой себе, а куст не наслаждается собственной тенью, что
дорога и впрямь не уходит сама от себя? Ведь у всех народов дорога «идет» или
«уходит». И кто из нас, возвращаясь ночью по знакомой тропе или по незнакомой
окраинной улице, не ощущал, что его с обеих сторон в самом деле провожают
деревья, и кто из нас, покидая милое сердцу место, не чувствовал, что деревья и
впрямь провожают нас («смотри, мама, дерево побежало»), машут, бегут, отстают.
Только у детей и у народов с наивным эгоцентризмом самодеятельность природы
обращена на человека, у Пастернака же эгоцентризм природы обращен на самое себя.

* * *

Вот, без единого личного напоминания, полдень Пастернака:

Текли лучи. Текли жуки с отливом.

Стекло стрекоз сновало по щекам.

Был полон лес мерцаньем кропотливым,

Как под щипцами у часовщика.

Казалось, он уснул под стук цифири,

Меж тем как выше, в терпком янтаре,

Испытаннейшие часы в эфире

Переставляют, сверив по жару.

Тут жук-рогач с отливом, отблеск стрекоз на щеке человека, залитой золотом. И

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
все это течет. Все это – жук-рогач, стрекоза, щека – едино и равно, с одним и тем же правом живого и божественного. Говоря словами другого поэта:

Всё во мне, и я во всем.
Вот земная любовь, которую Пастернак дал в ее самом томительном, но и самом притягательном выражении – поцелуе:

Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил.
Лишь потом раздражалась гроза.
Пил, как птицы. Тянул до потери сознания...
До такой чистоты: дать поцелуй птицы, что пьет из водомоины после дождя, до такой чистоты, красоты и точности не доходил еще никто. А вот в одной строке – образ всей поэзии:

Тетрадь подставлена – струись!
Это «струись» сразу же переносит нас к единственному предпочтению Пастернака в природе: к дождю. (Можно сказать, что Пастернак в природе предпочитает все, но дождь – больше всего!) Дождем и пастернаковскими слезами буквально затоплена вся книга. Небо у него – мало сказать, плачет слезами. Оно раздражается плачем. Его небо – большой ребенок. Как и сам Пастернак. Ибо пастернаковский исключительный, поразительный, единоличный культ дождя – самый обычный для детей культ. Каждый ребенок – дождепоклонник. И если он плачет из-за дождя, то лишь потому, что его на этот дождь не пускают. Пастернак же, как уйдет под дождь, так никогда бы и не возвращался.

Вот как он передает ощущения ветки под дождем:

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком,
Сиреневая ветвь.
А вот что бывает на дожде с цветком – с цветочной чашечкой:

Душистую веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага...
На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум – и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.
А вот как показан дождь, весенний дождь в один из первых дней Революции:

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил!
Лак экипажей, деревьев трепет...
.
Лужи на камне. Как полное слез
Горло – глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья – на них, на ресницах, на тучах...
Вот как сказано о послегрозовых испарениях земли:

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи...
И, в противоположность торжественности жреца, – самое скромное явление:

Всё, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.
И совершенно потрясающая картина предгрозовой пыльной дороги:

Накрапывало, – но негнулись
И травы в грозном мешке.
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.
Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок...
А вот и конец дождя:

И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.
Даже умывальный таз преобразается у поэта в альпийский ручей:

Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у Вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз...

Можно сказать, что у книги Пастернака глаза постоянно на мокром месте. Так порой бывает в горах: идешь по тропинке, через несколько шагов натыкаешься на ручеек, идешь вдоль него, перепрыгиваешь его, сворачиваешь – и внезапно тебе на голову обрушивается поток. Подземная вода альпийских стремнин.

Толковать же пастернаковские слезы, живой дождь его лица, трудно. Пастернак плачет обо всем; всякое нахлынувшее чувство вызывает у него слезы.

Это не скупые мужские слезы – с датой и адресом («последний раз я плакал тогда-то и тогда-то о том-то и том-то»), слезы, которых стыдятся, которые скрывают и которые, стыдясь и скрывая, именно за их редкость ценят на вес золота; это не умышленные, сосчитанные злые мужские слезы, которые, во всяком случае, помнят и запоминают навсегда.

Но это и не женские слезы – прежде и больше всего слезы слабости (что несколько не уменьшает их болезненности!), это не извечные слезы женской беспомощности, обиды, угнетенности, напрасных страданий. Нет, это не слезы унижения и обиды.

Но это и не людские слезы вообще, о которых другой русский поэт сказал:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистошимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

Слезы Пастернака – это выражение силы: силы его чувств, – избыток жизни, находящий выход в слезах и строфах, кипящий, как котел страстей. Можно сказать, что когда Пастернаку лучше всего, когда он сильнее всего, когда он – в наибольшей степени – он, тогда он плачет:

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящие белыми воплями
Мирозданья – лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.
То же – и о ливне.

Ни женские, ни мужские – лирические. Слезы Пастернака суть лирические разливы, которыми жива лирика.

* * *

Я подробнее всего говорила о дожде и зелени у Пастернака. Пусть мой братский сербский читатель поверит мне на слово, что с тою же страстью он изображает и солнце, и ветер, и снег – все стихии от бушующей ноябрьской метели до цветной апрельской – все времена года и дня, все события и состояния природы, всю ее физику и психику, все климатические пояса души и планеты – от вечного льда бессмертия до живой суши страсти, а чего нет в его книге, того нет и в природе. (А чего в природе – нет?) При самом тщательном геологическом, географическом изучении вы не смогли бы найти здесь ни одного пропуска. Все в наличии. И это все и есть лицо Пастернака.

Но об одной специфической особенности пастернаковского пребывания в природе я должна сказать особо. Я имею в виду его пребывание – в погоде. Думаю, что важнейшее событие души в жизни Пастернака при окончательном суммировании мук и радостей – это погода, утренний быстрый взгляд в окно, а до этого – настороженный слух: «Ну что, как там?» И что бы «там» ни было: дождь, солнце, метель или просто хмурый день, который народ дивно зовет «святым», Пастернак уже заранее счастлив, действительно счастлив. Вот кому и впрямь легко угодить Господу! Ибо во всей книге нет ни единого сетования ни на зной, ни на холод, ни

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru на грязь – и какую грязь! И если в одном из стихотворений он без конца мочит в ведре с водой полотенце, которое тут же нагревается на его лбу, или в другом, в других – закутывается шарфом, то речь идет о такой жаре, от которой собаки бесятся, и таком морозе, на котором собаки (слезами) плачут; для поэта же и ныряние в ведро, и закутывание в шарф – величайшее блаженство. Этим своим пребыванием в Погоде он напоминает только одно: Пруста (которого вообще во многом напоминает), посвятившего этой ежедневной погоде, феномену ежедневной погоды за окном и в комнате одну из незабываемых глав своего бессмертного произведения.

Творчество Пастернака – это прежде всего и после всего лирическая метеорология и метеорологическая лирика.

Ибо, когда Пастернак говорит, мы чувствуем, что он говорит не только о важнейшем событии своей жизни, но и нашей. Так может говорить только влюбленный – и летописец.

Если иной раз Пастернак, погружившись в писание, то есть в сон, из этого сна спросит детей: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» – то хорошая ли погода – об этом он не спросит никогда, и только еще через пятьсот лет мы, возможно, это от него узнаем. 1917 год Россия не забудет, и не только из-за Керенского (который, кстати, был удостоен одного из прекраснейших пастернаковских ливней, – не оставившем на нем сухой нитки!).

А какое, по Пастернаку, наступает историческое двадцатилетие? Во-первых, необычайное по своей метеорологии. Постоянные дожди, постоянные метели, постоянные ураганы, жары, наводнения... Книга Пастернака – это прежде всего некая метеорологическая Революция. Если сумму всех этих природных явлений распределить по дням, то на каждый день этих двух десятилетий на одну и ту же точку земного шара придется по крайней мере четыре бури, три метели, два наводнения и один ураган. Природа или, вернее, погода в книге Пастернака не поскупилась. За двадцать лет в пастернаковской книге пролилось больше ливней, чем за двести лет, разлилось больше рек, чем в долине Миссури, родилось больше месяцев, чем за все время существования Персии, и расцвело больше деревьев, чем в Эдеме...

Последнее слово прямо приводит нас к Творцу из Эдема, и самого Пастернака.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За резкой алебаstra.
Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Чтоб губы астр и далий,
Осенние, страдали?
Чтоб мелкий лист раки
С седых кариатид
Слетал на седость плит
Осенних госпиталей?
Ты спросишь – кто велит?
Всесильный Бог деталей,
Всесильный Бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.
Так Пастернак отвечает на вопрос: Бог.

V

Но будем честными. Постараемся объяснить следующее: Да, природа. Погода. А «Лейтенант Шмидт»? А весь «Потемкин»? А весь «Девятьсот пятый год»? Стихи с явной темой, притом чисто гражданской. А все страдания России? А все радование новому миру? А все революционные и социалистические признания, наконец?

Нельзя представить себе человека, знакомого с бурей в природе и никак не откликнувшегося на нее в жизни. (А тем более спрятавшегося от нее под подушку!) Поскольку революция есть стихия, Пастернак откликнулся на нее сразу. Но как

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
откликнулся? В этом все дело.

Но моросило, и топчась
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру.
Брели не час, не век –
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:

Испить, сестрица!

Это – его первый отклик на войну. В тучах он видит рекрутов, а в шорохе мокрых деревьев ему слышатся стоны пленных.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
Это его первый отклик на Революцию. А вот картина степи в Революцию:

Она, туманная, взвилась
Революционной копной... –
и дальше – о самом воздухе степи (и, конечно, о самом себе):

Он чует, он впивает дух
Солдатских бунтов и зарниц,
Он замер, обращаясь в слух..
Ложится, слышит: Обернись.

Это пока 1917 год. Дальше – больше. Дальше – весь «Матрос в Москве», который в маловодную семихолмную Москву влил целых два моря: морское и революционное, да еще и третье разлитое, поскольку матрос пьян – как матрос в гавани, так пьян, что угловой дом принимает за свой корабль. Матрос, по великодушному выражению Пастернака, – подобен морю, соединяющему в себе «со звездами – дно».

Дальше – вся «Высокая болезнь» – высокая и бессмертная болезнь поэзии среди общей смертельной болезни, – голодного тифа – с печальным образом самого поэта:

А сзади в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.
(Борис Пастернак – единственный из поэтов Революции, кто осмелился встать на защиту оплеванной и слева и справа интеллигенции.) «Высокая болезнь» – с почти страшной картиной конца империи:

И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа,
Со стягивающейся облавы
Невидимого мятежа.
Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карту не попал!
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал.
Они сорта перебирали
Исщипанного полотна. [36]
Везде ручьи вдоль рельс играли,
Но будущность была мутна.
Сужался круг, редели сосны,
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосна. [37]
Другое заходило в Дне.
– и с параллельным образом вождя на трибуне, на которой

Он вырос раньше, чем вошел,
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как в эту комнату без дыма
Грозы влетающий комок.
Дальше – «Девятьсот пятый год» с подзаголовками: «Отцы», «Детство», «Мужики и фабричные», «Морской мятеж» («Потемкин»), «Студенты», «Москва в декабре» (дата написания 1926 год). Дальше – «Лейтенант Шмидт» (1927) и наконец последнее

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
признание, уже 1932 года:

Прощальных слов не осуша,
Проплакав вечер целый,
Уходит с Запада душа –
Ей нечего там делать, –
то есть полный и открытый отказ от прежнего себя, своей философической молодости в ломоносовском городке Марбурге, полный и открытый акт гражданского насилия над самим собой. (Пастернака никто не принуждал «уходить с Запада», ибо поэта никто не в силах к чему-либо принуждать. Здесь все гораздо сложнее правительственного распоряжения.)

Полагаю, что я честно ответила, честнее нельзя. Ни одна великая тема, ни один великий день современности не прошли мимо моего спящего столпника. Он отозвался на все. Но – как отозвался?

Из глубин своей уникальной, неповторимой, безнадежно лирической сущности, отдав своим эпическим и гражданским мотивам все свои природные и «погодные» богатства. Давая каждой теме, – если употребить излюбленное выражение Пастернака, у которого и звезды в листьях «как дома», – беспрепятственно и полновластно войти в его лирическую ризницу и быть там как дома. Можно сказать, что в своих эпических темах Пастернак еще больше лирик, больше природа, больше Пастернак, чем сам Пастернак.

Обратим, однако, внимание на сам выбор тем. И 1905 год, и лейтенант Шмидт – это воспоминания поэта о детстве, что уже само по себе – чистая лирика. Потому что все мы в долгу перед собственным детством, ибо никто из нас (кроме, быть может, одного Гёте) не исполнил того, что обещал себе в детстве, в собственном детстве, – и единственная возможность возместить несделанное – это свое детство – воссоздать. И, что еще важнее долга: детство – вечный вдохновляющий источник лирика, возвращение поэта назад, к своим райским истокам. Рай – ибо ты принадлежал ему. Рай – ибо он распался навсегда. Так Пастернак, как всякий ребенок и всякий лирик, не мог не вернуться к своему детству. К мифу своего детства, завершившемуся историей. Не только по велению совести, но и по неодолимому зову памяти.

О том, каким было это возвращение, мы узнаем из первых же строк «Отцов» – начальной главы «1905 года». Поэт говорит о дореволюционной подземной ночи России эпохи Александра I:

Это было вчера, и, родился мы лет на тридцать раньше.
Подойди со двора в керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт мы нашли бы, что те лаборантши –
Наши матери или приятельницы матерей...[38]
Возвращение в свое, в материнское, в отцовское детство. Возвращение в лоно.
Отнюдь не революционный, а древнейший культ – культ предков.

Вот первая глава «1905 года» – «Детство», где одним штрихом дана первая встреча юноши композитора Пастернака с великим композитором Скрябиным:

Раздается звонок, голоса приближаются: Скрябин:
О, куда мне бежать от шагов моею божества?
– и взрыв бомбы, убившей попечителя школы живописи и ваяния, где учился Пастернак:

Снег идет целый день, и он идет еще под вечер. За ночь
Проясняется. Утром – громовый раскат из Кремля:
– Попечитель училища насмерть. Сергей Александрович!
Я грозу полюбил в эти первые дни февраля.
– Природа! Природа! Именно в ней ему видится крестьянский бунт 1905 года:

И громадами зарев
Командует море бород.
Вот картина кладбища после гражданских похорон Баумана:

Где-то долг отдавали людской. И он уже отдан,
Молкнет карканье в парке и прах на Ваганькове нем.
На погосте травы начинают хозяйничать звезды,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Дремлет небо, зарывшись в серебряный лес хризантем.
Вот последняя глава «Девятьсот пятого года» – «Москва в декабре» – с картиной
пустой улицы –

Вымирает ходок и редчает, как зубр, офицер, –
которая сразу переносит нас в Беловежскую пушу, – и с картиной бегства:

Перед нами бежал и подошвы лизал переулок,
Рядом сад холодил, шелестя ледяным серебром,
и, наконец, заключительная панорама Москвы, охваченной пламенем:

Как воронье гнездо под деревья горящего сада
Сносит крышу со склада, кружась бесноватый снаряд.
А вот и «Лейтенант Шмидт», с мраком, швыряющим ставень в ставень, с багром,
которым пучина гремит и щупает дно, с бездомностью пространства, с доверчивостью
деревьев, с вихрем, обрывающим фразы, «как клены и вязы», с листьями и лозами,
которые краснеют до корней волос, с шатающимся в ушах шоссе шагом, с
серебром и перламутром полумертвых на рассвете фонарей набережной, с деревьями,
сгибающимися в три дуги, с кипарисами, что встают, подходят и кивают...

Доказывать наличие природы в гражданских стихах Пастернака – все равно что
доказывать ее наличие на необитаемом острове. Если уж доказывать – так это следы
присутствия лейтенанта Шмидта в поэме, названной его именем. Они есть.

С терпением и вниманием рассмотрим, наконец, эту центральную фигуру поэмы. Но
заранее оговоримся: центральная она – чисто условно; любое дерево, мимо которого
прошел Шмидт (и которое Пастернак лишь упомянул), любой памятник, на который он
поднялся, – в тысячу раз живее, убедительнее и центральнее его самого, со всеми
его достоверными письмами, речами и дневниками. Здесь, в противоположность
половице: из-за деревьев не видно леса, – из-за леса пастернаковской природы
действительно не видно дерева: героя. Пастернак лишь зацепился за Шмидта, чтобы
еще раз заново дать все взбунтовавшиеся стихии, плюс пяту – лирику. И он их дал
так, что центр оказался пустым. Уберите из Шмидта все то, что держит напряжение
деревьев, плеск волн, пространство, погоду, ослабьте это напряжение – и фигура
пастернаковского Шмидта рухнет, как фантом. Почему? Да потому, что Борис
Пастернак, в противоположность любому другому лирику, не привел своего героя в
соответствие с окружающим, не усилил его, а из уважения к истории: к голому
факту и к жизни, «такой, как она есть», – оставил героя, таким, каким он был,
посреди бушующего вокруг него лирического урагана. Не только не усилил его, но
градиозностью фона – умалил. Просто – убил. Когда стотысячное эхо произносит, в
лад клятве Шмидта: – Клянемся! – то это – не Шмидта слова, он не может говорить
так, как он говорит у Пастернака, как говорим мы все. Лейтенант Шмидт ожил бы
при простейшем живописании фактов его биографии, где обыкновенные человеческие
письма, терпеливо и без особого вдохновения, были бы облечены в пастернаковские
рифмы и не страдали бы от соседства стольких лирических и природных россыпей, и
где простой и достойный человек – Шмидт – не соперничал бы с достойной, но
далеко не простой и не людской сущностью самого Пастернака.

Шмидт выделился на своем историческом фоне; лирического же, к тому же и
пастернаковского, фона он не выдержал. Да и кто бы из нас, не преобразенных, мог
бы выдержать?

У Пастернака не проиграл бы лишь какой-нибудь человеческий абсолют. Но ни одно
дерево не проиграло ни разу...

VI

У нас остается еще одно: поэт в последнее пятилетие. Углубимся в его последнюю
книгу «Волны».

Гуртом, сворачиваясь в трубки,
Во весь разгон моей тоски,
Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.
Их тьма, им нет числа и сметы.
Их смысл досель еще не полн,
Но всё их сменой одето,
Как пенье моря пеной волн.
Вот перед какими волнами ставит нас поэт. И вспоминается Поль Домби Диккенса, –

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
малый ребенок, так никогда и не ставший большим, – с его вечным вопросом, обращенным к самому себе и ко всем: «О чем говорят морские волны?» Эти слова я ставлю мысленно эпиграфом к пастернаковской книге:

О чем шумят пастернаковские волны?

Вот картина рассвета на Кавказе – со строками, многозначительными для времени и страны:

Шли тучи. Рассвело не разом.
Светало, но не рассвело.
Вот картина кавказского леса, где Пастернак сам подтверждает свойство природы быть у него самой собой:

Он сам пленял, как описание,
Он что-то знал и сообщал...
А вот в четырех строках формула Грузии:

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подноьем,
И мы получим этот край.
И вздох самого поэта: что было бы, если б ему посчастливилось тут родиться –

Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.
...Картина восьмиверстного пустого пляжа, который принимает и стирает все, что мы, маленькие сменяющиеся фигурки, несем, – баллада о спящих детях, еще баллада о концерте Шопена на берегу Днепра, «Лето», «Смерть поэта» (Маяковского), семейная фотография под музыку Брамса...

Вот совет оставленной женщине:

С горизонтом вступи в переписку! –
он дает его, не понимая, что таким советам следует только тот, кому они не нужны (кто в них не нуждается), то есть сам поэт. А вот к кому поэт, дающий такие великодушные и жестокие советы, сам обращается за советом: что делать с оставляемой им женщиной:

Пока, сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь, –
Кавказ, Кавказ, о что мне делать!
О тяжести любви. – «Все снег да снег» – с неожиданным автобиографическим всплеском: «Скорей уж, право б, дождь прошел!» – Весна, с таким обращением к Богу:

И сверху окуни свой мир,
Как в зеркало, в мое спасибо!
Стихи к другой любимой: не той, которой Пастернак дает совет «с горизонтом вступить в переписку» и которая из-за этой переписки забывает, что переписывается с поэтом.

Даже одежда любимой женщины напоминает ему частицу природы:

Ты появишься у двери
В чем-то белом без причуд –
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.
И точно так же, как любимая и ее платье представляются поэту фрагментом природы: наименее живое в природе – ледники – явлены им в образе бессмертных (живых) душ:

Как усопших представшие души
Были все ледники налицо.
Если когда-нибудь при вас, читатель, зайдет речь о том, верят или не верят в России в Бога, сошлитесь на самого любимого и самого читаемого поэта России – на Пастернака. Бог, во всяком случае божественность, распространена по всем пастернаковским произведениям. Можно сказать, что Пастернак из Бога не выходит,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru хотя появление в печати имени Бога вызывает только улыбку. Но шила в мешке не утаишь. Бог острием ледника пробивается у него из закрытого мешка вынужденного молчания. Бог участвует в творчестве Пастернака не только как личность, которую вспоминают и на которую ссылаются в итоге, но и прямо, – пусть даже без ведома Пастернака, деятельно участвует, как пастернаковская природа, чей творец – Он. Сохранить такую чистоту, при всей необузданности времени, такую доброту и, что самое главное, – такую возвышенность – действительно дело божьих рук. Во всей книге, во всей двадцатилетней жизни лирика, вылившейся на пятистах страницах, вы не найдете ни одной строки, унижающей лиру. Эта лирика действительно на высоте лиры, предмета, который исключает лишь одно: низменность.

...Гимн красоте в образе красавицы. – Ночная комната, где пахнет ночная фиалка (по-народному «ночная красавица»). Одиночество в доме, замеченном метелью. – Присутствие любимой женщины. – Опять Шопен. – Ореховая роща на Кавказе (1917 год был уральским) – переключка Кавказа с Тиролею. – О кровной расплате за каждую хорошую строку – изумительной формулой границ искусства:

...Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.
Можно сказать, что «искусство» в этом смысле у Пастернака никогда не начиналось, то есть изначально действовали почва и судьба. Об уделе женщины: единственный из всех вопросов современности, который захватил сердце поэта, вопрос близкий, свойственный всей лирике и, конечно, оставшийся без ответа...

Эти несколько осколков пастернаковского прибора, с которыми я вас познакомила, думаю, достаточны, чтобы читатель понял, какой перед ним прибор и какой перед ним поэт.

1912–1933 годы. Если и есть перемены, то чисто языковые, даже лексические – внесены какие-то обороты и приметы нового быта и словаря. Но об этом жалеть не следует. Расширение словаря всегда к добру, правда, при том лишь условии, если поэт расширяет его и назад и вперед. Не говоря уже о том, что современная русская поэзия столько позаимствовала у Пастернака, так его использовала, что не грех, если и он возьмет от современной жизни десяток слов или даже «словечек». Но суть дела не в этом, а в том, что лирическая сущность Пастернака нетронута и неизменна. Не обремененный никакими «темами», не сбитый с толку никакими «вопросами», он во весь свой рост стоит перед нами на столпе своего одиночества, хотя такое стояние в современной России зовется «сидячей жизнью»...

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнью сидячей –
И по такой грущу по ней.
Жизненную и бессмертную задачу Пастернака мы знаем. Выразить себя. Возвратить Богу его неисчерпаемый дар. Творцу – его неисчерпаемый дар – творчество.

Если и замечается какое-то движение Пастернака за последние два десятилетия, то это движение идет в направлении к человеку. Природа чуть-чуть повернулась к нему лицом женщины. Оскорбленной женщины. Но это движение невооруженным глазом уловить совершенно невозможно. Так ползут ледники, так обрастает кольцами дуб. Может быть, если бы Пастернак прожил тысячу лет, на тысячу первый год он и стал бы человеком, как все мы... Но пока это лишь несколько новых колец на сердцевине дуба.

Книга волн – лирический дневник поэта.

Где писалась эта книга? – Всюду!

Когда? – Всегда.

Две извечных основы творчества. И – последний вопрос, бывший первым.

Что оставил от поэта пятнадцатилетний молот?

Льет дождь. Мне снится, из ребят
Я взят в науку к исполину

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И сплю под шум, месящий глину...
Итак, под шум серпа и молота, что рушит и строит, под звук собственных утверждений «близкой дали социализма» Пастернак спит детским, волшебным, лирическим сном.

...Как только в раннем детстве спят.
Кламар,

1 июля 1933

Два «Лесных царя»

Дословный перевод «Лесного Царя» Гёте

Кто так поздно скачет сквозь ветер и ночь? Это отец с ребенком. Он крепко прижал к себе мальчика, ребенка у отца покойно, ребенку у отца тепло. «Мой сын, что ты так робко прячешь лицо?» – «Отец, ты не видишь Лесного Царя? Лесного Царя в короне и с хвостом?» – «Мой сын, это полоса тумана!» – «Милое дитя, иди ко мне, иди со мной! Я буду играть с тобой в чэдные игры. На побережье моем – много пестрых цветов, у моей матери – много золотых одежд!» – «Отец, отец, неужели ты не слышишь, что Лесной Царь мне шепотом обещает?» – «Успокойся, мой сын, не бойся, мой сын, в сухой листве – ветер шуршит». – «Хочешь, нежный мальчик, иди со мной? Мои дочери чэдно тебя будут нянчить, мои дочери ведут ночной хоровод, – убаюкают, упляшут, упоют тебя». – «Отец, отец, неужели ты не видишь – там, в этой мрачной тьме, Лесного Царя дочерей?» – «Мой сын, мой сын, я в точности вижу: то старые ивы так серо светятся...» – «Я люблю тебя, меня уязвляет твоя красота! Не хочешь охотой – силой возьму!» – «Отец, отец, вот он меня схватил! Лесной Царь мне сделал больно!» Отцу жутко, он быстро скачет, он держит в объятьях стонущее дитя, доскакал до двора с трудом, через силу – ребенок в его руках был мертв.

* * *

Знаю, что неблагоприятная задача после гениального и вольного поэтического перевода давать дословный прозаический подневольный, но это мне для моей нынешней задачи необходимо.

Остановимся сначала на непереводаемых словах, следовательно – непередаваемых понятиях. Их целый ряд. Начнем с первого: хвост. Хвост по-немецки и Schwanz, и Schweif; например, у собаки Schwanz, и Schweif – у льва, у дьявола, у кометы – и у Лесного Царя. Поэтому моим «хвостатым» и «с хвостом» хвост Лесного Царя принижен, унижен. Второе слово – fein, переведенное у меня «нежный», и плохо переведенное, ибо оно прежде всего означает высокое качество: избранность, неподдельность, изящество, благородство, благородность вещи или человека. Здесь оно и благородный, и знатный, и нежный, и редкостный. Третье слово – глагол reizt, reizen – в первичном смысле – «раздражать», «возбуждать», «вызывать на», «доводить до» (неизменно дурного: гнева, беды и т. д.). И только во вторичном – «очаровывать». Слово, здесь, ни полностью, ни в первичном смысле не переводимое. Ближе остальных по корню будет: «я раздражен (раздражен) твоей красотой», по смыслу: уязвлен. Четвертое в этой же строке – Gestalt – «фигура», «телосложение», «внешний вид», «форма». Обличье, распространенное на всего человека. То, как человек внешне явлен. Пятое – scheinen, по-немецки и «казаться», и «светиться», и «мерцать», и «мерещиться». Шестое непереводаемое – «Leids». «Мне сделал больно» меньше, чем «Leids gethan», одинаково и одновременно означающее и боль, и вред, и порчу, в данном гётевском случае непоправимую порчу – смерть.

Перечислив все, чего не мог или только с большим, а может быть, и неоправданным трудом мог бы передать Жуковский, обратимся к тому, что он самовольно (поскольку это слово в стихах применимо) заменил. Уже с первой строфы мы видим то, чего у Гёте не видим: ездок дан стариком, ребенок издрогшим, до первого видения Лесного Царя – уже издрогшим, что сразу наводит нас на мысль, что сам Лесной Царь бред, чего нет у Гёте, у которого ребенок дрожит от достоверности Лесного Царя. (Увидел оттого, что дрожит – задрожал оттого, что увидел.) Так же изменен и жест отца, у Гёте ребенка держащего крепко и в тепле, у Жуковского согревающего его в ответ на дрожь. Поэтому пропадает и удивление отца: «Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» – удивление, оправданное и усиленное у Гёте прекрасным самочувствием ребенка до видения. Вторая строфа видоизменена в каждой строке. Первое видение Лесного Царя, из уст ребенка, описательно: «Родимый! Лесной Царь в глаза мне сверкнул!» – тогда как у Гёте («Разве ты не видишь Лесного Царя?») – императивно, гипнотично, – ребенок не может себе представить, чтобы этого можно

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru было не видеть, внушает Царя отцу. Вся разница между; «Вижу» и «Неужто ты не видишь?». Обратимся к самому видению. У Жуковского мы видим старика, величественного, «в темной короне, с густой бородой», вроде омраченного Царя – Саула очами пастуха Давида. Нам от него, как от всякой царственности, вопреки всему все-таки спокойно. У Гёте – неопределенное – неопределимое! – неизвестно какого возраста, без возраста, существо, сплошь из львиного хвоста и короны, – демона, хвостатости которого вплотную соответствуют «полоса» («лоскут», «отрезок», «обрывок», Streif) тумана, равно как бороде Жуковского вообще-туман над вообще-водой.

Каковы же соблазны, коими прельщает Лесной Царь ребенка? Скажем сразу, что гётевский Лесной Царь детское сердце – лучше знал. Чудесные игры, в которые он будет с ребенком играть – заманчивее неопределенного «веселого много в моей стороне», равно как и золотая одежда, в которую его нарядит его. Лесного Царя, мать, – соблазнительнее холодных золотых чертогов. Еще более расходятся четвертые строфы. Перечисление ребенком соблазнов Лесного Царя (да и каких соблазнов, – «золото, перлы, радость...»). Точно паша – турчанке...) несравненно менее волнует нас, чем только упоминание, указание, умолчание о них ребенком: «Отец, отец, неужели ты не слышишь, что Лесной Царь мне тихонько обещает?» И это что, усиленное тихостью обещания, неназванностью обещаемого, разыгрывается в нас видениями такой силы, жути и блаженства, какие и не снились идиллическому автору «перлов и струй». Таковы же ответы отцов: безмятежный у Жуковского – «О нет, мой младенец, ослышался ты, – то ветер, проснувшись, колыхнул листья». И насмерть испуганный, пугающий – Гёте: «Успокойся, дитя! Не бойся, дитя! В сухой листве – ветер шуршит». Ответ, каждым словом бьющий тревогу – сердца. Ответ, одним словом дающий нам время года, столь же важное и неизбежное здесь, как час суток, богатейшее возможностями и невозможностями – из всех его времен.

Мы подошли к самой вершине соблазна и баллады, к месту, где Лесной Царь, неистовство обуздав, находит интонации глубже, чем отцовские-материнские, проводит нас через всю шкалу женского воздействия, всю гамму женской интонации: от женской вкрадчивости до материнской нежности; мы подошли к строфе, которая, помимо смысла, уже одним своим звучанием есть колыбельная. И опять-таки, насколько гётевский «Лесной Царь» интимнее и подробнее Жуковского, хотя бы уж одно старинное и простонародное warten (нянчить, большинством русских читателей переводимое – ждать), у Жуковского совсем опущенное, замененное: «узнать прекрасных моих дочерей»; у Жуковского – прекрасных, у Гёте – просто дочерей, ибо его, гётевский, Лесной Царь ни о чьей прекрасности, кроме мальчиковой, сейчас не может помнить. У Жуковского прекрасные дочери, у Гёте – дочери прекрасно будут нянчить.

И снова, уже бывшее, у Жуковского – пересказ видения, у Гёте – оно само: «Родимый, Лесной Царь созвал дочерей! Мне, вижу, кивают из темных ветвей...» (Хотя бы «видишь?») – и:

«Отец, отец, неужто ты не видишь – там, в этой страшной тьме, Лесного Царя дочерей?» Интонация, в которой мы узнаем собственное нетерпение, когда мы видим, а другой – не видит. И такие разные, такие соответственные вопросам ответы: олимпийский – Жуковского: «О нет, все спокойно в ночной глубине. То ветлы седые стоят в стороне», – ответ даже ивовых взмахов, то есть иллюзии видимости не дающий! И потрясенный, сердцебиенный ответ Гёте: «Мой сын, мой сын, я в точности вижу...» – ответ человека, умоляющего, заклинающего другого поверить, чтобы поверить самому, этой точностью видимых ив еще более убеждающего нас в обратном видении.

И, наконец, конец – взрыв, открытые карты, сорванная маска, угроза, ультиматум: «Я люблю тебя! Меня уязвила твоя красота! Не хочешь охотой – силой возьму!» И жуковское пассивное: «Дитя! Я пленился твоей красотой!» – точно избалованный паша рабыне, паша, сам взятый в плен, тот самый паша бирюзового и жемчужного посула. Или семидесятилетний Гёте, от созерцания римских гравюр переходящий к созерцанию пятнадцатилетней девушки. Повествовательно, созерцательно, живописующе – как на живопись... И даже гениальная передача – формула – последующей строки: «Неволей иль волей, а будешь ты мой!» – слабее гётевского: «Не хочешь охотой – силой возьму!» – как сама форма «будешь мною взят» меньше берет – чем «возьму», ослабляет и отдаляет захват – руки Лесного Царя, уже хватающей, и от которой до детского крика «больно» меньше, чем шаг, меньше, чем скок коня. У Жуковского этого крика нет: «Родимый! Лесной Царь нас хочет догнать! Уж вот он, мне душно, мне тяжело дышать». У Гёте между криком Лесного

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Царя – «силой возьму!» – и криком ребенка – «мне больно!» – ничего, кроме дважды повторенного: «Отец, отец», – и самого задыхания захвата, у Жуковского же – все отстояние намерения. У Жуковского Лесной Царь на загровке.

И – послесловие (ибо вещь кончается здесь), то, что мы все уже, с первой строки второй строфы уже, знали – смерть, единственное почти дословно у Жуковского совпадающее, ибо динамика вещи уже позади.

Повторяю: неблагодарная задача сопоставлять мой придирчивый дословный ритмический внехудожественный перевод с гениальной вольной передачей Жуковского. Хорошие стихи всегда лучше прозы – даже лучшей, и преимущество Жуковского надо мной слишком очевидно. Но я не прозу со стихами сравнила, а точный текст подлинника с точным текстом перевода: «Лесного Царя» Гёте с «Лесным Царем» Жуковского.

И вот выводы.

Вещи равновелики. Лучше перевести «Лесного Царя», чем это сделал Жуковский, – нельзя. И не должно пытаться. За столетие давности это уже не перевод, а подлинник. Это просто другой «Лесной Царь». Русский «Лесной Царь» – из хрестоматии и страшных детских снов.

Вещи равновелики. И совершенно разны. Два «Лесных Царя».

Но не только два «Лесных Царя» – и два Лесных Царя: безвозрастный жгучий демон и величественный старик, но не только Лесных Царя – два, и отца – два: молодой ездок и, опять-таки, старик (у Жуковского два старика, у Гёте – ни одного), сохранено только единство ребенка.

Две вариации на одну тему, два видения одной вещи, два свидетельства одного видения.

Каждый вещь увидел из собственных глаз.

Гёте, из черноты своих огненных – увидел, и мы с ним. Наше чувство за сновиденный срок Лесного Царя: как это отец не видит?

Жуковский, из глади своих карих, добрых, разумных – не увидел, не увидели и мы с ним. Поверил в туман и ивы. Наше чувство в течение «Лесного Царя» – как это ребенок не видит, что это – ветлы?

У Жуковского ребенок погибает от страха.

У Гёте от Лесного Царя.

У Жуковского – просто. Ребенок испугался, отец не сумел успокоить, ребенку показалось, что его схватили (может быть, ветка хлестнула), и из-за всего этого показавшегося ребенок достоверно умер. Как тот безумец, мнивший себя стеклянным и на разубедительный толчок здравого смысла ответивший разрывом сердца и звуком: дзинь... (Подобие, далеко заводящее.)

Один только раз, в самом конце, точно усумнившись, Жуковский предает свое благоразумие – одним только словом: «ездок оробелый»... но тут же, сам оробев, минует.

Лесной Царь Жуковского (сам Жуковский) бесконечно добрее: к ребенку добрее, – ребенку у него не больно, а только душно, к отцу добрее – горестная, но все же естественная смерть, к нам добрее – ненарушенный порядок вещей. Ибо допустить хотя бы на секунду, что Лесной Царь есть, – сместить нас со всех наших мест. Так же – прискорбный, но бывалый, случай. И само видение добрее: старик с бородой, дедушка, «бирюзовы струи» («цветы бирюзовы, гремучие струи...») Даже удивляешься, чего ребенок испугался? (Разве что темной короны, разве что силы любви?) Страшная сказка на ночь. Страшная, но сказка. Страшная сказка нестрашного дедушки. После страшной сказки все-таки можно спать.

Страшная сказка совсем не дедушки. После страшной гётевской не-сказки жить нельзя – так, как жили (в тот лес! домой!).

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
...Добрее, холоднее, величественнее, ирреальнее. Борода величественнее хвоста, дочери, узренные, и величественнее, и холоднее, и ирреальнее, чем дочери нянчащие, вся вещь Жуковского на пороге жизни и сна.

Видение Гёте целиком жизнь или целиком сон, все равно, как это называется, раз одно страшнее другого, и дело не в названии, а в захвате дыхания.

Что больше – искусство? Спорно.

Но есть вещи больше, чем искусство.

Страшнее, чем искусство.

Ноябрь 1933

Поэт-альпинист

Перевод сербскохорватской части текста О. Кутасовой

Двадцать первого ноября прошлого года, приблизительно после восьми вечера, начальник станции парижского метро «Pasteur» заметил среди пассажиров шедшего по перрону молодого человека. Заметил он его из-за роста, красоты и какой-то особенной свободы, изобличающей иностранца; заметил так твердо, что, несколькими минутами позже найдя его в луже крови, сразу же сказал: «C'est bien celui-là»[39]

Характерно для этой смерти, что самоубийство, которое в таких случаях прежде всего приходит в голову, исключили сразу все – от начальника станции до самых близких, – как нечто, что невозможно даже вообразить. Несчастный случай. И добавлю, таинственный случай, ибо юноша был обнаружен в сидячем положении между первым и вторым вагонами, раздавленным, с целыми костями. Смерть, вскоре наступившая, произошла исключительно из-за потери крови, то есть времени: было раскромсано плечо, а первая помощь оказана только спустя три четверти часа.

Откуда этот удар в плечо? Очевидно – от первого вагона. Но как в таком случае человек оказался не под вагоном (раздавленным) или возле него (отброшенным), а между первым и вторым вагонами в этом немислимо тесном пространстве со связывающими цепями и буферами, куда можно только втиснуться? Как можно упасть туда, куда можно лишь с трудом пролезть?

Это не выяснилось и не выяснится никогда.

Машинист затормозил, начальник станции выключил электричество, но служащие, по какой-то рутинности, обнаруживающей себя в момент метрополитеновских катастроф, ничего не предпринимали в течение трех четвертей часа, во время которых юноша, по уверению врачей, и потерял всю кровь. Двухкратное перекачивание чужой крови не помогло, и в десять часов вечера пострадавший умер, не придя в сознание.

По свидетельству девушки, которая видела его последней, он в тот день был особенно весел, как говорят немцы – даже «übermutig»[40]. Однако вот другие его слова, сказанные в семье, где его в тот день оставляли завтракать и, в ответ на отказ, укоряли в пренебрежении к телу, которое может в один прекрасный день стать причиной смерти.

– Смерть? Я ничуть не боюсь смерти! Потому что это смерть для тела. А тело я пре-зи-раю!

Вызов, брошенный в пространство и подхваченный смертью.

Заметим, что юношу поднял с рельсов и перенес на перрон его ровесник, молодой рабочий, пассажир, как и он, только на другой стороне, который, видя, что пострадавший еще жив, а никто из служащих, в ожидании прихода властей, не решается его трогать, – против правил, на свой риск, перешел линию и, позвав еще двоих солдат, отнес раненого на перрон.

Так молодость оказала помощь молодости, пассажир – пассажиру, рабочий – студенту, человек – человеку.

Последнее прикосновение, пока он еще был с нами, – было– братство.

У него нашли морской бинокль и рукопись о Дон-Жуане.

Одна моя знакомая, случайно оказавшаяся тогда на станции метро «Pasteur», рассказывала, что на линии еще долго оставался его шарф – «такой веселой расцветки».

Лицо его было спокойно, без следов страха или страдания. Вот мнение одного простого женского сердца: – Я никогда не видела такого мертвого. Он лежал совсем пустой – как святой.

Погибшему только исполнилось двадцать пять лет. Звали его Николай Павлович Гронский. Был это большой русский поэт.

– Но почему я никогда не слышал его имени? – Потому что у него не было ни одной опубликованной вещи. Среди эмигрантской молодежи не печатается только тот, кто этого не хочет. Этот – не хотел.

Писал, но не печатал. Занятый писанием, не заботился о печатании. Пиша (непрерывно) с 1928 до 1934 года – не опубликовал ни единой строки. И не только не опубликовал – в редакции «Последних новостей», где отец его – один из виднейших сотрудников и куда он часто ходил по делам отца, никто даже не знал, что он пишет стихи. Впрочем, что говорить о сотрудниках «Последних новостей»! Даже я, его близкий друг, в пору нашей близкой дружбы и чуть ли не каждодневных встреч, не знала о существовании поэмы, которая написана как раз в те дни, которая сейчас потрясла меня и именно о которой я собираюсь говорить.

Открываю 9 декабря газеты и – о чудо! – вижу столбцы стихов, братские столбцы стихов, целых два – как без всякой иронии в журналистском мире говорят: «подвала» – стихов, огромная поэма в 600 строк. Название – «Белпа Донна». Подпись – Николай Гронский.

С сердечным биением – приступаю. Оговорюсь: сердцебиение это прежде всего – от страха. А вдруг тот, кого я в пору дружбы, непрерывно, каждое мгновение, во всем, в каждом жесте и каждом слове, без всяких стихов ощущала – как поэта, вдруг он, всеми оплаканный и целым русским, особенно творческим (или стариковским) таким разномастным Парижем проводимый на кладбище, прекрасный юноша, который просто просится в поэму, – вдруг он окажется поэтом средним, то есть меньше поэтом, чем если бы вообще им не был? (Жизнь допускает подобные шутки.) А вдруг он, эта воплощенная противоположность мещанину – окажется поэтом именно этой – мещанской – части русского зарубежья? А вдруг – и это было бы для меня тяжелее всего – вдруг я из чувства уважения, того уважения, на котором строилась вся наша дружба и которое он – слово и дело – так любил во мне, я из чувства уважения просто-напросто ни слова не смогу сказать о его произведении? Все эти «а вдруг» – что может быть быстрее страха? – отдались несколькими ударами сердца.

Вот уже двенадцать лет, и с каждым годом все болезненней и предрешенной, идет в эмиграции спор: может ли в эмиграции возникнуть поэт, или не может, и почему не может, а – если может – почему его нет? – спор, после двух-трех на наших глазах разлетевшихся поэтических мыльных пузырей, постепенно сведшийся к единогласному врачебному приговору: – Поэта в эмиграции быть не может, ибо нет почвы, среды и языка. Нет – корней.

Опуская свое уже двенадцатилетнее коренное возражение, ныне покажу на деле, какие почва, среда, язык – корни оказались у только что скончавшегося поэта Николая Гронского.

Стихи Гронского не были мне знакомы, за исключением, летом 1928 года, нескольких его, восемнадцатилетних. строф – мне, строф по восемь стихов, строф, неожиданно возникших среди текста письма, как детский – из камешков и палочек – садик под ногами; еще не стихи, а пробы пера, юношеское заикание с десятью строками прозаического объяснения на один стих. Можно сказать, что поэт уже был тут – целиком, а стихов еще не было. (Но насколько это реже и лучше, чем стихи без поэта!) Помню еще – то, что я так не терплю – ритмическую прозу, длинные стихотворения в прозе – «Деревья», – ложноклассические,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
аллегорическо-мифологические, гимназические, насквозь логичные, с резонерствующими деревьями и благоразумными дриадами. И еще – планы каких-то огромных поэм, к которым, конечно, – чем больше план, тем меньше доверия – я доверия не чувствовала. Поэтому суждение мое – суждение совершенно непосредственное, без давности, в ответ на данность, суждение читателя, открывшего 9 декабря 1934 года «Последние новости» и, вместо ожидаемого прозаического фельетона и даже двух, увидевшего – вещь в газете исключительную и даже неправдоподобную – поэму, раскинувшуюся на два подвала, двустворчатую, двукрылую, – по крылу на «подвал», – да!

И вот, отрешившись от всякого моего предварительного, хотя к самого скудного, о поэте знания, отрешившись даже от знания о его гибели, пропустив с читателем два столбца предисловия и не посмотрев подписи, став вообще – читателем, каждым читателем, ставлю себе и всем моим сочитателям – вопрос: – какое первое чувство от вида поэмы в два «подвала», подписанной новым именем, или с вовсе не прочитанной подписью? От самого факта такой поэмы? Будем честны: недоверие. Ибо чего можно ждать от такой поэмы? Будем еще раз честны: скуки.

Ждали, и доверяли, и вверялись, и каждый раз – ничего, то есть в лучшем случае «данные», которые ничего не давали, и «способности», которые ничему не способствовали. За неимением места отсылаю моего сочитателя к стихотворному отделу 56-й книги «Современных Записок» – многоголосой и единоличной исповеди человеческой, а посему и творческой, немощи.

На самом деле: чего безнадежней? Два подвала стихотворной, самой по себе условной, по пророчески-стихотворческой природе своей иносказательной, трудной речи – о чем? Чем, по двенадцатилетнему уже опыту, может быть наполнено все это место, занятое поэмой? Либо общими местами, ничего общего с живым местом нашей души не имеющими, либо намеренной разобщенностью искусственных построений. Либо штампом, либо выдумкой, в том и другом случае – немощью. И эту немощь, эту мертвую воду немощи – в себя – с утра? В таком количестве?

Итак, никого и ничего не знаю, ничего не жду и вот, в уже упомянутую дату: попадаю глазами на название:

Белладонна

Но здесь сразу остановка. Белладонна, как известно, ядовитое растение, здесь же речь идет о *Bella Donna*, Прекрасной Даме.

Однако, это слово нам уже знакомо в русской поэзии. Итак, еще один поэт – последователь Блока?

– Нет, в данном случае, Белла Донна – это горная цепь в Савойе, названная так из-за самой высокой, самой неприступной и потому самой прекрасной вершины. «Белла Донна» Гронского – поэма о горах, и написал ее альпинист. А растение белладонна здесь ни при чем. Это нужно знать для верного направления нашего воображения.

Название, настаиваю, следует мысленно читать в два слова, и, если готовящие его книгу близкие, из благоговения перед памятью поэта и за невозможностью получить от него разрешение на иное начертание, его начертание оставят, от всей души и всего ремесла прошу прибавить сноску, сразу уясняющую и вводящую:

Из всей подсолнечной, подлунной
Чту область ту, где облака

– в заоблачную область поэмы и поэзии Гронского. Ибо ядовитому растению белладонне, как вообще никакому яду, в этой поэме, где единственный цветок – последний цветок высот: рододендрон – нечего делать.

Ветра, луга, снега, туманы,
Твердыни скал, державы вод.
Просторы и пространства, страны,
И горизонт, и небосвод –

– Что, что, что это? Не веря духовным ушам, читаю снова. Нет, все именно так, я ничего не придумала, слова стоят. Не я прочла – уже он – написал. Но оставим меня – ибо мне – о нем, живом, будет речь и другая речь. Оставим меня и превратимся в читателя.

Первое, что нас охватывает при чтении этих строк – изумление. Откуда мне сие? 1934 год, эмиграция, Париж. И одновременное с ним чувство – благонадежности (securite) Мы сразу знаем, что все будет хорошо, что – откуда бы ни шла эта речь и куда бы ни вела – выведет! И третье, наконец, чувство (все они одновременны) – узнавание – где это я уже слышала? Не это, но такое, не это, но родное, тот же склад речи и тот же в груди ответ. В ком, в какой такой же реке, мне уже так просторно и надежно плылось и покоилось? И молниеносной подачей памяти – Державин!

Замедлил вечер час прихода,
Ствол света – луч – стал зрим очам,
И воздух сводов небосвода
Потряс орган высоких стран.
Из края в край, по всей пустыне
Пространств невидимых миров
Труба архангельской латыни
Рекла мирам: коль славен Бог.

Итак, предположим, что юноша писал под влиянием Державина. Но это еще ничего не объясняет. Наоборот, усугубляет чудесность. Все мы когда-то читали, а если не читали, так учили – Державина. Но кому из нас, или вас, стихотворцы последующего поколения, пришло в голову или «в руку» – писать «как Державин»? На ком из нас, или вас – след его десницы? Можно назвать, называли уже, и я первая когда то назвала («Что вам, молодой Державин, – Мой невоспитанный стих?») Осипа Мандельштама, но, во-первых – Мандельштам еще, по времени своему, в ненарушенной классической традиции, между ним и Державиным нет разрыва и разлива российской и словесной революции, во-вторых, у Мандельштама Державин именно – традиция, словесная и даже словарная. О Гронском же, по прочтении поэмы, хочется сказать: он не пишет как Державин, он дышит как Державин, тем же воздухом и на ту же глубину вдоха.

И дальше, – не проще ли, не легче ли, не естественнее ли было бы, со столькими здесь и там пишущими, взамен истока Мандельштама – Державина, подпасть под влияние державинского притока – Мандельштама, своего старшего современника, усовершенствованного Державина, под влияние – подвлиянного, получить вещь из вторых, приближенных временем и возрастом рук, как это случается со всеми – и живописцами, и музыкантами, и поэтами, всеми, за исключением самых больших и даже иногда, в начале, – с самыми большими? То есть, просто говоря, писать не «как Державин», а «как Мандельштам». Но от этих вторых рук в поэме Гронского ни следу. Вся она на первоисточнике природы и Державина. Ибо Державин, за отдаленностью времен, как Гомер, как Микеланджело, – уже почти стихия, такой же первоисточник, как природа, то же, что гора или воспетый им водопад, – меньше поэт, чем водопад, и это самое большое, что можно сказать о поэте. (Одни сливаются со стихиями, другие – с народами, не сливающиеся – пропадают). Поверх – перечисляю по мере не только временной близости – Пастернака, Мандельштама, Блока и даже Лермонтова – поверх всего настоящего между Державиным и собственным девятнадцатилетием потянуться именно к Державину, обрывая все кровные связи с поколением – именно к Державину, есть уже родство духовное: не случайность, а выбор, не неволя, а свобода, не немощь, а – мощь. Преодоление собственного возраста, всего соблазна и всех самообманов современности, преодоление полутора столетий не есть уже ни подражание ни подвлиянность. Если здесь есть влияние, то не влияние – давление (ложно-узаконенная форма влияния на), а именно влияние: реки в реку, отца в сына. Сыновность.

Над цирком копий стран скалистых,
Над зеркалами трех озер,
Пречистая в снегах пречистых
Владычица окрестных гор
В громаде каменной десницы
Хранит гранитного Христа.

Там, где ни слова не убавишь – словами не прибавишь. Показательно в поэме Гронского, что при всей ее видимой длине, при всей видимости ее длины в ней нет ни одного лишнего слова.

Больше скажу, – она, секундами, может (не мне!) показаться коротковатой, то есть требующей распространения, роль которого на себя, в письменном слове, обычно берет глагол, местами и нужными местами: везде, где не рассказ, а показ, в поэме Гронского – отсутствующий.

Склон монолита к монолиту

В порфирах каменных пород

– Щека к щеке: гранит к граниту –

Глядят на солнечный восход.

Остановимся на этой показательной для поэта особенности: показе вещи, взамен рассказа о ней, явлении, взамен описания. Эта особенность – опасна, ибо для того, чтобы другой увидел показываемый ему невидимый предмет, нужно, чтобы у него был такой же остроты глаз и быстроты – мозг. Воображение и сообразительность. И во всяком случае, чтобы у него не было бельма (лени, традиции, бездарности) на глазу. Для такого же с бельмом эта поражающая явностью, внятностью, данностью вещь неизбежно будет туманностью, в критическом просторечии – «невнятицей», как, например, на первый взгляд (слух), четверостишие:

Не емлют чувства ощущений –

Дик умозрительности – сей

Лик сущности преобразений:

Слух без ушей – взгляд без очей,

– четверостишие, перегруженное явью и смыслом. Остановимся на нем, расшифруем

его. «Не емлют чувства ощущений», не емлют – не вмещают. Наши пять чувств не вмещают всех ощущений, вызываемых в нас видом смерти. «Дик умозрительности – сей лик сущности преобразений»... Дик нашему разуму явленный нам лик самой сущности преобразования живого в мертвого, жизни в смерть.

И последняя строка четверостишия: «Слух без ушей, взгляд без очей»... В первую секунду – говорю от лица вообще-читателя, в поэтическом мышлении не искусленного – кажется, что как будто бы – наоборот: уши есть, а слуха (уже) нет, очи есть, но взгляда (уже) нет, словом – мертвый нас уже не видит и не слышит. Но нет, не это, а обратное говорит поэт – и несравненно-высшее. – Там, где сейчас разбившийся альпинист, на тех высотах слух – без ушей (не нуждается в ушах), взгляд – без очей (не нуждается в очках), то есть взамен рационалистического, почти медицинского констатирования, что мертвый не видит и не слышит – вдохновенное утверждение, что слышит и видит, то есть не-мертв, то есть «зде-лежащий» уже не зде лежит – вообще не лежит! Это четверостишие и даже одна только последняя строка его – чистейший гимн и формула бессмертия.

То, что я сейчас делала – разводила водю живую водю поэзии, разлагала целое на никогда не дающие его вторично части, здание – на материал, формулу на домыслы, четверостишие чистовика на весь черновой хаос, живого, наконец, рожденного ребенка загоняли обратно в лоно, и еще дальше – в до-бьпие. Короче говоря, уничтожала работу поэта. Но делала я это сознательно (хотя и не без отвращения), чтобы заранее и заведомо снять с будущей, уже сущей, и скоро быть имеющей книги поэта всякую возможность упрека в «невнятице». Невнятица у пишущего только тогда, когда он сам недоволен, недоуслышал, недоувидел, то есть попросту, когда он сам в точности, а иногда и вовсе не знает, о чем говорит, – тогда смысла искать бесполезно, и всякое вникание – зря, ибо за словами – «что то», а часто – ничего. (И есть этой невнятице у нас в эмиграции один разительный пример). Но внимательный и любящий читатель сразу различит, с какой невнятицей имеет дело, с авторской маловнятностью или с собственной недостаточностью слуха, с авторской немощью или с собственной.

Я намеренно взяла самое трудное, сгущенное, перегруженное и на первый слух неудобочитаемое четверостишие поэмы, где показ одновременно есть мысль. Хочу устами поэта дать чистый показ, и на мой взгляд поразительный показ – падения, только что перед нами лежавшего, в пропасть.

Вниз! – обрывая рододендрон...

Вниз! – с камнем, обманувшим вес,

Врозь разрывая жилы, недра, –

Все сокровенности телес.

И труп всегда неузнаваем

В сих откровенностях нагих...

Не знаю, как другим, – мне две первых строки вписаны непосредственно в жилы.

Вникнем в сопоставление «сокровенности» и «откровенности» телес. Тело, пока живо, сокровенно, то есть скрыто от нас то, чем оно и живо, и первое из этих сокровенностей – сердце. Когда мы видим сердце человека – он мертв. Просто? Просто. И всякий знал? Всякий знал. Все знали, а этот взял и сказал. Это-то и есть чудо поэта, встречаемое в нас узнаванием, равновеликим только нашему

А вот – второе падение поэмы (первое – собирательное, показ того, как здесь падают «из года в год», из рода в род), данное падение, падение, данное в его длительности:

Сапожный гвоздь по камню свистнул...

Повис, схватившись за карниз,
Ногой в провал, рукой завыступ, –
Врастая в пласт базальта вниз...

И, ахнув, рухнул. Повернулись
Все оси чувств, легко, легко...

Все чувства душу обманули, –

Цирк неся прямо на него.

...И дернул страх. Качнулись Альпы:

Он перевертываться стал.

Крутились своды: свод небесный

И каменный альпийский свод

Сто метров чистого отвеса,

Последний тела оборот, –

И грохнулся. Увлекши камни,

Подпрыгнул (мертвый) – рокоча,

Проснулось эхо вгрозных замках,

В отрогах грянули рога.

И – только труп окровавленный

Лежал расплющенный, как плод,

В бездонном царстве Белла Донны,

В гробу любовников высот.

– Где, в какой поэме, у какого поэта, так дано – падение? Стихия падения? По крайней мере я, читавшая всех поэтов, такого второго или хоть приближающегося к нему падения, во всей его потрясающей постепенности – не знаю.

Из троих, что вышли к подножью Белла Донны –

И светел час был, глас был строен.

Но в теневых своих правах

Шел вечер гор.

Их было трое,

Все трое первый раз в горах.

Шли. Стали вдруг на перевале.

Цирк начинался из-под ног, –

Жерло в жерле – провал в провале.

Один сказал: «Высоко Бог

Живет...»

– «Ну, Магометовой тропю[41]

К любителю высоких мест».

Идут и вдруг над головою,

Как человек, чернеет крест.

Из троих, что двинулись на вершину Белла Донны, один отказался, другой рухнул, а третий – спасся. Вот как он спасся.

Крепчал мороз альпийской ночи.

Высок, пронзителен и чист

По скалам смертных одиночеств

Шел посвист, отсвист, пересвист.

Один в громадах одиночеств,

В крови все дуло от свистка.

Кровь на губах. Подарок ночи:

Повыше левого виска.

Есть прядь волос, седых как иней –

То страха изморозь прошла.

Глаза – громадные пустыни –

Прошедшей ночи зеркала.

Впиваясь в щели горных трещин,

Врастая в камни – распостерт –

Спускался. Руки не трепещут,

Веревка держит, камень тверд.

Бессильны силы тяготенья:

Столь мощны мышцы смуглых рук

Преодолеши страх паденья
Не падают, он – как паук,
Как ящер. – В каменных завесах,
Лицом в скалу, спиной в простор
Да сохраняют тебя в отвесах
Святой Бернард и Христофор!
Дно. В небо отошли отроги.
Господь не выдал, страх не взял.
Четверорукий стал двуногим,
Встал, покачнулся, устоял.
Глазами мерил цирка стены.
Был узок горный кругозор.
Въезд разомкнувшейся арены,
Восток был отперт на простор.
Как Гронскому-альпинисту, так и Гронскому-поэту «Восток был отперт на простор» –
на все просторы духовного света.

Не нужно удивляться ранней смерти поэта, – мировая лирика питается юношескими смертями! Нужно удивляться дикости этой смерти. Не в пропасти, этой наперед определенной могиле всех альпинистов, этих лоцманов суши, небесных созданий земли! – а в бетонном отверстии – не «сто метров чистой стремнины», а перрон метро, неальпинистская смерть, а дорожная. Там, где нельзя не погибнуть, – не погиб, там, где нельзя погибнуть, – погиб.

И в этом особенная, чрезмерная горечь. Горечь, которая там же как меня и всех, кто знал поэта, скоро зальет и разъест тех, кто прочтет его поэму.

Скажу больше – альпинисту смерть в горах суждена. Альпинисту же – поэту – суждена вдвойне. (Как вдвойне была суждена смерть в море пловцу поэту Шелли.) И уже неотвратимо суждена поэту, который сам призвал ее в своих стихах – он уже видит себя – в пропасти, а Белла Донну над собой – как смуглый труп. Такими вещами не играют. Все играют всеми вещами, только поэты не играют – словами. И Гронский, как прирожденный поэт, это знал. Он знал, что пишет клятву.

«Стоил ему жизни альпинизм!» – вот слова, которыми была бы встречена такая смерть. – «Стоило ему жизни писание!» (поэты). Но альпинисту оказаться под вагоном, поэту – в отверстии размером в метр (кстати, он в горах боялся именно отверстий, трещин) – это уже беззаконие, издевательство. И как ни грубо такое говорить – жаль, что он не погиб тогда, что не стал тем героем своей поэмы, который сорвался, а не тем, который спасся. Но тогда не было бы поэмы, зато поэт в последнее мгновение имел бы перед глазами – горы, а не вагон; а у всех нас, которые его знали или хотя бы один раз в жизни видели, – и которые только теперь его узнают, – не было бы видения, которое будет мучить нас до конца наших дней, видения на станции парижского метро «Pasteur», с названием, звучащим как насмешка, погибнуть под знаком того, кто призван – охранить (пастырь).

Погибнув своей смертью – падением, он все же погиб чужой смертью – своя, да не своя. Есть в этой смерти подозрительная подмена ценностей, некая намеренная – злонамеренная ошибка завершающего рукопись редактора, словно жизнь, не решаясь на открытое противодействие судьбе автора, сделала то, что могла – изуродованием его текста. Так редактор, слегка только переставив слова фразы, так глупый слуга или неверный друг, излагая наши слова – своими, превращает их в ложь.

Есть в этой смерти, наряду с ее физической жутью, та же нарочитая своевольная фатальность стольких поэтических жизней и стольких их концов, – та нарочитая уродливость, которую жизнь вымещает на поэтах за красоту, которую те несут; есть здесь прямые издевательства, как глухота Бетховен, а хромота Байрона, позвоночник Гейне, Пушкинская рана в живо (а не в грудь), гибель Байрона не в битве за свободу, а в постели, Рильке – но здесь издевательство тройное: поэт пола и крови, угасший от белокровия, борец за «свою» смерть, умерший смертью врачебной, – он, завещавший, чтобы на его надгробной плите написали:

Rose, oh reiner widerspruch, Lust niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern.
[42]

То есть тот, который ощутил силу и тайну розы в ее бессоннице, под множеством цветочных лепестков обманом получает снотворное средство; так альпинист Гронский сорвался с перрона метро, где уверенно проходят – все. Последний раз не

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru позволить поэту поступить поэтически. Не позволить поэту поступить поэтически – в последний раз!

Гете – не пример – ибо мы должны рассматривать его в ряду не людей, но – богов. Над Зевсом же властен только рок. Для богов у жизни слишком короткие руки. Я же говорю о поэтах- полубогах, которые из-за двойственности своего происхождения вдвойне подвержены бедам: сверху и снизу. И не о преждевременности, несправедливости, жестокости их смерти я говорю – что, в конце концов, уже в «порядке вещей», а именно об уродливости, о нарочитой порче текста. На одного Гумилева, который сказал:

Но умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
который сказал – и сделал, на одного Шелли, который утонул в бурю и которого сжег Байрон – на двух таких счастливых в смерти – сколько несчастных! Ибо даже прекрасная смерть Андре Шенье, символическая смерть поэта, обусловленная толпой, отравлена для нас своей датой: кануном падения Робеспьера, стало быть сознанием, что если бы отец не напомнил сыну маньяка еще один день... если бы прошел еще один день...

Если каждая молодая смерть, а особенно поэта – беззаконие, то смерть Гронского – и в своей незаконности – незаконна. Но есть у этой незаконности свой смысл. Черный смысл. Месть толпы – одинокому. Месть машины – творению природы. Месть толпы и машины – поэту. Поэта убили вместе толпа и машина. Я ничего не преувеличиваю. Это так. Толка толкнула, машина ударила. Ударил, повалила, потащила и поставила, наконец, спиной к стене, чтобы окончательно привести нас в недоумение. Осталось, правда, утешение – не раскромсала. Ударил, но не переехала. Не превратила в кашу. Погиб – повален, форма же уцелела. Это – для поэта – невероятно важно.

Но существовал еще третий, дополнительный, соучастник: организованное общество. Общество в лице служащих метро, допустивших, чтобы человек потерял всю кровь.

Толпа – машина – закон. Инстинкт скопища – техника – рутина. Такой объединенный фронт вражеских сил мне неизвестен в истории кончины поэтов. Гронский погиб смертью Верхарна, но Верхарн был старым. Здесь же все обрушилось на сверкающую молодость поэта.

И только труп. Окровавленный
Лежал расплюснутым, как плод,
в бездонном цирке Белла Донны,
в гробу любовников высот.

Не означает ли это, что его пророчество о собственной смерти – вовсе не пророчество, его видение смерти – вовсе не предчувствие? Нет. И – пророчество, и предчувствие. Гронский по свидетельству спутников, в горах боялся именно отверстий, трещин. В этом смысле он сделал ту же ошибку, что и Гумилев, который сказал?

Но умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь черной щели,
Затонувшей в черном плюще,
и увидел свою смертоносную трещину в черном мху Африки, в то время как она подкрадывалась к нему подвалами русской революции. Но нет, это были не ошибки! у Гумилева – вариация, у Гронского – исправление. Он, как поэт, увидел свою смерть *en beau* [43] и, что точнее и важнее – *en vrai* [44]. Подобно тому, как видел – жизнь. Он увидел ее глазами художника, творчески, а перенес – в жизнь. Вспомним слова Третьяковского, поставленные в качестве motto [45] к моей книге «После России» и которые Гронский должен был знать:

– «Из того, что поэт есть творитель, еще не следует, что он лживец. Ложь есть слово против разума и совести, но поэтическое вымышление бывает по разуму так, как вещь могла и долженствовала быть».

Насколько жизнь его видение смерти изуродовала, настолько он своей поэмой этот испорченный текст – наперед поправил.

Есть в видении поэта сила, с которой нельзя сравнить газетный факт.

И мне в мой час, в гробу бездонном
Лежать, дымясь в моей крови..
Альпийских гор, о Белла Донна,
Сой смуглый труп благослови!
И для меня и для всякого читателя поэт Белла Донны навсегда лежит в той могиле,
которая была ему суждена, в могиле без дна. На высотах.

Поднимемся на высоты и мы. Остановимся на его альпинизме. Страсть к горам – нерусская страсть. Русские, как известно, любят простор. Степной и речной. Неудержимость. Бескрайность – и тем самым бесформенность. Альпинизм же – противоположная страсть: к преодолению, то есть препятствию. Ибо если альпиниста вдруг поставить на вершину, если его спустить на нее из самолета – он будет не удовлетворен. Ему важно не стоять высоко, а взбираться, с трудностями взбираться. Не высота как таковая, а подъем. Подаренная высота для альпиниста ничего не значит, в то время как подаренная ширь для степного человека – всё. Альпинизм есть любовь к самому процессу преодоления, к шагу за шагом, к пяди за пядью, к подъему над самим собой. Альпинист иерархически, степной человек анархистски – противостоя толпе. Все степи одинаковы, каждая степь – ровная и гладкая. В горах не только гора над горами, а и сам над самим собой – прежним, ранним.

Я над самим собой.

Альпинист, в кругу спокойных людей – завоеватель и воин. Ибо альпинизм прежде всего битва. Битва с горами и с самим собой.

Если любовь к простору есть любовь к отсутствию препятствий, то есть бесформенности, то альпинизм – страсть к препятствию – есть страсть к контурам вещей. Каждый альпинист, в сущности, – скульптор данной горной формы (которую он еще раз создает – подтверждает – всем телом) – и собственного тела (которое, наконец, спас):

Четверорукий стал двуногим..

Когда нужно – четыре руки, а если нужно – и четыре ноги, руки и ноги здесь совершенно условные, здесь позваны на борьбу новые участки тела человека: локоть, плечо, колено, сустав, топорик. Да и топорик, о котором Гронский в своей поэме говорит точно так же, как и о руке, и о ноге. Альпинист – тот, кто каждую секунду живет всем телом, а по-другому вообще не живет. Поэтому уродства у альпиниста просто не может быть. Красота, как известно, есть крайняя чистота данной формы. Здесь, как и в акробатике, все ясно и чисто. Сделано нехорошо – смерть. И даже в последнее мгновенье – он статуя собственного паденья.

В мгновенье осуществления своего высокого призвания альпинист одновременно – скульптор и акробат. То есть то же, что в мгновенье осуществления своего высокого признания – поэт. Николай Гронский в своем альпинизме альпинист вдвойне. Завершив борьбу с стихотворной формой, он идет на войну с формой – горной. И создает Белла Донну.

Необходимая оговорка: хотя я в этой рукописи сознательно и добровольно воздерживаюсь от всего личного, живого, жаркого и печального, стараясь остаться в каменных пределах Белла Донны, я хочу подчеркнуть, что мать Николая Гронского – скульптор, так что его альпинизм можно еще истолковать и наследственностью, унаследованной любовью к форме, которая пошла, как горный источник, двумя долинами.

А вот что, тогда девятнадцатилетний Гронский сам говорит о себе и горах:

«Alleront (Haute Savoie), июнь 1929.

Как я люблю горы руками, ногами и дыханием, видит Бог, но Медонский лес тоже моя жизнь, мой ход (и ходьба). Но горы, послушайте только: внизу юг (грецкий орех, тополь – для меня это Крым 1917-го года), повыше какие-то границы, границы и Россия – север России: ель, береза (без подделок береза), ольха и рожь и рябина и осина, а еще выше моя родина Финляндия: ель, ель, ель, вереск, вереск, вереск, камень, лишай, мох; а еще выше – тоже Россия, но та Россия гиперборейцев: скалы, лед, снег, а после – ничего – небо (Виньи о горах: „trone des quatre

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru *saïsons*“.[46]) Горы это моя самая старая отчизна, род мой из Карпат».

Как же в нем была сильна эта старая отчизна, что и саму стихию горизонтов – Россию он увидел вертикально!

Так в нем альпинист, так в нем поэт на пространстве в десять рукописных строк сумел: от Тавриды и Гиперборийцев, от 1917 года до бесконечности, от ореха до лишайника – всю Россию крест накрест – пройти, взбираясь все выше и выше.

Еще о горах:

«Allemont, 2 июля 1929 г.

Все мне здесь любо – и горы, и часовни на перекрестках, и встречные крестьяне. Allemont – это деревня красивых стариков. С двумя я подружился – старики падки на внимание молодежи. Рассказы: война 1870 года, или „когда я был маленьким“ (а рассказчику 84 года!), или: „pour se rendre invisible: volez un chat noir, a l'heure du monuit egorgez le de la main gauche...“[47] (последний рассказ я записал дословно). Чтобы досказать про людей, прибавлю: я долго всматривался в лица старух, особенно же стариков, и не мог ничего понять – какие-то странные черты лиц – потом прочел в путеводителе, что аллоброги, римляне, французы, итальянцы и саррацины (sic!) – вот предки здешних жителей. Про аллоброгов можно догадаться и по названию деревни: Allemont. Другие названия ставили меня сперва в тупик: Oz, Huez, – зная же теперь про саррацинов, понял все: и название деревень и черты лица. Хороша смесь?

Вот все про людей и деревни.

Совершаю восхождения совершенно один. В „последней деревне“ расспрашиваю, как да как идти дальше. – Вечный окрик вдогонку „et vous etes tout seul, tout seul somme sa?“ [48] Или встреча „а, вы идете туда-то, а знаете, там двое разбились в прошлом году“.

Когда буду снимать, пришло (хотя это и соблазн). А пока названия Pic de Bellefontaine („где-нибудь рядом – вход в ад“ – вот первая мысль, когда увидел), pic de l'Etendard, rochers de Passions[49], „4 дома“ и „Семь мест“. Реки: Romanche, Sonnant[50]. (Про дьяволов и не пишу – так много.)

Вспоминаю Россию (ее же помню – но это другое): ели, рожь, кошкины лапки – такие цветы.

Но есть много и не русского. – Однажды я принес цветы, лилии пламенного цвета, с запахом мощей святых (мысленно называю по запаху: essence Baudelairienne[51]), и вот мой хозяин говорит (а ему за 70), что он не только никогда не видел, но и не слышал ничего об этих цветах. – „Ah, que ca sent mauvais, M-r Nicolas“, – это он понюхав, а я „mais mon, M-r Mauin, c'est un peu pourri, mais ca sent tres bien“[52].

Множество фиалок, земляники смолы (смолу ем, как землянику) – только все надо найти.

Многие озера еще подо льдом. Ем снег».

А вот еще – из другого письма другою года (1930), когда он, больной, закутанный в шерсть, смотрит в окно:

«Горы в снегах надо мной – из окна видно – а сколько раз оне бывали подо мной. Горы еще и во мне».

И в то же лето (1930) – мне, на этот раз тоже с гор:

«...Ах, чуть не забыл: побывайте хоть раз в области скал. Там живет мертвый нечеловеческий страх.

Когда я жил прошлое лето в горах (первый месяц совсем один) – говорил сам с собой по-русски, громко читал Ваши стихи в горных цирках и слушал – иногда шестикратное – эхо, я и не подозревал, какие Иерихоны у меня в горле, а вчера узнал. Сила моего голоса превосходит силу аплодисментов ста человек –

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru покрывает».

Шестикратное эхо горных ущелий – единственные аплодисменты, которые поэту Николаю Гронскому было суждено услышать.

– Не самое плохое.

Когда я говорю об альпинизме и альпинисте, я говорю именно об этом одиноком полудухе, полуживере, что ест снег и заставляет эхо шестикратно отзываться.

О горце, пешеходе, ребенке, поэте, никогда – о спортсмене. Нет, от спорта в этом юноше не было ничего, все – от любви. Разве не удивительно, что он рос в Париже, проходя каждый день мимо булонского стадиона в русскую школу, красивый, стройный, страстный – и не занимался ни одним спортом. Нет, это не удивительно. Удивителен Метерлинк, который занимается боксом. Что такое спорт? Первый и бессознательный ответ: подмена. Чего – чем? Попробуем разобраться. Полнота жизни в природе – заменяется жизнью чисто мускульной. Некорыстолюбивые и невинные радости бега, хождения, восхождения, плавания – радости собственной силе и силе природы – низкими радостями первенства и физической корысти (оздоровления).

Одинокое существование в природе – групповым соревнованием.

Природа – как самоцель – природой – как средством.

Чистота – пользой и полнота – частью.

Море, сведенное к плаванию, горы – к восхождению, лес – к бегу, море, горы, лес и даже небо, вся природа – к тому, чтобы прийти первым. Вся природа превращена в поле для матча и весь человек – в узел состязающихся мышц.

Ибо одинокий спортсмен – не спортсмен. Спортсмен, который не соревнуется, – не спортсмен. Норвежец-лыжник – не спортсмен. Ребенок – не спортсмен. Дикарь – не спортсмен. Король Альберт – не спортсмен.

Там, где в наличии самоцель – будь то сопутствие, или необходимость или некорыстолюбивая радость движения, или чистое геройство – там нет спорта. Сын Леонида Андреева, Савва Андреев, который с детства живет на верхушках деревьев, который прыгает с крыши одного вагона на крышу другого, идущего в противоположном направлении, который взбирается на Эйфелеву башню по ее каркасу, не спортсмен, а безумец. Он не за кубком пошел, а за...

Есть упоение в бою
...И бездны мрачной на краю..
(Пушкин)

– это его душа – движет мышцами дикаря.

Слово, ко мне обращенное Льва Ивановича Шестова, страстного *Naturmensch'a*[53] и пешехода: – Мы тоже – и канавы перепрыгивали, и друг через друга прыгали, и на веслах сидели, и плавали, да еще как плавали! Но так... от чистого сердца. Не называлось это у нас – спорт.

И не было спортом.

Спорт есть движение как ремесло, то есть обратное детски-дикарско-животному, органическому, и целесообразному – разумному. Заменяем движение как ремесло любым другим словом: чтение как ремесло, любовь как ремесло, еда, сон, молитва и т. д. и т. д. как ремесло. Все это будет или бессмысленно, или презренно. Когда же слово движение заменим в том же значении – тратой, а в данном случае даже расходом – сил, то увидим, что трата сил как ремесло – есть преступление там, где их не хватает для необходимого. Спортивная трата сил есть кража сил у тех, кто трудится, трата чужих, последних сил.

Каждый профессиональный спортсмен – вор, и я удивляюсь рабочему человеку, который не видит, что пот, проливаемый спортсменом – впустую! – жестокое издевательство над его труженическим потом. Не только не видит, но и последний свой труженический грош тратит на то, чтоб только своими глазами увидеть, как этот презренный пот – проливается и своими мозолистыми руками хлопнуть этому безделью.

Спорт есть трата времени на трату сил. Чужого времени и чужих сил. Ибо, если у тебя, как у отдохнувшего коня их избыток, то ты украл их у коня, который много работает. И здесь – на стадионе – ты их перед этим конем-тружеником – тратишь.

«Здоровый дух в здоровом теле». Но если в теле вообще больше нет души, если она выбита из тела футбольными мячами? Если в голове вместо мыслей одни состязания?

– Позвольте, но таким образом развивается мускулатура и прогрессируют поколения!

– И у белки в колесе тоже развивается мускулатура, но какое нам дело до ее мускулатуры и мускулатуры всего беличьего рода?

Пустой труд – позор. Спорт, таков, каков он сегодня, – есть труд на свою мускулатуру, ради первенства среди себе подобных. Движущие силы спорта – физическая польза и суетность. В самом существе людского объединения – это крайнее выражение эгоизма. Ибо нельзя назвать пользой тот страшный голос, тот вопль, которым толпа встречает успешный удар – все равно чей: ракетки по мячу или кулаком по челюсти. Действие спортивных картин, которое развращает, увеличивает жестокость, в лучшем случае опустошает, нельзя не назвать преступным. Ниже спортсмена только его зритель. Еще ниже.

Если к спортивным зрелищам добавим спортивную литературу («я в газетах читаю только спорт») – мы убедимся, что спорт, вместо проблематичного оздоровительного прогресса (ибо слишком много несчастных случаев и смертей), несет в себе духовную гибель поколения. Нельзя ценой гибели духа покупать здоровье тела!

И еще одно, последнее. Над спортом парит смерть. Пустая смерть – ни за что. Смерть, которую не оправдывает ни судьба, ни болезнь, ни воинский приказ, ни случай. Как работа спортсмена впустую, так и его смерть впустую. Как его пот – напрасен, так и его смертный пот – напрасен. И его спортивная смерть в такой же мере издевательство над нашей, как и вся жизнь. Отдал жизнь, чтоб прийти первым. Куда? К столбу.

Смерть, недостойная человека.

Единственный законный спорт – или гимнастика, или игра со всеми временными ограничениями, содержащимися в этих понятиях.

Но у Николая Гронского не было времени ни для гимнастики, ни для игры. Больше того, у него не было времени для театра – ни для каких спектаклей или вечеров. У него было время только для одного – для одухотворенного действия.

Вот один пример. Когда прошлым (1934) летом в горах Савойи пропали юноши – братья Раствул, – Гронский, не знавший их, отправился на их поиски, нашел их последние следы – горную сумку и бутылку с запиской: – Буря приближается! – и на месте этих последних следов – скале – поставил крест, который нес с собой всю дорогу – от «ореха» до «лишайника». Старик француз не подозревал, что тремя месяцами позднее на лесном кладбище в Медоне он посыпет землей могилу того самого русского, который своими руками поставил крест его сыновьям.

Этот крест я видела у него в рамке, на его книжном шкафчике, шкафчике из белого дерева, как и тот крест, в его студенческой, тогда уже посмертной комнате в Медоне. Рядом с ним – с продавленным боком видно свысока летела! – горная сумка. На вешалке – горное, пять лет подряд одно и то же – пальто. Под ним – верхом к стене горные ботинки, много исходившие. Топорик.

– Не бойтесь за сына! – говорили ему савойские старожилы, – он осторожнее нас!

Летом 1935 он должен был получить звание проводника, ибо знал горы «куда лучше, чем мы!».

Так спорт нельзя знать, так знают – любовь.

Я уже слышала (и, надеюсь уже больше не услышу) замечание о некоей «высокопарности» его слова. Да, если орел высокопарен, то и стихи эти высокопарны: высоко парят. А вот ответ отца поэта, его душевного и альпийского спутника: – «Но когда заберешься на высоту трех тысяч метров, поневоле

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
заговоришь высоким слогом!» – «Но не всякий и заберется».

Высокий лад и слог поэмы здесь вызваны ее высокой темой Альпами и гибелью. Не сомневаюсь, что пиши Гронский о море, то мерой его слова была бы не высота, а глубина, то есть он бы писал уже не высокопарно, а скажем безмерно. Море пишется морем и гранит гранитом, каждая вещь своим же веществом посредством основной его функции. Так море поэтом не пишется, а дышится, гора поэтом не пишемся, а громоздится. Сила слова в степени его преосуществляемости в вещество являемого. Поскольку поэт причастен стихии, а Гронский данной поэмы весь – ее, он говорит – ее языком, верней, она говорит – его ртом. Водопад, пробушевавший Державиним. Утес, устоявший, и стремнина, простремнившая Гронским в Белла Донне, устами юноши сказали высь и смерть.

Я нигде не сказала отдельно о форме Гронского и не сделала этого потому, что форма здесь – преодолена, мы ее просто не чувствуем, верней чувствуем ее формой – скалы, колена, топорика, живым узлом мышц – материалом самого вещества и веществом самого материала. Форма у нас здесь, как бы сказать, под ногой и в руках: не стихотворная, а скульптурная. Но о рифмовке Гронского сказать стоит, и сразу скажу, что она у него вольная. Точно же скажу, что рифмует он, как альпинист ходит: то до миллиметра рассчитанное месюприложение рифмы точной, то на Бога полагающийся прыжок рифмы вольной: условность ступни на условности камня, – но всегда ступень, переброс, рифма, сведенная к передаточной инстанции мускула.

Пример рифмы не только точной, но – хищной:

Исполнен черною тревогой
Ломает воздух шестисвист
В стране, где искушает Бога
Любовник смерти – альпинист.

– Но что такое шестисвист (Авторская пометка) – Альпийский сигнал бедствий. – Но никто этого не знает. – Но в деле словаря, как в деле свода законов, незнание – не оправдание.

Не имея возможности показать всех разновидностей его рифмовки, укажу, что явно преобладает рифма вольная, то есть обратно литературно-искусственной – песенно-народно-органическая приблизительная рифма, – для слуха, а не для глаза.

Ряд примеров: –«Я был там. Там четыре бездны – Открыты с четырех сторон – Свистят отвесы, грозы снежны – И странно близок небосклон». Какие доселе мы знали рифмы на бездны? Звездный, железный, слезный, полезный, безвозмездный, и, может быть, еще две. Но ему ни одно из этих слов не нужно, ему нужно то, что ему нужно: снежные грозы. Меньший поэт и лучший бы стихописец пожертвовал бы насыщенностью снежной грозы – условности железа, пользы и т. д., то есть передернул бы – и проиграл бы, ибо в стихах более чем где-либо звучит мое слово – что не насущно – лишне. Гронский же, как настоящий поэт, спокойно берет то, что ему нужно, то есть новую рифму – создает.

Другой пример этой все растущей вольности: – «И ахнув рухнул. Повернулись – Все оси чувств – легко, легко – Все чувства душу обманули – Цирк несся прямо на него...» «Легко» и «него». Хорошо? Нет, само по себе, в другом бы контексте – плохо, но в данном – незаменимо. Незаменимость необходимости. Ибо чем пожертвуешь из этого совершенного четверостишия? Какой строкой, в угоду хорошей рифме – второй или четвертой? В том то и сила, что настоящая поэтическая сила в угоду рифме строкой не жертвует, ничем не жертвует, не прерывает видения и потока; в угоду рифме, то есть в конце концов точке услады не прерывает вдохновенного поэтического периода. Наоборот, он – рифмой: «красой» жертвует для правды, не обратно. Деталью слуховой услады – правде и силе целого. Мир стихотворческий, более чем какой либо, мир предпочтения и неизбежной жертвы.

Другой пример, на редкость – вольно, никак не срифмованного четверостишия. – «И грохнулся увлекши камни – Подпрыгнул (мертвый) рокоча – Проснулось эхо в горных замках – В отрогах грянули рога». Чем поступимся: камнями или замками, рокотом или рогами? (за которыми уже вся *wilde Jagd*[54]). Ничем. Посему поэт – прав.

И последний, наконец, – предельный пример поэтической вольности (воли поэта к правде): – «Там грань последняя гранита – Там резок воздух высоты – Недвижны дали – и открыты – Все горизонты высоты». Это уже не вольность, а

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru дерзновенность. Но опять-таки, чем, мои сочитатели, замените высоту либо первую, либо вторую? Рифм на высоты – не счастье, значит, поэту понадобилась именно эта не-рифма, вторая высота. Рифма – слуга, слуги должны знать свое место. Или уж – вовсе обходиться без слуг. Что и сделал поэт.

Эта сама с собой рифмующаяся высота – чистый кристалл той, кн. С. Волконским открытой и формулированной победы путем отказа. Преодоление вещества и тем самым преодоление мастерства. А, может быть, только с этой высоты мастерство и начинается?

Показателен для молодого годами поэта и сам выбор темы. (Если допустить, что поэт тему выбирает.) О чем в девятнадцать лет? О любви (Лермонтов в шестнадцать лет «Парус», но это и среди Лермонтовых – исключение.) О любви, то есть о самом юношески-насушном и стихотворчески легком. И в самой беспрепятственной и безответственной форме – лирической. У данного юноши самым насущным оказались – горы. И горы эти потребовали с него самого трудного – поэмы с действием, с физическим действием восхождения, падения, спасения, которое (физическое действие) куда труднее для поэта, чем внутреннее действие лирики или даже трагедии; поэмы ландшафтной, имеющей дать не внутри-юношески безответственный (и часто беспоследственный) душевный хаос, а достоверный, зримый и осязаемый, трехмерный хаос скал. У Н. Гронского самое насущное оказалось – самое трудное; самое срочносказуемое – самое трудносказуемое.

Скромность и, с виду, в девятнадцать лет, непосильность такой задачи (что для поэта любого возраста труднее мира трехмерного?), сам факт такой задачи, даже если бы он с ней не справился, а как – справится! – сам по себе показатель величины дара и мера силы. Такие сны сняты только молодым великанам.

Но характерен и другой выбор – не только ландшафтной поэмы но и самого ландшафта поэмы. (Ландшафт здесь беру условно, ибо в Белла Донне – ничего от живописи. Скорей уж *haut-relief*[55], чем ландшафт. Вещь, как тело альпиниста и тело Альп – трехмерная.) Если не любовь, то – что в молодых поэмах? Море. Море, безмерностью и бесформенностью своей соответствующее гадательной безмерности и достоверной бесформенности молодой души. Можно сказать, что море, как любовь, в стихах – вещь безответственная. Что ни скажи – всё подойдет, ибо в море – всё, море – всё. Кроме того, учитывая всеобщую зачарованность морем и такую редкую – горами, мы подкуплены уже самим словом. Но взять – и так дать – горы, область в природе самую оформленную, самую до-созданную и, при всех безднах, самую ограниченную, живую границу ноге и глазу! – самую отграниченную и неслиянную, – да дать ее еще не в ее исключительном миге – лавине, а в покое, в ее, так сказать, горной бытности в покое, нарушенном только человеком, взять самую область фирмы и дать ее в адекватности формы стихотворной – это уже, действительно, вторично создать этот горный цирк. (Его слово, кстати, настолько лучше обычного «амфитеатра».) Но это еще не все, ибо он не горный цирк дает, а человека в горном цирке, движение человека в неподвижности гор, и не себя, человека, а целую тройную трагедию восхождения, отказа, падения и спасения, в окружении разбушевавшихся стихий на арене горного цирка.

Нет, это уже не «данные», а – здание. И если бы после Николая Гронского кроме этой поэмы ничего не осталось, остался бы целый поэт. В этой книге всё – цитата и всё – эпиграф. И если равнять ее с чем-нибудь в русской поэзии, то только с юношеским делом – Мцыри.

Всякое явление можно и должно дать одним словом, которое являет его сущность. А здесь и «должно» без надобности, здесь слово само приходит – сила. Ибо то, без чего все – ничто – мускул. Мускул атлета, перенесенный в область духа. Этим мускулом Гронский, как и автор этих строк, несмотря на отвращение нашего сознания и бессознания к содержанию нашего времени, этим мускулом мы с Гронским становимся детьми своей эпохи, самой мускульной из всех – второй Спарты.

Не буду скрывать – Гронского я выкормила. Я печатаюсь двадцать пять лет, а такое говорю – впервые. И впервые радуюсь, ибо узнала в другом – себя. Ибо первый раз узнаю – себя, до сих пор я обычно узнавала свои ритмы, свои «методы» (приемы), (которых, кстати, у меня нет), свои «темы» (я, например, пишу о письменном столе, а одна поэтесса тут же – о карандаше), без всякого повода разорванное, как пленка, слово без всякой нужды урезанную строку, – либо пародию на себя, либо просто себя, часть себя, искусственно втиснутую в не-себя; чтобы сказать честно: не узнавала себя, а обнаруживала кражу, вольную или невольную.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Подобному, скажем, подражательству, может радоваться лишь тщеславный человек как чудовищному подтверждению своей славы, настоящему же поэту из-за этого может быть только обидно – как человеку, которого ограбили и чье добро не сумели использовать. Злость на чужое бессилие.

У Гронского я восхищаюсь силой. Силой – и свободой.

Вот раздалось, вот отозвалось,
Передалось – и весь гудит
Просторный коридор обвалос,
Дрожит базальт, гремит гранит.
Органных эхо перекатиов
Зарокотал по скалам шквал.
Отрог отрогу слал раскаты.
Гранит базальту отвечал.

Равновеликая значимость – не есть подражание. Равновеликая значимость – есть не повторение, а перевоплощение. От подражания в поэме Гронского нет ничего, от родства – все.

Поэму я в отдельных местах ощущаю, словно написала ее – я, а некоторым строчкам улыбаюсь, как собственному открытию.

Сын, рождаясь похожим на мать, не подражает, а продолжает ее заново, то есть со всеми приметамы другого пола, другого поколения, другого детства, другого наследия (ибо для себя я не наследовала!) – и со всей неизменностью крови.

Гронский Белла Донны похож на меня, как сын на мать, – точнее и полнее я не могу сказать.

Я не была его любимым поэтом, любимым его поэтом из старших был Гумилев. И это понятно. Родство не любят, родство не знает о своей любви, быть в родстве с кем-то – больше, чем любить, это значит быть одним и тем же. Вопрос: «Вы очень любите своего сына?» мне всегда казался диким. Какой же смысл рожать его, чтобы любить его, как любого?

Мать – не любит, она – это он.

Сыновья же не любят, они питаются.

Гумилев для Гронского был идеалом мужества его юности, его мужским абсолютом. Африка, добровольный уход на мировую войну, заговорщичество в гражданской войне, убитый леопард – крест святого Георгия – расстрел. Больше, чем любимый поэт – любимый герой. Гумилев был его любимым героем. Я же была его скромная станция питания, на которую сыновья, когда вырастают, и не оборачиваются, но которая плодотворнее всех поставленных целей и идеалов. Эту свободу мать всегда предоставляет сыну: любить другого.

Но как бы далеко ни отошел сын от матери, он не может уйти, так как она в нем шагает рядом с ним, и даже из матери он не может шагнуть, так как и его будущее она несет в себе.

Сам факт Белла Донны для меня драгоценнее любого посвящения.

И лирическая горечь из-за того, что не стало большого поэта, усилена во мне горечью потери того, кого именно я выкормила, который продолжил бы – меня. Потеря не только в «нашем полку», но и в моей семье.

Что в Белла Донне мое? Мускул – и свобода.

Но как это связать с Державиным? Спросим природу: как она мать в ребенке связывает с прадедом? И еще не таких матерей и еще не с такими прадедами, ибо между мной и Державиным – есть родство. Я не могу узнать себя, скажем, ни в одной строке Баратынского, зато полностью узнаю себя в державинском «Водопаде» – во всем, вплоть до разумности замечаний о безумии подобных видений. У поэтов, кроме их внешней приметы: поэт – тоже ведь существуют группы, виды, как у животных. Так что, если бы и вовсе не было этой моей сродности, – кровь не спрашивает, она роднит не только поэтов, ибо пора, наконец, понять, что существует иная кровь, иное наследие, иная физика – в полной сохранности этого

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru понятия и в той же мере достоверная и активная, что и та, которую мы знали до сих пор. Физика духовного мира.

И эту физика духа мы пытаемся иногда определить как другое, просвещенное, озаренное, в гораздо меньшей степени случайное и более совершенное тело данной, пока еще неведомой нам, души.

Закончу показ гениальной формулой эпилога:

Я беден: слово у поэта –

И снесь и сущность естества.

Теперь – ответ. И этот ответ будет показ. Может или не может существовать в эмиграции поэт? Но он – уже существует. Почва (данной поэмы) Гронского? Почва того рододендрона. Среда? Лбом, грудью ногами и руками освоенная «область скал». Язык? Родной, детский, сохраненный семьей и русской школой, углубленный и изощренный творческой работой. Корни? Те чудесные корни поэта, впивающиеся как когти – в малейшую прослойку земли, чтобы на неправдоподобии отвеса утвердиться неправдоподобием березы, но при наличии глубины роднящиеся месторождением родников и местонахождением умерших, берущие землю там, где она есть, и создающие ее там, где ее нет, – укореняющиеся даже в небе! Корни Державина, подземным ходом полтора года с лишком лет шедшие в будущее, чтобы возникнуть новым ростком – данным. Корни Гронского, тем же, но обратным полусторастолетним ходом прощупавшиеся сквозь полную слепоту юности к родным корням Державина.

Корни поэта – в самой поэзии, суть корни самой поэзии. Всеместные, всевременные, бессмертные.

Я – вселенной гость,
Мне повсюду пир,
И мне дан в удел
Весь подлунный мир!
Кламар,

Рождество 1934

О книге Н.П. Гронского «Стихи и поэмы»
Девятый год стоит Россия

Моей заморскою страной...

Н.П.Г.

Мне кажется, что спор о том, может ли быть эмигрантская молодая литература, или не может быть, на этот раз сам собой разрешен в недавно вышедшей книге покойного молодого поэта Н. П. Гронского.

Книга открывается словами: «Помню Россию – так мало, помню Россию – всегда»... Это сразу дает нам и возраст, и духовную особь пишущего. Мало помнят, но все же помнят – десяти лет расставшиеся помнят свою страну – изгнанники, всегда помнят – рожденные поэты. Книга открывается – формулой, ибо короче и полнее о себе и о России человек его поколения сказать не может. Эта цитата, по недостатку места, останется единственной. Пусть читатель, до прочтения книги, поверит на слово, что она редкостной словесной силы. Поэтически – первокачественная.

Читаем названия: Иоанн Безземельный – Римляне – Карл XII – Эней – Роланд – Наполеон – перед нами школьные годы, т. е. школьные герои поэта. Первый вывод: не зря ходил в школу. Дальше героика недавних времен: поэма Миноносец, трагическая героика не взятых на английский миноносец добровольцев (по страсти, с какой написано, ясно, что в основе – живое происшествие). Листаем дальше: – Из первой книги Царств – Россия – Август – Римские дороги – Савойя – Моисей – Дракон, – по названиям одним ясно: юноша читает, ходит, глядит, думает – и, наконец, альпийская поэма Белла Донна, лучшая вещь в книге и во всей поэзии эмиграции. К этой поэме отношу читателя, как к сердцевине книги и поэта и самой лирической поэзии. Дальше: Валгалла – дальше прекрасная поэма Авиатор, как все поэмы Гронского взятая из жизни, – поэма Финляндия (родина поэта), – Михаил Черниговский и Александр Невский, – драматические сцены Спиноза – и последнее в книге и в его молодой жизни – Повесть о Сергии Радонежском, о медведе его Аркуде и о битве Куликовской. Книга, начатая Россией, Россией кончается. Россией кончается и его жизнь.

Где же, господа, неизбежное эмигрантское убожество тем, трагическая эмигрантская беспочвенность? Все здесь – почва: благоприобретенная, пешком исхоженная почва Савойи, почва медонских римских дорог, и в крови живущая отечественная почва тверской земли, и родная, финляндская, и библейская – Сиона и Синая, и небесная, наконец – Валгаллы и авионов.

Перед вами, молодые поэты, юноша – ваш сверстник, ваш школьный товарищ, с вашими же источниками питания: собственной ранней памяти, живого изустного сказа, огромного мирового города, природы, которая везде и всегда, и наживейшим из всех источников, без которого все остальные – суть: самой лирической жилой. Так почему же у вас в стихах метро и быстро, а у него Валгалла – и Авиаторы – и Спиноза? Вы жили в одном Париже. И Париж ни при чем.

Верней, Гронскому Париж много дал, потому что Гронский много сумел взять: Национальную библиотеку и Тургеневскую библиотеку, старые соборы и славные площади, и, что несравненно важнее, не только взять сумел, но отстоять сумел: свой образ, свое юношеское достоинство, свою страсть к высотам, свои русские истоки и, во всем его богатстве, мощи и молодости – свой язык. Взяв у одного Парижа – всё, не отдал другому Парижу – ничего.

– «Но это одиночный случай...» Вся лирическая поэзия – одиночный – и даже какой одинокий! – случай. Непрерывная вереница таких одиночных случаев и есть лирическая поэзия. Но если допустить, что есть поэзия не лирическая – гражданская, скажем, эпическая – что мешает молодым эмигрантским поэтам соприсутствовать – издали – событиям своей родины? Челюскин был на весь мир и для всего мира, и место действия его, Арктика, равну – отдалено от всех жилых мест. – «О Русь, вижу тебя из моего прекрасного далека!» Но если наше далёко нам кажется не-прекрасным, если у нас на него нет глаз, можно ведь и: «О Русь, вижу тебя в твоём прекрасном далёке», распространяя это далёко и на прошлое, и на настоящее, и на будущее. Поэт никогда не жил подножным кормом времени и места, и если Пушкина, к нашей великой, кровной обиде, так и не выпустили за границу, это не помешало ему дать невиденный им Запад – лучше видевших. Ведь если допустить, что поэт может питаться только от данного места – своей страны, то неизбежно придется ограничить это его питание и современным ему временем. Тогда, сам собой вывод: Пушкин в Испании не был и в средние века не жил, – стало быть Каменного Гостя написать не мог.

А – мечта на что? А – тоска на что?

Нет, господа, оставим время и место писателям-бытовикам (поэтов-бытовиков – нет), а сами, поскольку мы поэты, будем поступать как молодой Гронский:

Я – вселенной гость,
Мне повсюду пир,
И мне дан в удел –
Весь подлунный мир!
И не только подлунный!

<1936>

Флорентийские ночи
Девять писем, с десятым невозвращенным и одиннадцатым полученным и Послесловием
Перевод Р. Родиной.

Письмо первое
17 июня 19...

Мой дорогой. Книга, которая благодаря Вам вошла в мою жизнь, не случайность [56]. Когда я прочла на обложке его имя, то почувствовала, будто в мою голову вцепились чьи-то когти.

Вы не знаете – Вы совершенно не знаете, – как все верно. Но Вы ничего не знаете. Вы просто слишком чувствительны (нет, Вы – чувствующий: не душой, а подобно волку, кончиком морды: не сердцем, а чутьем), – временами Вы безошибочны.

Я не преувеличиваю Вас, все это находится в пределах темного (у которого нет

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
пределов: сама беспредельности – чащобы и шубы (все тот же волк, который –
заметьте – возвращается).

Я знаю Вас, знаю Вашу породу, Вы больше в глубину, чем в высоту, это всегда
будет погружение в Вас, а не подъем; я употребляю эти слова ни в каком ином
смысле кроме как: чувство направления.

Погружение в ночь (которая мне видится лестницей – ступенька за ступенькой, –
притом что последней не будет никогда).

Погружение в самую ночь. Вот почему мне так хорошо с Вами без света. («Деревня
сорока огней...» С Вами я – деревня без единого огня, возможно, большой город,
возможно – ничто – «когда-то было...». Ничто не обнаружит меня, ибо я потухаю
целиком.)... Без света, в засаде наших голосов. Вот почему все такие часы Вашей
жизни Вы будете со мной: присутствующий в отсутствии.

Есть люди страстей, люди чувств, еще есть люди ощущений; Вы – человек эманации.
Вы постигаете мир кожей: это не меньше, чем душой. Вашей кожей Вы постигаете и
души, и это более надежно. Ибо Вы – мастер своего дела. Нет необходимости
дотрагиваться до Вас рукой, достаточно лишь смутно этого захотеть. Чутье
намерений. Гений намерения. Мгновенный слепок намерения. Инстинкт зверя. (Если
бы я знала, что это так просто!)

Бедная я, которая возле Вас чувствует себя окоченевшей и словно бы наглухо
замороженной (завороженной). (Не делайте из меня ни глухую, ни немую, я совсем
не такая: что же до слепоты – вспомните Гомера.)

Я не преувеличиваю Вас в моей жизни, даже на моих пристрастных, милосердных,
снисходительных весах Вы – легки. Я даже не знаю: есть ли Вы в моей жизни? В
просторах моей души – нет. Но там, на подступах к душе, в некоем между: небом и
землей, душой и телом, собакой и волком[57], в пред-сне, в после-грезье, там,
где «я не я, и собака не моя», там Вы не только есть, но только Вы один и есть.

Вы смутно напоминаете мне одного моего друга прежних лет, автора целой породы
моих стихов, в которых никто меня не признает, за исключением всей его породы,
которая там узнаётся целиком. Но я не хочу говорить Вам о нем, я уже давно его
забыла, поставила на нем крест, я хочу радоваться Вам и тем темным силам,
которые Вы извлекаете из меня, словно открыватель родников.

Открывателю родников не нужно осознавать: ни своей силы, ни ценности родника.
Это – дар, как и всякий другой, и потому чаще всего дается не ведающим и
неблагодарным. Как все дары, кроме дара души, которая не что иное, как совесть и
память. (Чтобы немного посмеяться: если Вы источниклов, то я Крысолов из
немецкой сказки, который уводит своей флейтой крыс и детей – а может, и родники
тоже!)

Все последние годы я жила настолько иначе, настолько сурово, столь замороженно,
что теперь лишь пожимаю плечами и удивленно подымаю брови: это – я??

Вы меня разнеживаете, как мех, делаете человечнее, женственнее, прирученное.
Одни женщины будут говорить Вам о Ваших высоких моральных качествах, другие – о
Ваших прекрасных манерах. Пусть. А я вижу только огонь (лисьего хвоста). Но мех,
разве это меньше? Шерсть – это ночь – пещера – звезды, – голос, его рык
(шерстяной зов) – и еще простор...

Мой неженка... (тот, кто делает меня нежной, кто учит меня этому чуду: быть
нежной, нежить...)

Письмо второе
19 июня, ночь.

Вы освобождаете во мне мою женскую суть, мое самое темное и наиболее внутреннее
существо. Но от этого я не менее ясновидяща. Вся моя зрячесть обратной стороной
имеет – ослепление.

Мой нежный (тот, кто меня делает...), всей моей неразделимой двойственностью,
двойной неделимостью, всем моим существом двуострого меча (наделенным этим
утешительным единством: ранить только меня самое) я хочу в Вас, в Вас, как в

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru ночь. «Строфы и грезы», а проще: прочесть и уснуть. (Оброненные Вами слова, я помню их все.) Скольким виделись во мне только строфы.

Всё с душою, друг, и всё – в душе. (Фонтан, сам себя вспаивающий. Великие фонтаны Великого Короля.) Кожа сама по себе не существует... Вы, с Вашим звериным чутьем, гениальным чутьем, это знаете. Мое «шерстяной, как таковой».) Шерстяной – это не только зверь, но и растение тоже: ель, сосна, мой можжевельник, столь любимый...

И если дать Вас в красках, Вы – коричневый. Как Ваши глаза.

Мой дорогой, я никогда еще никому не писала подобных писем (с тех пор как держу перо, нет – как перо держит меня, – нет – когда у меня еще были мои ангельские перышки, – всем, всегда. Но, однако, верьте мне).

Я все знаю, Человек, знаю, что Вы поверхностны, легкомысленны, пусты, но Ваша глубокая звериность затрагивает меня сильнее, чем другие души. Вам так хорошо ведомо чувство холода, жары, голода, жажды, сна. Помимо Вашей пустоты, есть пустота, которую мы не можем представить иначе как наполненной звездами или атомами, то есть населенной живыми мирами. Будьте пусты, сколько Вам угодно, сколько Вы сможете: я – жизнь, которая не выносит пустоты.

Дитя мое (позвольте мне так говорить...), мальчик мой! Если иногда я не отвечаю Вам прямо, то потому, что есть слова, которые в иных стенах не должны звучать, которые в иных стенах сам воздух не выносит. Стены же выносят всё и ни от чего не страдают, и это единственная вещь, которую не выношу я, и это они, которые заставляют меня больше всего выносить страдания. Ибо знайте: та, что в Ваших глазах слывет словесницей, в самые великие часы своей жизни – не что иное, как спартанец с его лисенком. (Смеюсь: с целым выводком лисят!)

Не знаю, быть может, в Вашей жизни Вы залюблены (перекормлены любовью). Возможно, да. Но я знаю (и услышите это в тысячный раз!), что ни один, (ни одна) никогда так Вас... У всякого тысячного раза есть свой тысяча первый. Мое так не есть мера веса, ни количества, ни протяженности, это – мера качества: сути. Я люблю Вас ни столько, ни настолько, ни до... – я люблю Вас так. (Я люблю Вас не столько, я люблю Вас как.) О, сколько женщин любили Вас и будут любить еще сильнее. Все будут любить Вас больше. Ни одна не будет любить Вас так. Если моя любовь во всех жизнях единственна, то единственно из-за своей двойной сути с любимым и с собой. Вот почему ее никогда не принимают за любовь.

«любите меня великим, любите меня красивым, любите меня всяким!» Что до меня, я всегда хотела и даже требовала, чтобы меня любили такой, какова я есть, за то, что я такая, потому, что я есть. Не за то, какой, по-Вашему, я могла бы, должна бы, должна была бы быть. Пусть любят меня, меня, а не идеальное и фальшивое существо, порожденное воображением поэта третьего ряда и последнего часа, который так и любит, если он не прирожденный поэт и не прирожденный мыслитель. Я всегда предпочитаю быть сфотографированной, отраженной, повторенной, плохо трактуемой, каковой меня делает безразличие объектива, нежели написанной, то есть хорошо трактуемой, идеализированной, оживленной художником, в отношении которого я даже не уверена, что у него есть душа, и который часто – не что иное, как рука единственной и всегда одной и той же мании.

Не судите обо мне хуже, чем меня создала природа – или делает зеркало, – вот все, о чем я покорнейше прошу художника и возлюбленного. «Каждое лицо всего лишь отправная точка». Пусть так, но хорошо ли Вы поняли суть моего (своего) направления? Того, чем я в действительности стала бы, до чего я бы в действительности поднялась, если бы... Можете ли Вы хотя бы следовать за мной – Вы, кто хочет меня обогнать, – чтобы направлять меня? Великий мастер может создать нечто идеальное, ибо он создает то, что долженствует быть, реальность в потенции. Высокую реальность. Другим же, малым мастерам в искусстве и в любви, остается только творить (рисовать, любить) с натуры. Сотворите меня – ест можете.

Я всегда предпочитала быть узанной и посрамленной, нежели выдуманной и любимой. Взгляните на меня всю пристальностью Ваших глаз или принимайтесь «создавать» женщину, которая возле, которая будет за это Вам только признательна и которая узнает себя в каждом из Ваших «портретов», потому что она не знает себя, – это понятно, ведь в ней нечего узнавать. Ничто, принимающее любые формы. Что до

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru меня, то я уже создана, и создал меня Бог. Достаточно одного создания. Такого создателя.

Я свою суть явила бы лишь в любви того, кто выбрал бы меня меж всеми существами, прошлыми, настоящими, будущими; мужчинами, женщинами; существами из воды, из огня, из воздуха, из земли, из неба. И многими еще – ведь есть другие планеты!

Такова я. Если я Вас огорчила – простите мне, что я есмь.

* * *

И подумать только, если бы мы были вместе, я бы ничего не узнала из того, о чем только что поведала Вам! Как все обретается, когда расстаются. Как все соединяет даль.

* * *

Мой маленький! Сейчас четыре утра, я с Вами, лбом в Вашем плече, я готова отдать Вам все свои стихи, прошедшие, пришедшие, те, что придут, – не как некую ценность, а как нечто, нравящееся Вам.

И еще это, – хотите?

Верность: невозможность другого (быть другим). Все прочее – люцифер (гордость) и Лютер (долг). Как видите, моя голова пользуется моим сердцем.

* * *

И уведите меня как-нибудь вечером – на весь вечер. Чтобы, обретя Вас, я немного Вас забыла. Чтобы мы вдвоем несли Вас.

Письмо третье

Когда я только что сидела подле Вас на этой бродяжьей скамейке – больше в отдалении, чем рядом, – моя душа исходила нежностью, мне хотелось поднести Вашу руку к моим губам и держать ее так долго-долго...

Скамья покинутая, Скамья бродяжья...

(Покинутость. Богатство бедности – в одном слове даны две вещи, в одном звуке – два смысла: расширительный, уточняющий).

Но Вы видели, мы расстались... вежливо. (Вот первые ласточки! Наш невозможный час!) Я могу без Вас. Я ни девочка, ни женщина, я обхожусь без кукол и без мужчин. Я могу без всего. Но, быть может, впервые я хотела этого не мочь.

Возможно, Вы скажете мне: «Мне нечего делать с Вами – такой (слабой, как все прочие, и гораздо менее красивой)». В таком случае: пусть будет так! Но только пусть между нами не будет одного: обмана. Я хочу, чтобы ты любил меня всю, всё, что я есмь, все, что я собой представляю. Это единственный способ быть любимой или не быть любимой. Я не боюсь об этом говорить, не бойтесь и Вы того, что имеет значение лишь для меня и никогда не будет иметь для Вас. Когда вновь начнутся Ваши танцевальные па, я сделаю лишь один прыжок, как прыгают из лодки, заставляя ее плясать на воде. Вы ничего не узнаете о моей боли. Не будет даже пустоты, поскольку я никакого места в Вашей жизни не занимаю. Что касается «душевной пустоты», то чем больше душа пуста, тем лучше она наполняется. Лишь физическая пустота идет в счет. Пустота вот этого стула. В Вашей жизни не будет стула, пустующего мною.

Наша вечность – на час, она уже проходит. Я хочу от Вас только одного: позволения любить Вас, – ничего, кроме этих бедных слов: «Люби меня, как тебе хочется и как не хочется: со всем, что есть в тебе».

Я не говорю о жизни. Я не говорю о течении часов. Я знаю, что все жизни и все часы заняты, и я последняя, пожелавшая посягнуть на право собственников (права и собственники – две вещи, которые я равно презираю). Моя любовь не соответствует никакому времени, никакому месту. Эта любовь никогда не будет вхождением в такую-то комнату в такой-то час. Это будет выходением из всего, начиная с моей собственной кожи! Когда все кончится, это будет великое возвращение меня самое. Пока я Вас люблю. Вы всегда найдете меня между собой и мною; никогда в Вас или во мне. В пути, как струя фонтана или как поезд. Какое время когда-либо удержало любовь, ведь душа сама изливает ее целыми волнами (я люблю тебя неудержимо –

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru где? – в моем теле!), ведь ее первое слово – «всегда», ее последнее слово – «никогда». Полночь – не более ее час, чем полдень, все это из любовного жаргона, из обихода – такого изношенного! То, что время удерживает, полагая, что удерживает любовь, – нечто другое. Это отречение от любви. Всякая дорога, которая приводит к комнате, – ложна; она единственная, по которой никогда не позволяю бежать моим ногам.

Я говорю о Вашем соединении с моим внутренним бегом, ибо я и его тоже могу сдержать. Я уже его сдерживаю. (Уже – больше не сдерживаю!)

Я хочу от Вас моей свободы к Вам. Моей уверенности в Вас. Я хочу от Вас моей любви к Вам, Вами принятой. И еще: знать, что это Вас не стесняет.

Небо светло. Налево, над молодой колокольней – заря. Это невинно и вечно. Я люблю тебя, как могла бы любить твоего сына, которым ты должен бы быть.

Не думай, что я презираю твое простое земное существо. Я люблю тебя всего целиком, с твоим взглядом, твоей улыбкой, твоей походкой, твоей ленью – врожденной, родной, естественной, – со всем этим твоим смутным (для тебя, не для меня) началом души: доброты, сострадания, самоотречения. Пусть всего этого не будет ни для меня, ни от меня – не важно! Я столько хочу от тебя – что просто ничего не хочу. (Лучше не начинать!)

Но знай, мой повелитель на час, что никогда никто тебя... (не столь, но так. Самое-пресамое так, мое так). И даже оставив тебя, уступив тебя, как я уступаю всё всем, дорогу любому – я никогда не уйду из твоей жизни.

Рассвет. Я спокойна, словно умерла, и в этой абсолютной ясности неба и головы говорю тебе: «Мне нужны с тобой вся берложесть берлоги и весь простор ночи. Вся ночь снаружи и вся ночь внутри».

Какое убожество земная жизнь. Какая покинутость.

Я прижимаю к губам твою руку. Пиши мне, пиши же мне. Я буду спать с твоим письмом. Мне нужно от тебя что-нибудь живое.

Все небо в розовых раковинах. (Если небо – только пляж, то что тогда море?) Наиболее чуткий час. Спи в мире. Первые шаги на улице, идет рабочий. И птицы.

* * *

Рассвет июньского дня, суббота.

Письмо четвертое

Еще несколько слов в Ваш утренний сон – только что рука, от переполняющей меня нежности, не смогла удержать перо.

Два камня, две несущих блаженство горы на моем сердце – от меня к Вам – я колеблюсь: нужно, чтобы Вы знали об этом, но если у Вас есть душа. Вы будете страдать от этого. Лучше подождать. Не два камня: две жесткие мечты, невозможные в этой жизни, невообразимые в другой, врожденная жажда, рожденная прежде меня, жажда, во всем моем существе наиболее сокрытая, запечатанная, как вода в колодце – камнем Рёнштеттена, чтобы Ундина не смогла вернуться к себе: обрести себя. (Всякая врожденная вещь – рожденная до нас. Наша врожденная жажда – это наше родное море.)

Эти две жажды – не что иное, как одна, одной нет без другой. То, для чего я пришла, чтобы жить, то, без чего должна буду уйти.

Кто знает? Однажды Вы произнесли при мне (я видела Вас только мельком) слово, уже тогда ожегшее меня болью. (Не забывайте: я живу вперед, я обгоняю жизнь!)

Настанет день, когда это письмо станет для Вас таким же ясным, как буквы моего почерка. Но этот день придет слишком поздно.

* * *

Утро того же июньского восхода.

(Только у истинно великого человека это письмо не вызовет тщеславной улыбки.)

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Великого во всем или великого в любви. Казанова плакал из-за куда меньшего!)

Посмертная ремарка.

Письмо пятое
25 июня, воскресенье.

Друг! Меня терзают сейчас два искушения: Вы и солнце. Две поверхности: одна – песчаная, моего листка, другая – каменистая, моего балкона. Обе чистые, обе жесткие, обе усыпляют. Пусть будет песчаная!

Вчера вечером не было света, и я локти себе кусала от желания писать Вам (от ярости, что не могу этого делать). У меня были для Вас, к Вам, слова такие истинные, такие яркие. Это накатывало, накатывало, как поток. Это был самый мой час с Вами, который у меня похитили, украли, вырвали. Я легла на пол и рычала, как собака.

Я поняла одну вещь: с другим у меня было «р», буква, которую я предпочитала, – самая я из всего алфавита, самая мужественная: мороз, гора, герой, Спарта, зверь – все, что во мне есть прямого, строгого, сурового.

С Вами: шелест, шепот, шелковый, тишина – и особенно: cheri![58]

Мой дорогой, я знаю, что это неправильно: с утра любить вместо того, чтобы писать. Но это случается со мной так редко, так никогда! Я все время боюсь, что я грежу, что вот сейчас проснусь – и снова гора, герой...

Письмо шестое
26 июня, ночь.

Мой дорогой, то, что так мгновенно исчезло, чего Вы даже мельком не увидели, настолько быстро я завладела им, было письмо к Б.

В то время как я пишу об этом. Вы спите. Все Ваше непостоянное существо вызывает во мне нежность! Ваша усталость (откровенная зевота хищника). Ваша дрожь от холода. («Не знаю, почему у меня стучат зубы»), у входной двери, – я-то хорошо знаю почему: потому что пришлось три часа поспевать за мной по пустынным улицам столицы и не менее пустынным просторам моей мысли. (Без единой чашечки «черного кофе», что касается Вашего тела, и без единой улыбки, что касается Вашего сердца.)

Сколько нежности вызывает во мне Ваш ночной голод, внезапный, но неумолимый. Ваше...

– Но Вы делаете из меня какое-то животное!

Я ничего не знаю. Я люблю Вас таким.

И вот что еще я поняла. Вы добры: есть вещи, которые Вас огорчают, причем необязательно те, что касаются Вас. И еще Вы чувствительны: есть вещи, которые причиняют Вам боль, притом необязательно вещи физические. (Мне больно. Что болит? Палец? Нет. Голова? Нет. Зубы? Нет. Болит не тело. Душа, вот что болит.)

Дорогое мое дитя, я беру в руки Вашу дорогую голову – какое странное ощущение: вечность черепа под бренностью волос, вечность скалы – бренность травы на ней... Теперь слушайте: это настоящая жизнь. Вы спите, я вхожу. Я сажусь на край этой большой кровати – реки, которая есть наш сон, великой реки, которая есть наша мечта, вижу руку, свешивающуюся с кровати, завладеваю ею (не совсем мое слово), подношу (действие типично мое!) ее к своим губам... И вот Вы открываете глаза.

Я говорю всякие глупости. Вы смеетесь, я смеюсь, мы смеемся. Ничего любовного: ночь принадлежит нам, а не мы ей. И по мере того, как я делаюсь счастливой – счастливой, потому что не влюблена, оттого, что могу говорить, что не надо целовать, просто исполненная ничем не омраченной благодарности, – я целую Вас.

Вы так мило, так человечно целуете меня (уничтожьте мои письма!). Ваша душа являет себя здесь наиболее ощутимо. Но как я не поняла раньше: зверь[59], может ли быть что-нибудь одушевленное зверя? 1) потому что достаточно убрать одну

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru букву «l» и получается «душа»; 2) потому что у него еще остается на одну букву больше, чем у «души». И если говорить серьезно: зверь (animal) – существо в высшей степени одушевленное (anime). Почти имеющее душу (ame).

С Вами никакой тяжести, никакой глухоты, никакой двусмысленности. Мы в знакомой стране. Хорошо, очень хорошо, больше, чем очень хорошо, чем очень-очень хорошо, если это возможно... И все время остаюсь сама собой. Это не зло-деяние, это у-благо-творение, и прежде всего – творение добра. Да. Вы добрый. Вы ни враг, ни соучастник. Товарищ. В Вас – ничего сумеречного. Всё – тьма.

Как бы я хотела – как хотела бы – самое умиленное, что может быть, – как я хотела бы, чтобы Вы начали засыпать и бормотали бы какие-нибудь слова, которые тонули бы во сне, – всей этой нежности, что является собой предсонье. Чтобы лучше любить Вас. Ведь в таком состоянии души наименее вооружены, а значит, больше располагают к любви.

(«Преддверие сна... обезоруживание душ...»)

Дорогой друг, я лишь начинаю Вас любить, еще ничегсгнет (все будет!). Я еще только делаю первые шаги. Вслушивание.

Я так хотела бы – таких слов от Вас, которых никогда Вам не назову. Чувство: ничего не опережать, обострить внимание (собрать все силы), замереть, чтобы услышать Вашу жизнь (рождение?). Любовь – это всего лишь большое ухо (мне хочется сказать – слух рыбы), потому-то она и слепа: ничего не видеть (знать), чтобы все слышать (понимать). («Бабушка, почему у вас такие большие уши?» – «Чтобы лучше тебя слышать, малышка». Длинные, длинные, длинные уши любви!)

Но оставим уши – все действительно может стать большим, но каждую вещь мы можем исказить нашим вмешательством. Не будем торопиться.

Настанет час, когда я больше не буду смеяться – о, я знаю, но этого еще не будет ни сегодня, ни завтра, и никто в мире, даже Вы, Вы сами, не сможет его ни отдалить, ни приблизить.

Это будет лишь ступенька в бесконечной лестнице: ночи.

Друг, говорю Вам наперед, не позволяйте приметам обмануть себя: руки и губы – нетерпеливы, это дети, надо, чтобы они умели терпеть (чтобы они не мешали нам), ведь не они (губы и руки) важны, не они берут верх. Это будет лишь переход.

Доброй ночи. Прочтите это письмо, прежде чем уснуть, и быстро, карандашом, который уже падает из рук, – несколько слов, не думая.

Сегодня вечером в кафе на секунду мне стало очень плохо. Вы тут ни при чем, все дело в моей безмерности, – Вы не должны об этом знать.

Спите. Я не хочу пронзать Вас собой, не хочу ничего преодолевать, не хочу ничего хотеть. Если это судьба, а не случай, не будет ни Вашей воли, ни моей, не будет, не должно быть, ни Вас, ни меня. Иначе – все это не имеет никакой цены, никакого смысла. «Милые» мужчины исчисляются сотнями, «милые» женщины – тысячами.

Письмо седьмое
28 июня, ночь.

Друг мой! Ибо я обращаюсь к любящему равнодушию. Хотите услышать правду, правду, которую Вы никогда не услышите от того, кто Вас любит, и еще меньше от того, кто не любит Вас.

Вы недавно сидели за столиком. Вы слушали музыку, стихи, меня. Сейчас я у себя одна – и я думаю. И первая мысль: прежде всего это человек наслаждений. О, не поймите меня превратно: я знаю вес этого слова и самого понятия, и именно потому, что знаю, прихожу в отчаяние, ибо эта болезнь неизлечима. Наслаждение – не: женщины, лошади и другие общие места плоти, но: растение, звук, свет. Всё достигает Вас, но только через кожу, которая у Вас бесконечно глубока и которая, боюсь, заменяет Вам душу. Всё ласкает Вас, гладит, словно ладонью. Мне было бы интересно знать: чем Вы слушаете Бетховена? Не внушайте мне, будто Вы его не любите. Я боюсь слишком окончательной трещины, ибо бетховенское «через страдания

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru – к радости» – мое первое и последнее слово на земле – и на не-земле!

Я люблю ладонь, вся жизнь заключена в ладони, но послушайте: нельзя так – ничего, кроме ладони! И есть нечто лучшее, чем «жизнь»!

А что Вы делаете с твердой открытой верхней частью кисти, с напряженностью пальцев, с упругостью запястья? Любить то, что тепло, гладко и мягко, – невелика заслуга! Лучше уж было бы оставаться в утробе матери.

Вы любите стихи – даже не как цветы, Вы их любите, как духи: наслаждение, без которого можно обойтись. Но расширяют ли они Вашу душу? А боль, что она в Вашей жизни? (В моей – всё.) Мой любимый! Если бы это было в Вашей жизни необратимо, я бы Вам сегодня ничего не говорила, как ничего не говорят поэту, у которого все стихи ничтожны. Но я еще верю в Вас! То, чего я хочу для Вас, – это боль. Не эта грубая боль, что сваливает нас, как удар дубины, и делает нас ослиами или мертвецами, а другая: та, что превращает наши жилы в струны скрипки под смычком! И чтобы Вы подчинились ей всем Вашим существом. Чтобы Вы отдали ей всю Вашу свободу и всё место, занимаемое в Вас наслаждениями, чтобы Вы не сводили с нею счеты словами (вечно мужскими): «больно, я не хочу». Чтобы Вы, который весь – только кожа (а Ваша кожа – глубокая поверхность), в некоторые часы оставались без кожи. С содранной кожей, с незащищенной плотью.

Я не хочу, чтобы Вы, такой.. такой.. такой.. (все прилагательные восхищения, которые Вы отыщете) в искусстве отталкивали от себя что бы то ни было, «потому что это причиняет боль». Это должно причинять боль, иначе «это» – чем бы оно ни было – не есть, не имеет права называться «этим», и оно меньше, чем ничто. Вы не любите (не хотите) Бетховена и отступаете перед Микеланджело – пусть это будет Вашей силой, а не слабостью, отрицание знанием, а не обоими закрытыми глазами и закупоренными ушами – бедный страус в сей пустыне, именуемой – наслаждение! (Ничто мне так не напоминает о наслаждении, как песок, и об ощущении песка, как наслаждение. Сколько бы Вы ни погружались море, в целое море. Вы все равно начнете задыхаться от сухости, бесконечно распыленной, которая никогда не станет целым!)

Ах, мой маленький! Перечисляя Ваши звериные добродетели («Вам так хорошо ведомо чувство холода, жары...»), я забыла одну существенность: чувство страха. Ибо Вы от страха не любите Бетховена, от того же страха, который заставляет волка выть в полнолуние, собаку под звуки рояля.

Я не могу, чтобы Вы были слабым, – потому что я не смогла бы Вас любить. (Любить, презирая, – это для других!)

Будьте слабым в обстоятельствах так называемой частной жизни, но есть жизнь вне обстоятельств, и она не выносит ни слабости, ни частностей. Вспомните, что эпикурейцы из всех искусств жизни лучше всего практиковали искусство умирать. Эпикур обязывает. Будьте...

* * *

Это слово случайно оказалось последним. Не случайно это слово оказалось последним.

* * *

Бесконечно (не по времени, но внутри того, что не имеет времени, того, что не-время) – бесконечно! Вы дали мне все: все мои возможности человеческой нежности, столько печали, столько желаний... Сделайте же так, чтобы Ваша грудь – эта клетка с прутьями – нашими ребрами – заключила в себя и меня; нет, чтобы я там была свободна, нет, – чтобы я потерялась там; расширьте ее, расширьте себя, не для меня: я ничто, но для всего того, что через меня хочет проникнуть в Вас.

Возьми меня с собой в твой глубокий сон, я буду спокойна, возьми только мое сердце. Как я хотела бы однажды («однажды жила-была...» – вся моя жизнь была не чем иным, как ожиданием того, что «однажды жить будет»; то, что «будет», так же маловероятно, как то, чего не было совсем...) Итак, я непременно хочу-понимаешь? – (я – нет: глагол, время, наклонение – так мало мои!) я непременно хочу в какой-нибудь день увидеть тебя спящим – день, который был бы ночью, – иначе это (жажда тебя, спящего. Спящего красавца) будет меня преследовать до самого моего последнего часа.

* * *

Заметка на полях:

(«Надежда крылата». Мои надежды – камни на сердце: желания, у которых не было времени стать надеждами, тотчас, наперед, стали безнадежностями, тяжестью, тягчайшей тяжестью!

Дай мне Бог никогда больше не надеяться для себя!)

Письмо восьмое

2 июля, ночь.

Дорогой друг! Ваше письмо похоже на Вас (я читала его более осмысленно, чем Вы его написали). Это по-прежнему – линия наименьшего сопротивления.

Ваше письмо мне понравилось: за два дня я перечитала его четырежды. Я только хотела узнать одну вещь: Вы писали его для меня или для себя?

...Бросив весла, плывя по течению, на спине. Вашей и волны. Откуда у Вас еще взялись силы держать перо? (Не силы, а побуждение!)

Все места, которые мне не удалось расшифровать с первого взгляда, остались и останутся для меня темными. Утешаю себя тем, что они, вероятно, были наиболее нежными. Напрасно Вы говорите, что «запинались» в Вашем письме. Все вполне гладко, текуще, бегуще. Кто не хочет, тот не запинается. Ничего темного, исключая почерк. И Вы считаете, что Вас уже захлестнула лирическая волна?

Вы любите слова. Вы питаете к ним нежность. Ваша нежность, предназначенная мне, не что иное, как она же, предназначенная им. Не знаю, любите ли Вы глагол, требующий большего, требующий – всего. Но вот в чем я уверена: если Вы меня и любили, то через мои стихи. Другие через меня любили мои стихи. В обоих случаях меня скорее терпели, чем любили. Чтобы быть ясной до конца: во мне всегда было нечто чрезмерное для тех, кто ко мне приближался: «нечто» читайте: огромная половина, вся безмерная я, или, что то же: живая л или живое я моих стихов. Никто не догадывался, что это два лика одной и той же силы, силы, которая могла бы быть тысячекой, но оставалась бы тем не менее единым целым. Но Ваш лоб хмурится – в благородном усилии сосредоточиться – и Ваши челюсти сжимаются в не менее похвальном усилии подавить неумолимую зевоту.

Впрочем, как говорят немцы, «ich schenke es Ihnen» (по-французски: я Вам это прощаю). Подарите мне в награду мундштук, но чтобы это был ни янтарь, ни серебро, ни пенка, ни слононая кость – ничто, что пахло бы вещественностью. Я потеряла свой вчера во время долгой прогулки с Б. Перечень моих просьб удлинится. (Слово женщины-поэта: «Столько просьб у любимой всегда! У разлюбленной просьб не бывает...» На этот раз «столько просьб» – у любящей!)

А вчера я весь вечер защищала Вас, с рыцарским пылом, над которым смеялась сама. Все, в чем Вас обвиняют, верно, но это моя забота, не других – ни у кого, кроме меня, не хватит духа (простодушия!) страдать из-за Вас. «Он заставляет нас попусту терять время!» Меня «он» заставляет терять лучшее.

В Вашем письме есть слова нежности, которые ласкают мое сердце: слова-ладони. Хорошо засыпать с таким письмом. Спасибо.

И слова правоты – в моем: они должны распрямить Ваше сердце: слова-пальмы. Хорошо бодрствовать с таким письмом. Благодарите же.

Пока еще мне Вас не недостает, но я знаю, еще три дня – и мне Вас будет доставать. (У меня свой хронометр отсутствий.) И потом Вы у себя дома, слишком думать о Вас означало бы заставить и Вас подумать обо мне, то есть вдохнуть в Вас свежего воздуха, дать Вам свободу. А я против всякого насилия, даже освободительного.

Но если Вы все-таки думаете обо мне по своей воле, знайте, что Вы меня ниоткуда не уведите, что я уже уведена отовсюду и от самой себя – к единственному, к чему не дойду никогда. (какое малодушие говорить Вам об этом!) И, чтобы быть совсем

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
точной, чтобы не обременять Вас даже тенью ответственности: я рождена уведенной!

Продолжайте писать мне. Второе письмо – испытание. Испытайте себя! На пределе нежности (расточив ее). Это глубоко и точно, но это не все. Ибо, видите ли, лишь когда достигаешь предела (нежности ли, другой ли силы), познаешь ее неисчерпаемость. Чем больше мы даем, тем больше нам остается; как только мы начинаем расточать – оно прибывает! Вскрываем жилы – и вот мы – живой источник.

...Я хотела бы прочитать Ваши стихи. Вы мне дадите их? Я прочту их внимательно и скажу Вам правду. (Правда! Великолепная приманка для любителя и любимого, которые только и существуют тем, что прячут ее от себя. Вот почему он никогда не дал их мне. Заметка на полях.)

Вы, конечно, больше не будете мне писать – ведь у Вас они есть, мои стихи. Вы как ребенок, которого заставляют идти, показывая ему яблоко, – все время показывая, никогда не давая, – как только он его получит, он остановится. У Вас оно есть, яблоко.

Вы больше не будете мне писать: днем – море, а ночью спят.

Когда я уеду – вот и не знаю, что сказать. Я гляжу на Вас через плечо (жест, который Вы мне приписываете, быть может, он и в самом деле мой), – не на Вас, а на самое себя, на такую себя, на себя, которую я вот-вот опережу.

* * *

Мой любимый! Завтра или послезавтра я спрошу у Вас, что Вам, в точности, приснилось в четверть второго ночи сегодня, в воскресенье. Мне приснилось, что Вы умерли.

Вспоминаю Вашу голову: по утрам – выщущую барашком, днем – укрощенную, перечеркнутую пробором; по глубоким вечерам – растрепанную, самую юную. И всю Вашу небрежную нежность. Но не должно слишком думать о Вас.

Спокойной ночи. Если Вы спите спокойно. Вы обязаны этим мне. Я могла бы быть злой, как другие, но тогда это была бы не я, и если бы Вы любили меня под воздействием моей злости, то Вы любили бы не меня. (Смогла ли бы я быть злой, как другие?)

Я всегда предпочитала заставлять спать, а не лишать сна, заставлять есть, а не лишать аппетита, заставлять мыслить, а не лишать рассудка. Я всегда предпочитала давать – избавлять, Давать – получать, давать – иметь.

P.S. (Неожиданная мысль.) Истинный палач, палач средневековья, – тот, кто имел право поцеловать свою жертву, тот, кто. Дарует смерть, а не тот, кто лишает жизни. Это не одно и то же. Подумайте над этим.

Письмо девятое
9 июля, полночь.

От усердия (напряжения) я внезапно и беспробудно заснула. Я подстерегала Ваши шаги, я не хотела бы когда-нибудь признаться себе, что проглядела Вас, – в трижды печальных значениях этого слова: проглядеть свое счастье, проглядеть знаки внимания высочайшей особы, проглядеть, например, матери – своего ребенка, пусть всего однажды – по моей вине. Я растянулась на полу, положив голову на порог балкона, – распласталась на жестком, чтобы не уснуть. Подымаю глаза: две створки двери и все небо. Было много шагов, я вскоре перестала слушать, где-то что-то играло, я почувствовала всю свою низость (низость этих последних дней с Вами – о, без обиды! – я была слаба. Вы были Вы). Знаю, что я не такая, я просто попыталась жить.

Жить – это неудачно кроить и беспрестанно латать, – и ничто не держится (ничто не держит меня, не за что держаться, – простите мне эту печальную, суровую игру слов).

Когда я пытаюсь жить, я чувствую себя бедной маленькой швейкой, которая никогда не может сделать красивую вещь, которая только и делает, что портит и ранит себя, и которая, отбросив все: ножницы, материю, нитки, – принимается петь. У окна, за которым бесконечно идет дождь.

Я все еще полна этим пустым небом. Оно проходило, я оставалась, я знала, что я, прикованная, пройду, что оно, проходящее, будет существовать, пребывать. Небо проходит вечно, непрерывно – надо мной, проходящей непрерывно, вечно. Я – это все те, кто пребыл и увидел так, кто пребудет и увидит так же. Видите, я тоже «вечная».

Я в это утро?.. Я ее даже не знаю. Разве я могу лукавить, хитрить? Я могу лишь кричать: да! – как кричит ребенок: тебе! – раскинуть руки – одну на восток, другую на запад, ни больше, ни меньше... Жизнь, эта насильница душ, заставляет меня играть сей фарс.

Подбирать, ползая на коленках, крошки, оставшиеся от резки?.. Нет, нет и нет. Руки за спину и спина – прямая.

Разве могла бы я – даже ценою царствия небесного! – пойти на это? Друг мой, должно иметь небо и для любви. Другое небо, не постельное. Радужное.

Друг мой, нынче вечером Вы не пришли, потому что Вам нужно было писать письма (Вашим). Это уже не причиняет мне боли. Вы меня к этому приучили, Вы и все, ибо Вы тоже вечны: неисчислимы (как другая я. на земле и на небесах). Все тот же Вы, который никогда не приходит к той самой мне, всё ждущей его.

Когда-нибудь, когда у Вас будет время. Вы перечтете мои записи – не только ради их формул и острот, – когда Вы перечтете их, чтобы найти там живую меня, наша встреча предстанет перед Вами в новом свете.

Люди смотрели на меня со своей колокольни, в то время как я была на своей. Вот почему я никого не сужу.

Если считать Вас близким человеком, Вы заставили меня очень страдать, если же посторонним, – Вы принесли мне только добро. Я никогда не чувствовала Вас ни таким, ни другим, я сражалась в себе за каждого, то есть против каждого.

Все это скоро кончится, я уже чувствую, как оно уходит, чувствую под ресницами, внутри губ. Вы ничего не потеряете, останутся стихи. Жизнь наполнится устройством дел. Вам не придется больше быть распятым между Вашими и «другой» (да простят мне Бог и Ваше чувство меры – от которого я так страдала! – чрезмерность образа).

Милый! В сторону всякие ласковости, любезности, нежности, уменьшительности, уничижительности, – Вы дороги мне. Но – мне просто нечем больше дышать с Вами.

Знаю, что будет час Вашей жизни (когда Вам нечем будет дышать, как зверю, задыхающемуся в собственной шкуре), – когда, презрев все мужские дружбы, женские любви, семейные святыни, – Вы придете ко мне – за своей бессмертной душой.

А теперь – спокойной ночи. Обнимаю Вашу темноволосую голову.

Письмо десятое и последнее, невозвращенное

.....

Письмо одиннадцатое, полученное
29 октября 19...

Вы поймите, дорогая, как мне трудно писать вам, я чувствую себя таким виноватым перед вами, виноватым особенно оттого, что мне не хватает воспитанности, как внутренней, так и обиходной, которую вы так цените. Но что мы – против болезни? Смотрите на меня как на больного, который в течение многих месяцев был погружен в состояние охватившей все его существо прострации и полной глухоты и немоты.

Все оставляло меня безразличным, и никакая сила на свете не могла заставить меня сделать то, что я считал обязательным для себя. В час, когда я вам это пишу, все это уже позади, и я вновь чувствую в себе прилив той особой энергии, которая приходит после болезни. Я очень огорчен, что мое молчание вызвало у вас ошибочные предположения. Спящие не ходят на почту. (Заметка на полях: «Зато в ресторан – сколько угодно!») Прошу вас мне верить.

Я возвращаю вам ваши письма, чтобы вы были абсолютно уверены, что у меня их нет. Я оставил себе лишь одно – последнее, то, которое вы передали мне, когда уезжали. Оно дорого мне как знак, что окончен определенный путь; как последний звук удаляющегося голоса. Но если вы всё же почувствуете беспокойство по поводу этого листка в моих руках, скажите мне, и я вам тотчас же верну его.

Посылаю вам (заказными):

- 1) два пакета писем
- 2) толстую синюю тетрадь
- 3) стихи 19... года
- 4) стихи 19... года
- 5) две записные книжки
- 6) автографы X.
- 7) Buch der Lieder.[60]

Себе я оставляю маленькую книжечку цвета замши, куда вы мне переписали стихи, посвященные мне. Не как документ или сувенир, а просто как кусок жизни, переплетенный в кожу. Если я не имею на это права, если это один из ваших «законов» – а у вас они есть на всё! – скажите мне, я вам ее верну!

Пришлите мне, пожалуйста, и как можно скорее, книгу Б. с посвящением, которую я забыл у вас попросить перед вашим отъездом. Вы знаете, как для меня важны автографы! И, пожалуйста, срочным заказным! Пока ее у меня не будет, я не смогу спать спокойно.

* * *

Если вы мне напишете, я вам незамедлительно отвечу. Я пробудился. У меня не остались в памяти обстоятельства моей частной жизни. Я помню только общечеловеческое. Я помню вас на балконе, с лицом, поднятым к черному небу, равно неумолимому ко всем.

* * *

X. посылает вам дружеский привет и просит вас прислать ему какую-нибудь вещь для его журнала. Что вы пишете нового? Переводите ли «Флорентийские ночи»? Думаете ли вы как-то использовать свои записные книжки? Много ли у вас новых стихов? Пришлите их мне, прошу вас, в память о прошлом. Желая вам всего самого хорошего.

Заметка на полях:

«Все сохранили мои стихи. Все вернули мне мою душу (вернули меня к моей душе)».

* * *

О коже: «кусок жизни, переплетенный в кожу» – отвратительно представить себе это. И к тому же плохо сказано: три слова вместо одного – сердце. (Сердце в коже.) Кроме того – никакого сомнения, что этот мой корреспондент, подобный некоторым другим в аналогичных случаях, был в восторге от самой физической сущности «маленькой книжечки» («толстую синюю тетрадь» он мне действительно вернул!), – замша так же приятна глазу, как и руке, и обонянию.

Вот так даже здесь подтвердилось с почти неожиданным простодушием и почти нечаянной очевидностью это суждение относительно «кожи», что я вынесла о нем.

Последняя из флорентийских ночей
Новогодняя ночь. Бал-маскарад. Залы, гостиные. В одном из них при неярком свете, в удушье обстановки – жалкая, взятая напрокат роскошь! – я без маски, с несколькими знакомыми.

Кружащееся вторжение группы костюмированных, один отделяется от группы, приближается, склоняется в поклоне.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Белый бурнус, тюрбан. Лицо без маски.

– Вы узнаете меня?

– Нет.

– Вглядитесь хорошенько. Возможно ли, чтобы костюм так меня изменил?

(Я «хорошенько вглядываюсь».)

– Неужели вы и впрямь меня не узнаете? (В голосе, сперва радостном, начинают проскальзывать интонации уязвленного самолюбия.)

Лицо молодое, довольно приятное. Темная шевелюра.

Я, робко:

– Да, да; сейчас мне кажется, что я действительно видела вас, может быть, когда-нибудь где-то... Скорее слышала... мне кажется, что ваш голос мне... (Он все смотрит.) Нет, нет, решительно я вас вижу впервые!

Кругом смех, полувосхищенный, полуудивленный, восклицания и за всем этим шумом – четко:

– Такой-то.

– Вы? Боже! Простите меня, ради Бога, но я так плохо вижу, и у меня плохая зрительная память, и мы так давно не виделись, и тогда у вас были усы.

– Усы, у меня? Да я никогда в жизни не носил усов!

– Быть того не может. Я очень хорошо помню: маленькие, щеточкой усики.

– Но уверяю вас, клянусь, что никогда в жизни... Вмешиваются другие:

– Мадам, вы ошибаетесь, вы его путаете с кем-то другим, это и впрямь так: он никогда не носил усов!

– Странно. Я отлично помню. Маленькие, щеточкой.

Он, в отчаянии:

– Маленькие ли, большие, щеточкой или а-ля Гийом, я никогда не носил усов!

Я, разжалобленная неподдельным огорчением, причиненным мной, – этому незнакомцу:

– Ах нет! Успокойтесь! Я верю вам! Но – все-таки странно: я отлично помню: маленькие черные усики. А, погодите, погодите, не в очках ли дело? Конечно, была одна вещь, теперь ее нет – очки, а маленькая щеточка усов – это были брови. (Как бы сравнивая): Большие брови. Да, в этом, конечно, дело. Но все-таки странно – я отлично помню...

– В самом деле странно. Удаляется, уязвленный.

* * *

Положа руку на сердце: узнала ли я его, да или нет? действительно ли до такой степени безвозвратности я его не узнала?

В первый миг – да (то есть нет), во второй – что-то пронзило, в третий – я уже знала (узнала) голос, не лицо, которое я, впрочем, никогда не узнавала, но, воспользовавшись истинностью моего первого «нет», уже закусив удила, продолжала не узнавать до конца.

* * *

С тех пор больше ни одного слова. Время от времени я слышу о нем – все одно и то же: дела идут плохо, сын растет.

* * *

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
А усы? Что касается усов, то я ничуть не лукавила. Я не только о них помнила, но как только он назвал себя, я увидела их и увидела, что их не хватает. И эти «щеточки бровей» тоже не были шутливой выдумкой. Видишь нечто поверх чего-то. Но пара ли это усов над парой губ или пара бровей над парой очков – это деталь, знать которую не мое дело, а его. Пусть удовольствуется «щеточкой».

Надо ли добавлять, что он никогда не носил очков?

Послесловие, или посмертный лик вещей

Мое полное забвение и мое абсолютное незнание сегодня – не что иное, как твое абсолютное присутствие и мое полное поглощение вчера. Насколько ты был – настолько тебя больше нет. Абсолютное присутствие наоборот. Абсолютное может быть только абсолютным.

Подобное присутствие может стать лишь таким же отсутствием. Всё – вчера, ничего – сегодня.

Мое полное забвение и абсолютное незнание – только эхо (усиленное!) Вашего забвения и Вашего незнания независимо от того, узнаете Вы меня на улице или нет, интересуетесь новостями обо мне или нет.

Если Вы не забыли меня, как я забыла Вас, то лишь оттого, что Вы никогда не болели мною так, как я болела Вами. Если Вы меня не забыли абсолютно, – это оттого, что в Вас ничто не может быть абсолютным, даже безразличие. Я кончила тем, что не узнала Вас, Вы же никогда и не начинали узнавать меня. Если я кончила тем, что предала Вас забвению, то в Вас никогда не было меня настолько, чтобы Вы могли забыть меня. Что значит забыть кого-то? Это значит забыть, что мы страдали им.

Для того чтобы я, еще вчера не знавшая ничего другого, кроме Вас, могла сегодня не узнать Вас, нужно было именно, чтобы вчера я не знала ничего другого, кроме Вас. Мое забвение Вас – не что иное, как еще один титул благородства. Удостоверение Вашей ВЕЛИЧИНЫ в прошлом.

Посмертная мсть? Нет. В любом случае – не моя. Что-то (очень значительное!) мстит за меня и через меня. Вы хотите знать этому имя, которое я пока еще не знаю? Любовь? Нет. Дружба? Тоже нет, но совсем близко: душа. Раненная во мне и во всех других женщинах душа. Раненная Вами и всеми другими мужчинами, вечно ранимая, вечно возрождающаяся и в конце концов – неуязвимая.

Неизлечимая неуязвимость.

Это она мстит, покинув Вас, в ком она обитала и кого обнимала собою, больше чем море объемлет берег, – и вот Вы нагой, как пляж с останками моего прилива: сабо, доски, пробки, обломки, ракушки – мои стихи, с которыми Вы играли, как ребенок, – а Вы и есть ребенок, – это она мстит, ослепив меня. до такой степени, что я забыла Ваши видимые черты, и явив мне подлинные, которые я никогда не любила.

<1932>

Письмо к Амазонке

Перевод с французского К. М. Азадовского.

Я прочла вашу книгу. Вы близки мне как все пишущие женщины. Не смущайтесь этим «все»: пишут не все – пишут лишь немногие женщины.

Итак, Вы близки мне как всякое неповторимое существо, особенно – неповторимое существо женского пола.

Я думаю о Вас с того дня, как увидела Вас – уже месяц? Когда я была молода я всегда торопилась высказаться, я боялась упустить волну, исходящую от меня и меня уносящую к другому, я боялась, что больше не полюблю: ничего больше не узнаю. Но я уже не молода и научилась упускать почти все – безвозвратно.

Уметь все сказать – и не разжать губ. Все уметь дать – и не разжать руки. Это – отказ, который Вы называете буржуазной добродетелью и который – чем бы он ни

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru казался: пусть добродетелью, пусть буржуазной – является главной движущей силой моих поступков. Силой? – Отказ? Да, потому что подавление энергии требует бесконечно большего усилия, чем ее свободное проявление – для которого вообще не нужно усилий. В этом смысле любая естественная деятельность пассивна, подобно тому как любая усвоенная пассивность активна (излияние – непротивление, подавление – действие). Что трудней: сдержать лошадь или пустить ее вскачь? И – поскольку лошадь, которую мы сдерживаем, – мы сами, – что мучительней: держать себя в узде или разнуздать свои силы? Дышать или не дышать? Помните эту детскую игру: честь победы принадлежала тому, кто мог дольше всех пробыть в сундуке, не задохнувшись. Жестокая и совсем не буржуазная игра. Действовать? Дать себе волю. Всякий раз, когда я отказываюсь, я чувствую, как внутри меня содрогается земля. Содрогающаяся земля – это я. Отказ? Застывшая борьба.

Мой отказ называется еще так: не снисходи – ничего не оспаривай у существующего порядка. Существующий порядок в нашем случае? Прочитать Вашу книгу, поблагодарить Вас за нее пустыми словами, Вас видеть время от времени «улыбающейся, чтобы скрыть улыбку», – делать вид, будто Вы ничего не написали, а я ничего не читала: будто ничего не было.

Я бы это смогла, могу еще и теперь, но на этот раз – не хочу.

Послушайте, Вы не должны отвечать мне, Вы должны меня только выслушать. Я наносу Вам рану – в самое сердце, в сердцевину Вашего дела, Вашего тела, Вашей веры, Вашего сердца.

* * *

В Вашей книге есть просчет – единственный, огромный – сознательный или нет? Я не верю в бессознательность мыслящих существ, еще меньше – мыслящих и пишущих существ, я не верю вовсе – в бессознательность пишущих женщин.

Этот просчет, этот пробел, это черное зияние – Ребенок.

Вы постоянно к нему возвращаетесь, воздавая ему должное лишь частым упоминанием. Вы распыляете его здесь, там, снова там, лишая его цельности того единственного крика, которым Вы обязаны только ему.

Того самого крика – неужели Вы его никогда, по меньшей мере, не слышали? – Если б я могла иметь от тебя ребенка!

Или этой ревности, жестокой и единственной в своем роде, что неумолима, ибо неисцелима и несравнима с другой, «нормальной», несравнима даже с материнской ревностью? Этой ревности, предвидящей неизбежность разрыва, этих глаз, широко открытых навстречу ребенку, которого она однажды захочет, а Вы, любимая, ей не сможете его дать. Глаз, прикованных к будущему ребенку.

«У любящих нет детей». Да, но они умирают. Все. Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Ахилл и Амазонка, Зигфрид и Брунхильда (эти всемогущие любовники, эти разъединенно-соединенные пары, чья любовная разлука выше, чем самый прекрасный союз...) И другие... другие... Из всех песен, всех времен, всех земель... У них нет времени для будущего, которое – ребенок, у них нет ребенка, ибо нет будущего, у них одно настоящее – их любовь и всегда стоящая рядом смерть. Они умирают – или их любовь умирает (перерождается в дружбу, материнство: старая Бавкида со своим старым филимоном, старая Пульхерия со своим стариком-ребенком Афанасием – столь же мерзкие, сколь и трогательные пары).

Любовь сама по себе – детство. Любящие – дети. У детей никогда не бывает детей.

Или – как Дафнис и Хлоя – мы больше о них ничего не знаем: даже продолжая жить, они умирают в нас, для нас.

Жить любовью нельзя. Единственное, что продолжает жить, когда любви уже нет, – Ребенок.

* * *

А этот крик, другой, – неужели Вы его тоже никогда не слышали? Как бы я хотела ребенка – без мужчины! Мечтательный вздох молодой девушки, простодушный вздох старой девы и даже – изредка – безнадежный вздох женщины: Как бы я хотела ребенка – единственно моего!

И вот этой мечтательной молодой девушке, не желающей в своем теле чужого, не желающей ни его, ни своего, желающей лишь моего, встречается на повороте дороги «она», другая «я»: ее не надо бояться и не надо от нее защищаться, ведь эта «другая» не может причинить ей боли, ибо невозможно (по крайней мере, в молодости) причинить боль самому себе. Эта уверенность – из самых зыбких: она пошатнется под первым недоверчивым взглядом подруги и рухнет под напором ее великой ненависти.

Но не будем забегать вперед: пока еще она счастлива и свободна, свободна, чтобы любить сердцем, без тела, без страха, любить любовью, не причиняющей боли.

А когда боль совершилась – она обнаружит, что это вовсе не боль. Боль – это: стыд, сожаление, угрызение <сїс!> совести, отвращение. Причинить боль означает изменить своей душе с мужчиной, изменить своему детству с врагом. Но не враг ей та, ведь это все еще «я», новая «я», спавшая в моих глубинах и разбуженная этой другой «я», там, до меня, проступившая теперь наружу и, наконец, любимая. Ей не надо было отречься от самой себя, чтобы стать женщиной, ей надо было лишь расковать себя (вплоть до самых недр своего существа), лишь разрешить себе быть. Ни раны, ни надрыва, ни бесчестья.

И это слово – итог: О, я! О, моя любимая я!

– О, она никогда не бросит ее от стыда или отвращения.

Но из-за другой (ради другой) причины.

* * *

Вначале это нечто вроде шутки. – Какой прелестный ребенок! – Ты хотела бы такого же? – Да. Нет. От тебя – да. Но... это так, в шутку.

В другой раз – вздох. – Как бы я хотела... – Чего же? – Ничего. – Нет, нет, я знаю... – Ну раз ты знаешь. Но только – от тебя... Молчание.

– Ты все еще об этом думаешь? – Раз уж ты сказала... Но это ты сказала...

У нее есть все, но слишком многое, даже все, что она могла бы дать, остается при ней. – «Я хотела б любить тебя маленькой». – Точно так же женщина говорит:

– я хотела б любить тебя маленьким. Другая ты. Еще одна ты. Мною созданная – ты ребенок.

И, наконец, – крик – отчаянный, обнаженный, неотвратимый:

– Ребенка от тебя!

* * *

Тот, кто никогда не придет. Тот, о чьем появлении даже нельзя молить. Можно просить у Богоматери ребенка от возлюбленного, можно просить у Богоматери ребенка от старика – не справедливости – чуда, но о безумьи не просят. Союз, где ребенок исключен начисто. Порядок вещей, предполагающий отсутствие (невозможность) ребенка. Немыслимо. Все, кроме ребенка.словно тот обед короля и дворянина: все, кроме хлеба. Великого насущного хлеба – женского.

* * *

Ребенок – постоянное и отчаянное желание одной из них – той, что младше и более она. Старшей ребенок не нужен, у нее есть подруга для ее материнского чувства. Ты – моя подруга, мой Бог, мое все.

Но подруга не хочет быть любимой как ребенок. Любить ребенка – вот, чего она хочет.

И та, что начала с нежелания иметь ребенка от него, кончит желанием иметь ребенка от нее. И оттого, что этого не может быть, она однажды уйдет, продолжая любить, но гонимая ясной и бессильной ревностью своей подруги, и настанет день, когда она, никому не нужная, рухнет в объятия первого встречного.

* * *

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
(Мой ребенок, моя подруга, мое все и – Ваше гениальное слово, мадам, мой женский побратим, – никогда: сестра. Должно быть, слово «сестра» их пугает, как будто оно может насильно вернуть их в тот мир, откуда они ушли навсегда.)

Вначале старшая боится этого больше, чем другая этого хочет. Можно сказать, что именно старшая доводит ее до отчаяния, превращая улыбку в стон, стон – в желание, желание – в наваждение. Наваждение младшей создается наваждением старшей. – Ты уйдешь, ты уйдешь, ты уйдешь. Ты хочешь его от меня, ты захочешь его от первого встречного... Ты все еще думаешь об этом... Ты посмотрела на этого мужчину. Не правда ли, прекрасный отец для твоего ребенка! Оставь меня, раз я не могу тебе его дать...

* * *

Наши опасения – побуждение, наши страхи – внушение, наши наваждения – воплощение. Младшая вынуждена это скрывать, но постоянно думает об одном и том же. Она не отводит глаз от молодых женщин с полными руками. Подумать только: у меня никогда его не будет из-за того, что никогда, никогда, никогда я ее не брошу. (В этот миг она ее бросает.)

* * *

Ребенок – неподвижная точка, от которой отныне она не сможет оторвать глаз. Подавленный в ней ребенок вновь всплывает на поверхность ее глаз<,> как утопленник. Надо быть слепым, чтобы его не увидеть в них.

И та, что начала с желания иметь ребенка от нее, кончит желанием иметь ребенка безразлично от кого: даже от него – <sic!> ненавистного. Из гонителя он превратится в спасителя. А Подруга – в Недруга. И ветер возвращается на круги своя...

* * *

Ребенок зачинается в нас задолго до своего начала. Есть беременности, что длятся годами надежд, вечностями отчаянья.

* * *

А все подруги выходят замуж. И мужья у этих подруг такие веселые, открытые, понятные... Подумать только: я тоже...

Замурована.

Погребена заживо.

* * *

А другая не унимается. Намеки, упреки, подозрения. Младшая: Разве ты меня больше не любишь? – Я люблю тебя, но – ведь ты все равно уйдешь.

Ты уйдешь, ты уйдешь, ты уйдешь.

* * *

Прежде чем уйти, она захочет умереть. И вот, совсем уже омертвевшая, ничего не зная, не затевая, не задумывая, тройным и чистым инстинктом жизни (молодость, время, лоно) она обнаружит, что впервые не придя в назначенный час на свиданье, она смеется и шутит на другом конце города – и жизни – неизвестно с кем – с мужем одной из ее подруг или подчиненным отца, с кем угодно, только б это была не она.

Мужчина после женщины, какая простота, какая доброта, какая откровенность! Какая свобода! Какая чистота! <sic!>

* * *

Потом будет конец. Первый возлюбленный? Черета возлюбленных? Постоянный муж?

Это будет Ребенок.

* * *

Я опускаю исключительный случай: женщина без материнского инстинкта.

Я опускаю также банальный случай: девушка, развращенная модой или собственной чувственностью: живущее ради удовольствия и недостойное внимания существо.

я опускаю также редкий случай неприкаянной души – той, что и в любви ищет душу, то есть предназначена женщине.

И жрицу любви – ту, что ищет в любви одной любви и берет ее там, где находит.

И медицинский случай.

Я беру нормальный случай, обыкновенный жизненный случай, когда юное женское существо, опасаясь мужчины, устремляется к другой женщине, но хочет ребенка. Оказавшись меж ним, который ей чужд, безразличен, даже враг, но помогает ей раскрыть свое начало, и возлюбленной, которая его подавляет, она кончает тем, что выбирает врага.

Та, что желает иметь ребенка больше, чем любить.

Та, что любит своего ребенка больше, чем свою любовь.

* * *

Ибо Ребенок – это нечто врожденное, он присутствует в нас еще до любви, до возлюбленного. Это его воля к существованию заставляет нас раскрывать объятья. Молодая девушка – я говорю о тех, чья родина – Север, – всегда слишком юна для того, чтобы любить, но никогда – для того, чтобы иметь ребенка. Она мечтает об этом уже в тринадцать лет.

Нечто врожденное, что нам должно быть дано. Одни начинают с любви к тому, кто им это дает, другие кончают любовью к нему, третьи кончают тем, что ему подчиняются, четвертые – тем, что не хотят ему более подчиняться.

Нечто врожденное, что нам должно быть дано. Тот, кто нам этого не дает, отнимает это у нас.

* * *

И вот мы застаем ее вновь, с полными руками и ненавистью в сердце – к той, которую отныне она будет звать «ошибкой молодости». Неблагодарная, как все, кто больше не любит, несправедливая, как все, кто продолжает любить.

* * *

Этим ее больше не обольстишь.

* * *

Не сердитесь на меня. Я отвечаю Амазонке, а не белому женскому призраку, которому от меня ничего не надо. Не той, что дала мне книгу, – той, что ее написала.

Если бы Вы ни разу не упомянули о ребенке, я признала бы, что это сознательное упущение, последний отказ – через умолчание, шрам, который я не могла бы не чтить. Но Вы все время к этому возвращаетесь, Вы бросаетесь этим, словно мячом: «По какому праву женщины созидают и уничтожают жизнь? Два ребенка – две оплошности» и т. д.

* * *

Вот единственная погрешность, единственное уязвимое место, брешь в том прекрасном целом, какое являют собой две любящие друг друга женщины. Не влечение к мужчине, а желанье ребенка – вот чему невозможно противиться

* * *

Единственное слабое место, из-за которого все рушится. Единственное уязвимое место, брешь, через которую проникает вражеский корпус. Даже если однажды мы сможем иметь ребенка без него, мы никогда не сможем иметь ребенка от нее, маленькое подобие тебя, любимая.

И даже если чудо оказалось возможным, откройте глаза и взгляните: две матери.

* * *

(Приемная дочь? Ни моя, ни твоя? И, вдобавок, у двух матерей? Пусть уж природа делает свое дело.)

Ребенок: единственное уязвимое место, из-за которого все рухнет. Единственное, что спасает мужчину. И – человечество.

* * *

Слишком цельная цельность. Слишком единое единство. («Двое могут стать лишь одним». Нет – двое могут стать тремя.) Путь, который никуда не ведет. Тупик. Вернемся обратно.

* * *

И какой бы ты ни была красавицей, какой бы ни была Единственной – первое же ничтожество возьмет над тобой верх. Ничтожество будут славословить. А ты останешься проклятой.

* * *

Но ведь это тот же случай, когда нельзя иметь ребенка от этого мужчины. Разве это причина, чтобы его бросить?

Исключительный случай не следует уподоблять закону без исключения. Ибо в каждом случае любви между женщинами осуждению подвергается весь пол, весь род, все племя.

Оставить бесплодного мужчину ради его плодотворящего брата совсем не то, что оставить вечную бесплодность ради вечно плодотворящего врага. Там я прощаюсь лишь с одним мужчиной, здесь я прощаюсь с целым племенем, целым полом, всеми женщинами в одной.

Сменить объект: Сменить берег и мир.

* * *

О, я знаю, это длится иногда до самой смерти. Умилительное и устрашающее <sic!> видение: дикий крымский берег, две женщины, уже немолодые, всю жизнь прожившие вместе. Одна из них – сестра великого славянского мыслителя, которого сейчас так много читают во Франции. Тот же ясный лоб, те же яростные глаза, те же мясистые обнаженные губы. Но вокруг них обеих была пустота, большая, чем вокруг «нормальной» пожилой и бездетной пары, более отчуждающая, более опустошительная пустота.

Вот, вот почему – проклятый пол.

* * *

И, быть может, ужас этого проклятья заставляет младшую, если она глубока, уйти от другой.

«Что скажут люди» – ничего не значит, не должно значить, ведь что бы люди ни сказали, они скажут дурное, что бы ни видели – увидят дурное. Дурной глаз зависти, любопытства, безразличия. Нечего сказать людям, им, погрязшим в грехе.

Бог? Раз и навсегда: до плотской любви Богу вообще нет дела. Его имя, поставленное рядом с любимым именем – неважно каким, мужским или женским – или противопоставленное ему, звучит святотатственно. Есть несоизмеримые вещи: Христос и плотская любовь. Богу нет дела до всех этих напастей, он может разве что излечить нас от них. Он ведь сказал, раз и навсегда: Любите меня, Вечного. Все, кроме этого, – суета. Однообразная неотвратимая суета. Уже одним тем, что я люблю человека этой любовью, я предаю Того, кто умер за меня и других на кресте другой любви.

Церковь и Государство? Не посмеют сказать ни слова, покуда не перестанут толкать и благословлять на убийство тысячи молодых людей.

Но что скажет, что говорит об этом природа – единственная мстительница и заступница за наши физические отклонения. Природа говорит: нет. Запрещая нам это, она защищает себя. Бог, запрещая нам что-либо, делает это из любви к нам, природа, запрещая нам что-либо, делает это из любви к себе, из ненависти ко всему, что не есть она. Природа ненавидит и монастырь, и остров, к которому прибило голову Орфея. Ее месть – наша гибель. Правда, в монастыре есть Бог, чтобы нам помочь, там, на острове – море, чтобы в нем утонуть.

Остров – часть земли, которой нет, земля, которую не дано покинуть, земля, которую надо любить, раз уж к ней присужден. Место, откуда видно все, откуда нельзя ничего.

Земля, которую можно пересчитать шагами. Тупик.

Великая страдальца – та, что была великой поэтессой, – удачно выбрала место своего рождения.

* * *

Братство прокаженных.

* * *

Вне естества. Но все же как получается, что молодая девушка, это естественное существо, так самозабвенно, так доверчиво сбивается вдруг с пути?

Это сети души. Попадая в объятия старшей подруги, она попадает не в сети природы, не в сети возлюбленной, которую слишком часто считают обольстительницей, охотницей, хищницей и даже вампиром, тогда как, почти всегда, она – лишь горестное и благородное существо, и все ее преступление заключается в том, что она многое «предугадывает» и, скажем сразу же, предугадывает разлуку – молодая девушка попадает в сети души.

Она хочет любить – но... Она горячо любила бы, если бы... и вот, в объятиях другой, она склоняет голову на ее груди – там, где обитает душа.

Оттолкнуть ее? Спросим у мужчин, молодых старых.

* * *

..Потом – встреча. Неожиданная и неизбежная. Ибо – хотя живут они отныне в разных мирах – земля все равно одна: по которой ходят.

Удар в сердце, прилив и отлив крови. И первое и последнее оружие женщин – то, которым обезоруживают, надеются обезоружить даже смерть, – их жалкое последнее мужество – живое и сразу красное лезвие – улыбка. Потом – слабый и бессвязный поток слогов, захлестывающих друг друга, – точно мелкая рябь воды поверх камней (зубов). Что она сказала? Ничего, ибо другая ничего не услышала, – ведь обычно мы ничего не слышим при первых словах. Но вот другая, оторвав глаза от движущихся губ, догадывается, что в их движении есть какой-то смысл: ...десять месяцев... любовь... он предпочитает меня всем другим... у него вес в обществе... (Вот тебе, вот тебе и еще раз вот тебе – за все, что ты мне сделала:) Я же сказала – у него вес... (больше, чем вся земля, чем все море на сердце у старшей подруги).

Какая жажда мести! А в глазах – какая ненависть! Ненависть рабыни, отпущенной наконец на волю. Жажда наступить ногой на сердце.

И вот слабый поток окончательно прегражден – колыханья волн, медленные, певучие, хрустальные: – Вы, может быть, навестите меня, навестите нас, меня и моего мужа...

* * *

Она ничего не забыла. Напротив: она слишком многое помнит.

* * *

Потом будет купание – ежедневное священнодействие.

Торжество мужского начала, явное и почти непристойное.

Потому что – сын, сразу же сын, всегда сын, как будто природа, торопясь снова вступить в свои права, не теряет времени на обходной путь – девочку. Не маленькая ты, желанная и невозможная, – маленький он, тот, кого и следовало ожидать, пришедший без зова, по заказу, простой результат (грандиозная цель!).

Другая, цепляясь за последнюю надежду или просто не зная, что сказать:

– Он похож на тебя. – Нет (сухо и отчетливо). Имя, сухо и отчетливо. И последний укол – должно быть с ним (на него) и уходит остаток того великого яда, которому имя любовь.

– Он похож на отца. Вылитый портрет моего мужа. – В этой мести – намеренная низость. Она выбирает слова, которые – она это знает – будут самыми обидными, самыми пошлыми, из всех – самыми (видишь, какую ты любила заурядность!). Расчет или инстинкт? Все это у нее получается само собой, она обнаруживает, что произносит слова (как некогда, уже давно, обнаружила, что смеется...). Потом, когда обряд закончен, Моисей спасен и укутан, она дает ему грудь и – высшая месть, – опустив ресницы, она, кормящая, выжидает, не появится ли завистливый блеск в слезящихся от умиления глазах старшей. Ибо есть в душе любой женщины, если только она не чудовище, ибо есть в душе любого чудовища:, ибо среди женщин не бывает чудовищ.

Этот блеск, эта улыбка – она их знает, однако по той либо другой причине – она не поднимает глаз.

Если мужчина умен, он ни за что не спросит ее: «О чем ты думаешь?»

Может быть, когда другая уйдет, она захочет размозжить себе голову.

Может быть, когда другая уйдет, она не захочет его поцелуев.

Если мужчина умен, он не обнимет ее сразу же, он подождет – прежде чем обнять, – пока другая не уйдет – окончательно.

* * *

(Зачем она приходила? Чтобы причинить себе боль. Единственное, что нам порой остается.)

* * *

Потом – другая встреча, встреча – месть, отплата.

Та же земля (иное не заслуживает упоминанья, ибо все, что происходит, происходит внутри).

Те же зрители и слушатели. (Последняя месть природы: за то, что они не стали слишком друг для друга слишком одинокими, слишком одними, слишком всем, они отныне будут видеться только при всех и вся.)

То же время: вечность юности, пока она есть.

– Погляди, не твоя ли это подруга? – Где? – Вон там, с брюнеткой в голубом платье.

Она знает, еще не видя.

И вот человеческая волна, более бесчеловечная и неотвратимая, чем морская, влечет ее, влечет к ней.

На этот раз начинает старшая: – Как вы живете? (И не дождавшись, не слыша) – Позвольте представить Вам мою подругу, мадемуазель такая-то... (имя).

Если та, прежняя, вся кровь которой вмиг отхлынет от ее нарумяненных щек, «была» блондинкой, – новая, ее заменившая, будет неизбежно брюнеткой. Сама хрупкость – сама сила. Верность после смерти? Желание окончательной смерти? Последний удар по воспоминаниям? Или наоборот? Ненависть к светлому цвету? Попытка убить светлое темным? Это закон. Почему – спросите у мужчин.

Есть взгляды, которые убивают. Но не в этот раз, потому что брюнетка удаляется, жизнерадостная, в объятьях старшей – любимой. Обвив ее голубыми волнами своего длинного платья, что въявь воздвигают меж остающейся и уходящей всю безвозвратность морей.

* * *

Ночью, склонясь над спящим, обожаемым: Ах, Жан, если б ты знал, если б ты знал, если б ты знал...

Не тогда, не в день его рожденья, а сегодня, три года спустя, она поняла, чего он ей стоил.

* * *

Пока Другая не состарится, ее всегда будет сопровождать живая тень.

Брюнетка изменится: станет блондинкой или рыжей. Брюнетка уйдет, как ушла блондинка. Как уходят все женщины навстречу своей неведомой цели, – всегда одной и той же, – задерживаясь на миг, чтобы отдохнуть под деревом, которое никогда не уйдет.

* * *

Они все – пройдут. Они все прошли бы через это, если бы... Но вечной юности не дано никому.

* * *

Другая! Подумаем о ней. Остров. Вечное одиночество. Мать, теряющая своих дочерей, одну за другой, теряющая их навечно, ибо они не только никогда не придут к ней со своими детьми, чтобы дать их ей на руки, но, заметив ее на уличном перекрестке, украдкой осенят крестным знамением свою белокурую голову. Ниобея с женским потомством, погубленная этим другим охотником, по-другому свирепым. Всегда проигрывающая в единственно стоящей и существующей игре. Опозоренная. Изгнанная. Проклятая. Белый бестелесный призрак, чью породу мы распознаем лишь по взгляду, понимающему и опознающему, – в нем оценщик уживается с идолопоклонником, игрок в шахматы со вкусившим блаженства; это взгляд, где несколько уровней глубины и последний всегда оказывается предпоследним, бесконечный и бездонный, – здесь бессильны любые определения, ибо это бездна – невыразимый взгляд, обесцвеченный зимней улыбкой отказа.

Когда они молоды, их узнают по улыбке, когда они старятся – из-за улыбки их не хотят знать.

Молоды они или стары – обликом своим эти женщины всего более подобны душа. Все другие, чье обличье – тело, не – это, не несут в себе это или несут мимолетно.

Она живет на острове. Она создает остров. Она сама – остров. Остров, населенный множеством душ. Кто знает, быть может, в этот самый момент, где-то там, в Индии, на краю земли... молодая девушка, перевязывая свои темные волосы...

«Кто знает» – обнадеживает.

И значит – всего надежней.

* * *

Она умрет одна, ибо слишком горда, чтобы любить собаку, слишком многое помнит, чтобы взять чужого ребенка. Она не хочет возле себя ни животных, ни сирот, ни дамы-компаньонки. Она не хочет даже девушки-компаньонки. Царь Давид, что грелся обездушенной теплотой Ависаги, был низок и груб. Она не хочет ни теплоты в награду, ни улыбки в долг. Она не хочет быть ни вампиром, ни бабушкой. Хорошо мужчине, – он довольствуется в старости жалкими остатками, движеньями, скользкими к другим телам, касаньями, бегущими к другим рукам, улыбкам, летящим к другим устам, – выкраденными, вымученными, выхваченными наудачу. «Проходите, девушки, проходите...» Она никогда не будет бедной родственницей на празднике чужой юности. Ничто ей не заменит любви – ни дружба, ни уважение, ни набожность, ни та, другая пропасть – наша собственная доброта. Она не отречется от ослепительной черноты, от черного обугленного отверстия – круга – магического, но иначе, чем твой круг, фауст! – от огня былой радости. Она устоит против всех весен (ваших двадцати лет).

Даже если какая-нибудь девушка к ней бросится, подобно тому, как ребенок бросается к прохожему или стене: прохожий – она отступит в сторону, стена – останется непоколебимой. Неистово любившая, она в старости останется чистой – из гордости. Всю жизнь пугавшая, она не захочет более пугать таким способом. Та, что в юности была одержима любовью, не станет ламией в старости.

Доброжелательность – снисходительность – отрешенность.

«Проходите, прекрасные и безумные...»

* * *

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Где размыло время, как рекою,
Стены погребов пороховых,
Девушки, свой свет прикрыв рукою,
Проходите мимо них.

* * *

И все равно – он; в ореоле законной славы всего их светлого цвета, уже потускневшего, проходит он. А вокруг нее – дымка ужаса.

То, что не смогли сделать с ней, с ее роковым природным влечением, ни Бог, ни мужчины, ни ее собственное сострадание, – делает ее гордость. Лишь гордость одолеет ее. Настолько, что девушка – вечная юность, – оробевшая прильнет к своей матери: – Эта дама внушает мне страх. У нее такой суровый вид. Чем я ей не угодила?..

А другая, когда мать подведет ее к ней («даме»), – кто знает зачем? – услышит голос, надтреснутый от подавленного волнения: – Ваша мать сказала мне, что у Вас склонность к живописи. Следует развивать свое дарование, мадмуазель...

Она никогда не будет пудриться, краситься, молодиться, она не прибегнет к фальши и гриму, она оставит это «нормальным» старухам, что в шестьдесят лет, на глазах у всех, с благословения священника, законным образом выходят замуж за двадцатилетних. Она оставит это сестрам Цезаря.

* * *

Роковое и естественное влечение горы к долине, потока – к озеру.

Когда приближается вечер, гора начинает течь к вершине. Когда наступает вечер, она сливается с вершиной. Как будто ее потоки несут ее вспять. Когда наступает вечер, гора себя поглощает.

* * *

..И однажды та, что была некогда младшей, узнает, что где-то, на другом конце той же земли, умерла старшая. Сперва она захочет написать, чтобы убедиться. Но время помчится – письмо не сдвинется с места. Желание останется желанием. «Я хочу знать» превратится в «я хотела бы», потом – в «я не хотела бы». – Зачем, ведь она умерла? Ведь я тоже умру когда-нибудь...

И решительно, со всей правдивостью безразличья:

– Ведь она умерла во мне – для меня – уже двадцать лет назад?

Не нужно умирать, чтобы быть мертвым.

* * *

Остров. Вершина. Одиночество.

* * *

Плакучая ива! Пониклая ива! Ива – тело и душа женщин. Пониклая шея ивы. Седые волосы, разметанные по лицу, чтобы ничего больше не видеть. Седые волосы, метущие лицо земли.

Вода, воздух, горы, деревья даны нам, чтобы понимать душу людей, столь глубоко сокрытую. Когда я вижу, как печалится ива, я понимаю Сафо.

Кламар,

ноябрь–декабрь 1932

(переписала и перечитала в ноябре 1934, еще чуть более поседевшая. МЦ).

Пушкин и Пугачев

I

Есть магические слова, магические вне смысла, одним уже звучанием своим – физически–магические – слова, которые, до того как сказали – уже значат, слова – самознаки и самосмыслы, не нуждающиеся в разуме, а только в слухе, слова звериного, детского, сновиденного языка.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Возможно, что они в жизни у каждого – свои.

Таким словом в моей жизни было и осталось – Вожатый.

Если бы меня, семилетнюю, среди седьмого сна, спросили:

«Как называется та вещь, где Савельич, и поручик Гринев, и царица Екатерина Вторая?» – я бы сразу ответила: «Вожатый». И сейчас вся «Капитанская дочка» для меня есть – то и называется – так.

Странно, что я в детстве, да и в жизни, такая несообразительная, недогадливая, которую так легко можно было обмануть, здесь сразу догадалась, как только среди мутного кручения метели что-то зачернелось – сразу насторожилась, зная, зная, зная, что не «пень иль волк», а то самое.

И когда незнакомый предмет стал к нам подвигаться и через две минуты стал человеком – я уже знала, что это не «добрый человек», как назвал его ямщик, а лихой человек, страх-человек, тот человек.

Незнакомый предмет был – весьма знакомый предмет.

Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою огромную семилетнюю жизнь.

Это было то, что ждет нас на каждом повороте дороги и коридора, из-за каждого куста леса и каждого угла улицы – чудо – в которое ребенок и поэт попадают как домой, то единственное домой, нам данное и за которое мы отдаем – все родные дома!

И когда знаемый из всех русских и нерусских сказок и самой *Marchen unseres Lebens und wesens*[61] незнакомый предмет вдобавок еще оказался Вожатым, дело было сделано: душа была взята: отдана.

О, я сразу в Вожатого влюбилась, с той минуты сна, когда самозванный отец, то есть чернородый мужик, оказавшийся на постели вместо Гриневского отца, поглядел на меня веселыми глазами. И когда мужик, выхватив топор, стал махать им вправо и влево, я знала, что я, то есть Гринев, уцелею, и если боялась, то именно как во сне, услаждаясь безнаказанностью страха, возможностью весь страх, безнаказанно, до самого дна, пройти. (Так во сне нарочно замедляешь шаг, дразня убийцу, зная, что в последнюю секунду – полетишь.) И когда страшный мужик ласково стал меня кликать, говоря: «Не бойсь! Подойди под мое благословение!» – я уже под этим благословением – стояла, изо всех своих немалых детских сил под него Гринева – толкала: «Да иди же, иди, иди! Люби! Люби!» – и готова была горько плакать, что Гринев не понимает (Гринев вообще не из понимающих) – что мужик его любит, всех рубит, а его любит, как если бы волк вдруг стал сам давать тебе лапу, а ты бы этой лапы – не принял.

А Вожатого – поговорки! Круглая, как горох, самотканая окольная речь наливного яблочка по серебряному блюдечку – только покрупнее! Поговорки, в которых я ничего не понимала и понять не пыталась, кроме того, что он говорит – о другом:

самом важном. Это была первая в моей жизни иносказательная речь (и последняя, мне сужденная!) – о том самом – другими словами, этими словами – о другом, та речь, о которой я, двадцать лет спустя:

Поэт – издалека заводит речь.

Поэта – далеко заводит речь...

как далеко завела – Вожатого.

Нужно сказать, что даже при втором, третьем, сотом чтении, когда я уже наизусть знала все, что будет – и как все будет, я неизменно непрерывно разрывалась от страха, что вдруг Гринев – Вожатому – вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст, послушает дурака Савельича, а не себя, не меня. И, боже, какое облегчение, когда тулуп наконец вот уже который раз треснул на Вожатовых плечах!

(Есть книги настолько живые, но все боишься, что, пока не читал, она уже изменилась, как река – сменилась, пока жил – тоже жила, как река – шла и ушла. Никто дважды не вступал в ту же реку. А вступал ли кто дважды в ту же книгу?)

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
...Потом, как известно, Вожатый пропадает – так подземная река уходит под землю. А с ним пропала и мой интерес. Читала я честно, ни строки не пропуская, но глазами читала, на мысленный глаз прикидывая, сколько мне еще осталось печатных верст пройти – без Вожатого (как – в том же детстве, на больших – прогулках – без воды) – в совершенно для меня ненужном обществе коменданта, Василисы Егоровны, Швабрина и не только не нужном, а презренном – Марьи Ивановны, той самой дуры Маши, которая падает в обморок, когда палят из пушки, и о которой только и слышишь, что она «чрезвычайно бледна».

Странно, что даже дуэль меня не мирила с отсутствием Вожатого, что даже любовное объяснение Гринева с Машей ни на секунду не затмевало во мне черной бороды и черных глаз. В их любви я не участвовала, вся моя любовь была – к тому, и весь их роман сводился к моему негодованию: «Как может Гринева любить Марию Ивановну, а Мария Ивановна – Гринева, когда есть – Пугачев?»

И суровое письмо отца Гринева, запрещающее сыну жениться, не только меня не огорчило, но радовало: «Вот теперь уедет от нее и опять по дороге встретит – Вожатого и уж никогда с ним не расстанется и (хотя я знала продолжение и конец) умрет с ним на лобном месте. А Маша выйдет за Швабрина – и так ей и надо».

В моей «Капитанской дочке» не было капитанской дочки, до того не было, что и сейчас я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Говорю: «Капитанская дочка», а думаю: «Пугачев».

Вся «Капитанская дочка» для меня сводилась и сводится к очным встречам Гринева с Пугачевым: в метель с Вожатым (потом пропадающим) – во все с мужиком – с Самозванцем на крыльце комендантского дома – но тут – остановка:

«Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку».

Подсказывала ли я и тут (как в том страшном сне) Гриневу поцеловать Пугачеву руку?

К чести своей скажу – нет. Ибо Пугачев, я это понимала, в ту минуту был – власть, нет, больше – насилие, нет, больше – жизнь и смерть, и так поцеловать руку я при всей своей любви не смогла бы. Из-за всей своей любви. Именно любовь к нему приказывала мне ему в его силе и славе и зверстве руки не целовать – оставить поцелуй для другой площади. Кроме того: раз все вокруг шепчут: «Целуй руку! Целуй руку!» – ясно, что я руки целовать не должна. Я такому круговому шепоту отродясь не должна. Я такому круговому шепоту отродясь цену знала. Так что и Иван Кузьмич, и Иван Игнатьевич, и все мы, не присягнувшие и некоторые повисшие, оказались – правы.

Но – негодовала ли я на Пугачева, ненавидела ли я его за их казни? Нет. Нет, потому что он должен был их казнить – потому что он был волк и вор. Нет, потому что он их казнил, а Гринева, не поцеловавшего руки, помиловал, а помиловал – за заячий тулуп. То есть – долг платежом красен. Благодарность. Благодарность злодею. (Что Пугачев – злодей, я не сомневалась ни секунды и знала уже, когда он был еще только незнакомый черный предмет.) Об этом, а не ином, сказано в Евангелии: в небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, нежели о десяти несогрешивших праведниках. Одно из самых соблазнительных, самых роковых для добра слов из Христовых уст.

Но есть еще одно. Пришедши к Пугачеву непосредственно из сказок Гримма, Полевого, Перро, я, как всякий ребенок, к зверствам – привыкла. Разве дети ненавидят Людоода за то, что хотел отсечь мальчишкам головы? Змея-Горыныча? Бабу-Ягу с ее живым тыном из мертвых голов? Все это – чистая стихия страха, без которой сказка не сказка и услада не услада. Для ребенка, в сказке, должно быть зло. Таким необходимым сказочным злом и являются в детстве (и в не-детстве) злодейства Пугачева.

Ненавидит ребенок только измену, предательство, нарушенное обещание, разбитый договор. Ибо ребенок, как никто, верен слову и верит в слово. Обещал, а не сделал, целовал, а предал. За что же мне было ненавидеть моего Вожатого? Пугачев никому не обещал быть хорошим, наоборот – не обещав, обратное обещав, хорошим – оказался. Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось – добром. После этого оно у меня всегда было на подозрении добра.

Вожатый во мне рифмовал с жар. Пугачев – с черт и еще с чумаками, про которых я одновременно читала в сказках Полевого. Чумаки оказались бесами, их червонцы – горящими угольями, прожегшими свитку и, кажется, сжегшими и хату. Но зато у другого мужика, хорошего, в чугуне вместо кострового жару оказались червонцы. Все это – костровый жар, червонцы, кумач, чумак – сливалось в одно грозное слово: Пугач, в одно томное видение: Вожатый.

Но прежде чем перейти к последующим встречам Гринева с Пугачевым, – я в Пугачеве на крыльце комендантского дома с первого чтения Вожатого – узнала. Как мог не узнать его Гринев? И если действительно не узнал, как мне было не отнестись к нему с высокомерием? Как можно было – после того сна – те черные веселые глаза – забыть?

* * *

«Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и уставленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ними не было ни швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников».

Значит – были только свои, и в круг своих позвал Пугачев Гринева, своим его почувствовал. Желание пополнить в свои ряды? Расчет? Нет. Перебежчиков у него и так много было, и были среди них и поценнее ничем не замечательного дворянского сына Гринева. Значит – что? Влечение сердца. Черный, полюбивший беленького. Волк, – нет ли такой сказки? – полюбивший ягненка. Этот полюбил ягненка – несъеденного, может быть, и за то, что его не съел, как мы, злодеи и не-злодеи, часто привязываемся за наше собственное добро к человеку. Благодарность за заячий тулуп уже была исчерпана – дарованием жизни. Это приглашение за стол уже было чистое влечение сердца, любовь во всей ее чистоте. Пугачев Гринева в свои ряды звал, потому что тот ему пу сердцу пришелся, чтобы ввек не расставаться, чтобы («фельдмаршалом тебя поставлю») еще раз одарить: сначала – жизнь, потом – власть. И нетерпеливая, нестерпимая прямота его вопросов Гриневу, и мрачное ожидание Гриневского ответа (Пугачев мрачно молчал) вызваны не сомнением в содержании этого ответа, а именно его несомненностью: безнадежностью. Пугачев знал, что Гринев, под страхом смерти не поцеловавший ему руки, ему служить – не может. Знал еще, что если бы мог, он, Пугачев, его, Гринева, так бы не любил. Что именно за эту невозможность его так и любит. Здесь во всей полноте звучит бессмертное анненское слово: «Но люблю я одно – невозможно». (Мало у Пугачева было добрых молодцев, парней – ничуть не хуже Гринева. Нет, ему нужен был именно этот – чужой. Мечтанный. Невозможный. Не-можный.) Вся эта сцена – только последняя проверка – для последней очистки души – от надежды.

Будем внимательны к самому концу этого бессмертного диалога:

«– Послужи мне верой и правдой, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в Потемкины (князя). Как ты думаешь?»

– Нет, – отвечал я с твердостью. – Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра – так отпусти меня в Оренбург».

Значит – Гринев поверил. В полное бескорыстие Пугачева, в чистоту его сердечного влечения.

«– А коли отпущу, – сказал он, – так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?»

Этот вопрос – его последняя ставка, последний сдаваемый им фронт (сдал – все).

«– Как могу тебе в этом обещаться? – отвечал я. – Сам знаешь, не моя воля: велют идти против тебя – пойду, делать нечего...»

Что в этом ответе? Долг. Неволя, а не воля.

Эта сцена – поединок великодушый, соревнование в величии.

Очная ставка, внутри Пугачева, самовласть с собственным влечением сердца.

Очная ставка, внутри Гринева, влечения человеческого с долгом воинским.

Очная ставка Долга – и Бунта, Присяги – и Разбоя, и – гениальный контраст: в Пугачеве, разбойнике, одолевает человек, в Гринева, ребенке, одолевает воин.

Пугачев съел обиду, пересилив все, Гринева понял, и не только на волю, но изнутри своей волчьей любви – отпустил:

«– Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь».

(Читай: что должен.)

Но – все уже отдав, последним оборотом любви:

«– Завтра приходи со мной проститься».

Так любящие:

– В последний раз!

Все бессмертные диалоги Достоевского я отдам за простодушный незнаменитый гимназический хрестоматический диалог Пугачева с Гриневым, весь (как весь Пугачев и весь Пушкин), идущий под эпитафией:

Есть упоение в бою

и бездны мрачной на краю..

В «Пире во время чумы» Пушкин нам это – сказал, в «Капитанской дочке» Пушкин нам это – сделал.

* * *

Гринева Пугачеву нужен ни для чего: для души. Так цыгане любят белых детей. Так русский царь любил арапа Ибрагима. Так Николай I не полюбил Пушкина.

Есть в этом диалоге жутко-автобиографический элемент:

Пугачев – Гринева:

– А коли отпущу, так обещаешься ли ты, по крайней мере, против меня не служить?

– Как могу тебе в этом обещаться?

Николай I – Пушкину:

– Где бы ты был 14-го декабря, если бы был в городе?

– На Сенатской площади, Ваше Величество!

Та же интонация страстной и опасной правды: хождение бездны на краю. В ответах Гринева мы непрерывно слышим эту интонацию, если не всегда в кабинете монарха звучавшую, то всегда звучавшую – внутри Пушкина и уже, во всяком случае, – на полях его тетрадей.

Только Гринева было тяжелее сказать и сделать: от Пугачева – отказаться. Гринева Пугачеву был благодарен – и было за что. Пугачевым Гринева с первой встречи очарован – и было чем. Ответ Гринева – долг: отказ от любимого.

Пушкин Николаю ничем не был обязан, и Пушкин в Николае ничем не был очарован: не было – чем. Ответ Пушкина Николаю – чистейший восторг: отместка нелюбимому.

И, продолжая параллель:

Самозванец – врага – за правду – отпустил.

Самодержец – поэта – за правду – приковал.

Пугачев Гриневу с первой минуты благодетель. Ибо если Пугачев в благодарность за заячий тулуп дарует ему жизнь и отпускает на волю, то сам-то Гриневский тулуп – благодарность Пугачеву за то, что на дорогу вывел. Пугачев первый сделал Гриневу добро.

Вся встреча Гринева с Пугачевым между этими двумя жестами: сначала на дорогу вывел, а потом и на все четыре стороны отпустил.

– Вожатый!

* * *

Но помимо благодарности Гринева – Пугачеву, помимо пугачевской благодарности и благородства, Пугачев к Гриневу одержим отцовской любовью: любовью к невозможному для него сыну: верному долгу и роду – «беленькому». (Недаром, недаром тот первый вещий сон Гринева о подменном отце, сон, разом дающий и пугачевскую мечту об отцовстве всея России, и пугачевскую мечту о Гриневе – сыне.)

Любовь Пугачева к Гриневу – отблеск далекой любви Саула к Давиду, тоже при наличии кровного сына, любовь к сыну по избранию, сыну – души моей... Ибо после дарования жизни уже дары: простые, несчетные дары любви. Пугачев на дары Гриневу ненасытен: и фельдмаршалом тебя поставлю, и в Потемкины (князья) произведу, и посаженным отцом сяду, и овчинный тулуп со своего плеча взамен того заячьего, – и коня – и потерянную тем урядником полтину в дорогу дарит, и в дорожную кибитку с собой сажает, и даже дядьке Савельичу позволяет сесть на облучок (за что, скажем в скобках, тот желает ему сто лет здравствовать и обещает век за него Бога молить...) – и Марью Ивановну из темницы выручает, простив Гриневу его невинный любовный обман... Но здесь – остановка.

Когда уличенный во лжи Гринев признается, что Марья Ивановна не племянница попа, а дочь убитого Пугачевым коменданта: «Ты мне этого не сказал, – заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось». Почему (омрачилось)? Да не потому, конечно, что Марья Ивановна дочь того, а не племянница другого, а потому, что Гринев ему солгал, себя, в его глазах, ложью уронил, и – главное, может быть – ему, Пугачеву, не доверился. Но и это сходит – как сходило все, и что не сошло бы! – и Пугачев просится к Гриневу в посаженные отцы. И – возобновляем перечень даров – рука дающего да не скудеет: просится к Гриневу в посаженные отцы, и выдает ему пропуск во все заставы и крепости, ему подвластные, и, простившись с ним на людях, еще раз высовывается к нему из кибитки: «Прощай, ваше благородие!» И – последний дар любви на последней странице повести –

«Из семейных преданий известно, что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу».

Больше ему подарить Гриневу было – нечего.

* * *

Что это все? Как все это называется? Любовь. Но, слава Богу, на этот раз любовь была не к недостойному. Ибо и дворянский сын Гринев Пугачева – любил. Любил – сначала дворянской благодарностью, чувством не менее сильным в дворянине, чем дворянская честь. Любил сначала благодаря, а потом уже вопреки:

всей обратностью своего рождения, воспитания, среды, судьбы, дороги, планиды, сути. С первой минуты сна, когда страшный мужик, нарубив полную избу тел, ласково стал его кликать:

«Не бойсь, подойди под мое благословение», – сквозь все злодейства и самочинства, сквозь всё и несмотря на всё – любил.

Между Пугачевым и Гриневым – любовный заговор. Пугачев, на людях, постоянно Гриневу подмигивает: ты, мол, знаешь. И я, мол, знаю. Мы оба знаем. Что? В мире вещественном бедное слово: тулуп, в мире существенном – другое бедное слово: любовь.

Вот его, Гринева, собственные, Пугачеву, слова на прощание:

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
«Слушай, – продолжал я, видя его доброе расположение. – Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но Бог видит, что жизнь мою рад бы заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротой, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души...»

Это – еще, пока, благодарность.

Но вот другое, Гринева, высказывание:

«Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту – сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти ему голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце».

Благодарность? Нет. Так благодарность – не жет.

И – третье:

«Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: „Емеля! Емеля! – думал я с досадою. – Зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся на картечь? Лучшего ничего не мог бы ты придумать“».

И слова Гринева о капитанской дочке Маше: «Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно, ничто не может нас разлучить» – куда более относятся к Пугачеву, отца этой капитанской дочки, на его, Гринева, глазах, вздернувшему на виселицу.

Но не только те чудные обстоятельства, не только благодарность, не только влечение к своему обратному – все это еще не дает и не создает любви.

Есть одно слово, которое Пушкин за всю повесть ни разу не назвал и которое одно объясняет – все.

Чара.

Пушкин Пугачевым зачарован. Ибо, конечно, Пушкин, а не Гринев за тем застольным пиром был охвачен «пиитическим ужасом».

Да и пиитом-то Пушкин Гринева, вопреки всякой вероятности, сделал, чтобы теснее отождествить себя с ним. Не забудем: Гринев-то и в Оренбург попал за то и потому, что до семнадцатого годочку только и делал, что голубей гонял. Не забудем еще, что в доме его отца кроме «Придворного календаря» никаких книг не было. Пушкин, правда, упоминает, что Гринев стал брать у Швабринна французские книги, но от чтения французских книг до писания собственных русских стихов – далеко. Малый, которого мы видим в начале повести, n'a pas la tete a за.[62]

С явлением на сцену Пугачева на наших глазах совершается превращение Гринева в Пушкина: вытеснение образа дворянского недоросля образом самого Пушкина. Митрофан на наших глазах превращается в Пушкина. Но помимо разницы сущности не забудем возраст Гринева: разве может так судить и действовать шестнадцатилетний, впервые ступивший из дому и еще вчера лизавший пенки рядовой дворянский недоросль? Так (как шестнадцатилетний Гринев в этой повести) навряд ли бы мог судить и действовать шестнадцатилетний Пушкин. Ибо есть вещь, которая и гению не дается отродясь (и, может быть, гению – меньше всего) – опыт. Шестнадцатилетний Гринев судит и действует, как тридцатилетний Пушкин. Дав вначале тип, Пушкин в молниеносной постепенности дает нам личность, исключение, себя.

Можно без всякого преувеличения сказать: Пушкин начал с Митрофана и кончил – собою. Он так занят Пугачевым и собою, что даже забывает *post factum* постарить Гринева, и получается, что Гринев на два года моложе своей Маши, которой – восемнадцать лет! Между Гриневым – дома и Гриневым – на военном совете – три месяца времени, а на самом деле, по крайней мере, десять лет роста. Объяснить этот рост появлением в жизни Гринева этой самой Маши – наивность: любовь мужей обращает в детей, но никак уж не детей в мужей. Пушкинскому Гриневу еще до

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
полного физического роста четыре года расти и вырастать из своих мундиров!
Пушкин забыл, что Гринев – ребенок. Пушкин вообще забыл Гринева, помня только одно: Пугачева и свою к нему любовь.

Есть этому преображению Гринева в Пушкина любопытное подтверждение. В первом французском переводе «Капитанской дочки» к фразе старика Гринева: «Не казнь страшна; пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею совести», – переводчиком Луи Виардо сделана пометка: «Un aoeu1 de Pouchkine fut condamné a mort par Pierre Le Grand».[63]

Не я здесь создает автобиографичность, а сущность этого я. Не думал Пушкин, начиная повесть с условного, заемного я, что скоро это я станет действительно я, им, плотью его и кровью.

И, поняв, что Гринев – Пушкин: как Пушкину было не зачароваться Пугачевым, ему, сказавшему и возгласившему:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы!

Есть явление, все эти явления дающее разом. Оно называется – мятеж, в котором насчитаем еще и метель, и ледоход, и землетрясение, и пожар, и столько еще, не перечисленного Пушкиным! и заключенное им в двоекратном:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Этого счастья Пушкину не было дано. Декабрьский бунт бледнеет перед заревом Пугачева. Сенатская площадь – порядок и во имя порядка, тогда как Пушкин говорит о гибели ради гибели и ее блаженстве.

Встреча Гринева с Пугачевым – в метель, за столом, под виселицей, на лобном месте – мечтанная встреча самого Пушкина с Самозванцем.

Только – вопрос: устоял ли бы Пушкин, тем дворянским сыном будучи, как устоял дворянский сын Гринев, Пушкиным будучи, перед чарой Пугачева? Не сорвалось ли бы с его уст:

«Да, Государь. Твой, Государь». Ибо за дворянским сыном Гриневым – сплошной стеной – дворянские отцы Гринева, за Пушкиным – та бездна, которой всякий поэт – на краю.

Пушкину на долю досталось три монарха: на младенчество – безумный Павел, на юность – двоеверный Александр, Пушкину на зрелый возраст достался царь – капрал. Пушкин всем отвращением от Николая I был отброшен к Пугачеву. «Капитанская дочка» – Николаю мечь и даже отместка: самой природы поэта. Из всей истории писать именно историю Пугачевского бунта. Николай I не оценил иронии... судьбы.

Вернемся – к чаре.

Эту чару я, шестилетний ребенок, наравне с шестнадцатилетним Гриневым, наравне с тридцатилетним Пушкиным – здесь уместно сказать: любви все возрасты покорны – сразу почувствовала, под нее целиком подпала, впала в нее, как в столбняк.

От Пугачева на Пушкина – следовательно и на Гринева – следовательно на меня – шла могучая чара, словно перекликающаяся с бессмертным словом его бессмертной поэмы: «Могучей страстью очарован...»

Полюбить того, кто на твоих глазах убил отца, а затем и мать твоей любимой, оставляя ее круглой сиротой и этим предоставляя первому встречному, такого любить – никакая благодарность не заставит. А чара – и не то заставит, заставит и полюбить того, кто на твоих глазах зарубил самую любимую девушку. Чара, как

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
древле богинин облак любимца от глаз врагов, скроет от тебя все злодейство
врага, все его вражество, оставляя только одно: твою к нему любовь.

В «Капитанской дочке» Пушкин под чару Пугачева подпал и до последней строки
из-под нее не вышел.

Чара дана уже в первой встрече, до первой встречи, когда мы еще не знаем, что на
дороге чернеется: «пень иль волк». Чара дана и пронесена сквозь все встречи, – с
Вожатым, с Самозванцем на крыльце, с Самозванцем пирующим, – с Пугачевым,
сказывающим сказку – с Пугачевым карающим – с Пугачевым прощающим – с Пугачевым
– в последний раз – кивающим с первого взгляда до последнего, с плахи, кивка –
Гринев из-под чары не вышел, Пушкин из-под чары не вышел.

И главное (она дана) в его магической внешности, в которую сразу влюбился
Пушкин.

Чара – в его черных глазах и черной бороде, чара в его усмешке, чара – в его
опасной ласковости, чара – в его напускну важности...

– и умилительная деталь:

Пушкин Пугачева часто дает... немножко смешным: например, Пугачев, не умеющий
разобрать писаной руки.

«Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. „Что ты так
мудрено пишешь? – сказал он наконец. – Наши светлые очи ничего не могут тут
разобрать. Где мой обер-секретарь?“» – смешным, но не смехотворным (так Диккенс
в начале повести своего мистера Пиквика) – умилительным, детски-смешным:
ребенком, читающим письмо вверх ногами. У Пушкина Пугачев получается какой-то
зверский ребенок, в себе – неповинный, во зле – неповинный. Сравнить пушкинское
отношение к низкому злодею Швабрину: ни одной человеческой слабости, ни одного
смягчающего обстоятельства. Весь злодей из одного – черного – куска, вроде
Жавера Виктора Гюго (кроме последнего жеста последнего). Швабрин – злодей по
пушкинскому замыслу, пушкинское настоящее обратное, его истый враг, то есть его
низкий враг. Пугачев же – злодей по пушкинской любви, враг по пушкинской любви,
его вопреки всему и всем, совсем не враг, его не-враг, его друг, чуть ли не
страсть.

Здесь ясна вся разница для поэта между врагом внешним и врагом внутренним.
Швабрин – олицетворенная низость, – его внутренний враг, Пугачев – его враг
исторический, фактический, его внешний враг, его вовсе не враг, его друг,
которого по долгу службы нужно убить, но нельзя не любить.

Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный...

Сказано о солдате, но этого далекого солдата (Ахилла) создал – поэт.

Но есть еще одно, кроме чары, физической чары над Пушкиным – Пугачева: страсть
всякого поэта к мятежу, к мятежу, олицетворенному одним. К мятежу одной головы с
двумя глазами. К одноглавому, двуглазому мятежу. К одному против всех – и без
всех. К преступившему.

Нет страсти к преступившему – не поэт. (Что эта страсть к преступившему при
революционном строе оборачивается у поэта контр-революцией – естественно, раз
сами мятежники оборачиваются – властью.)

В Пугачеве, как нигде, прорвалась у Пушкина эта страсть, и смешно было Николаю I
ждать от такого историографа – добра.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

Это неизъяснимое наслажденье смертное, бессмертное, африканское, боярское,
человеческое, божественное, бедное, уже обреченное сердце Пушкина обрело за год
до того, как перестало биться, в мечтанной встрече Гринева с Пугачевым. На
самозванце Емельяне Пушкин отвел душу от самодержца-Николая, не сумевшего его ни
обнять, ни отпустить.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Страстный верноподданный, каким бы мог быть Пушкин, живой пищи не нашел, и пришлось ему, по сказке того же Пугачева, клевать мертвечину («Нет, я не льстец, когда царю...»), но – по той же сказке Пугачева – орлом будучи – мертвечина ему не пришлась, и пришлось ему – отказавшись от рецепта ворона – год спустя «Капитанской дочки» и пугачевской сказки – напоить российский снег своей кровью.

Соубийцу мы знаем.

* * *

Пушкину я обязана своей страстью к мятежникам – как бы они ни назывались и ни одевались. Ко всякому предприятию – лишь бы было обречено.

Но и другим я обязана Пушкину – может быть, против его желания. После «Капитанской дочки» я уже никогда не смогла полюбить Екатерину II. Больше скажу: я ее невзлюбила.

Контраст между чернотой Пугачева и ее белизной, его живостью и ее важностью, его веселой добротой и ее – снисходительной, его мужичеством и ее дамством не мог не отвратить от нее детского сердца, едино-любивого и уже приверженного «злодею».

Ни доброта ее, ни простота, ни полнота – ничто, ничто не помогло, мне (в ту секунду Машей будучи) даже противно было сидеть с ней рядом на скамейке.

На огневом фоне Пугачева – пожаров, грабежей, метелей, кибиток, пиров – эта, в чепце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и листиков, представлялась мне огромной белой рыбой, белорыбицей. И даже несоленой. (Основная черта Екатерины – удивительная пресность. Ни одного большого, ни одного своего слова после нее не осталось, кроме удачной надписи на памятнике фальконета, то есть – подписи. – Только фразы. Французских писем и посредственных комедий. Екатерина II – человек – образец среднего человека.)

Сравним Пугачева и Екатерину въяве:

«– Выходи, красная девица, дарю тебе волю. Я государь». (Пугачев, выводящий Марью Ивановну из темницы.)

«– Извините меня, – сказала она голосом еще более ласковым, – если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе...»

Насколько царственнее в своем жесте мужик, именующий себя государем, чем государыня, выдающая себя за приживалку.

И какая иная ласковость! Пугачев в темницу входит – как солнце. Ласковость же Екатерины уже тогда казалась мне сладостью, слащавостью, медовостью, и этот еще более ласковый голос был просто льстив: фальшив. Я в ней узнала и возненавидела даму-патронессу.

И как только она в книге начиналась, мне становилось сосуще-скучно, меня от ее белизны, полноты и доброты физически мутило, как от холодных котлет или теплого судака под белым соусом, которого знаю, что съем, но – как? Книга для меня распадалась на две пары, на два брака: Пугачев и Гринев, Екатерина и Марья Ивановна. И лучше бы так женились!

Любит ли Пушкин в «Капитанской дочке» Екатерину? Не знаю. Он к ней почтителен. Он знал, что все это: белизна, доброта, полнота – вещи почтенные. Вот и почтил.

Но любви – чары в образе Екатерины – нет. Вся любовь Пушкина ушла на Пугачева (Машу любит Гринев, а не Пушкин) – на Екатерину осталась только казенная почтительность.

Екатерина нужна, чтобы все «хорошо кончилось».

Но для меня и тогда и теперь вещь, вся, кончается – кивком Пугачева с плахи. Дальше уже – дела Гриневские.

Дело Гринева – жить дальше с Машей и оставлять в Симбирской губернии счастливое потомство.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Мое дело – вечно смотреть на чернеющий в метели предмет.

* * *

Есть у Блока магическое слово: тайный жар. Слово, при первом чтении ожегшее меня узнаванием: себя до семи лет, всего до семи лет (далее – не в счет, ибо жарче не стало). Слово-ключ к моей душе – и всей лирике:

Ты проклянешь в мученьях невозможных
Всю жизнь за то, что некого любить.
Но есть ответ в моих стихах тревожных:
Их тайный жар тебе поможет жить.
Поможет жить. Нет! и есть – жить. Тайный жар и есть – жить.

И вот теперь, жизнь спустя, могу сказать: все, в чем был этот тайный жар, я любила, и ничего, в чем не было этого тайного жара, я не полюбила. (Тайный жар был и у капитана Скотта, последним, именно тайным жаром гревшего свои полярные дневники.)

Весь Пугачев – этот тайный жар. Этого тайного жара в контр-фигуре Пугачева – Екатерине – не было. Была – теплота.

Я сказала: контр-фигура. Любопытно, что все, решительно все фигуры «Капитанской дочки» – каждая в своем направлении –

Контр-фигуры Пугачева: добрый разбойник Пугачев – низкий злодей Швабрин; Пугачев, восставший на Царицу – комендант, за эту царицу умирающий; дикий волк Пугачев – преданный пес Савельич; огневой Пугачев и белорыбий немецкий генерал, – вплоть до физического контраста физически-очаровывающего нас Пугачева и его страшной оравы (рваные ноздри Хлопуши). Пугачев и Екатерина, наконец. И еще любопытнее, что пугачевская контр-фигура покрывает, подавляет, затмевает – всё. Всех обращает в фигурантов.

Рассмотрим всех персонажей «Капитанской дочки». Отец и мать – как им быть полагается (батюшка, матушка...), слуга Савельич – как ему быть полагается, игрок Зурин, мелкий завистник и доносчик Швабрин, заводной немецкий генерал, – комендант Миронов, тип почти комический, если бы не пришлось ему на наших глазах с честью умереть... Маша – пустое место всякой первой любви, Екатерина – пустое место всякой авторской не-любви...

Ни одной крупной фигуры Пушкин Пугачеву не противопоставил (а мог бы: поручика Державина, чуть не погибшего от пугачевского дротика; Суворова, целую ночь стерегущего пленного Пугачева). В лучшем случае, другие – хорошие люди. Но когда – кого в литературе спасали «хорошесть» и кто когда противостоял чаре силы и силе чары? (Себе в опровержение: однажды спасла и вознесла: отца Савелия, в «Соборянах». Себе же – в подтверждение: но это больше чем литература и больше чем хорошесть, и есть сила булыжная чары – святость.)

В «Капитанской дочке» единственное действующее лицо – Пугачев. Вся вещь оживает при звоне его колокольчика. Мы все глядим во все глаза и слушаем во все уши: ну, что-то будет? И что бы ни было: есть Пугачев – мы есьмы.

Пушкинский Пугачев, помимо дани поэта – чаре, поэта – врагу, еще дань эпохе: Романтизму. У Гёте – Гёц, у Шиллера – Карл Моор, у Пушкина – Пугачев. Да, да, эта самая классическая, кристальная и, как вы ее еще называете, проза – чистейший романтизм, кристалл романтизма. Только те своих героев искали и находили либо в дебрях прошлого, этим бесконечно себе задачу облегчая и отдаленностью времен лишая их последнего правдоподобия, либо (Лермонтов, Байрон) – в недрах лирического хаоса, – либо в себе, либо в нигде, Пушкин же своего героя взял вне себя, и из предшествующего ему поколения (Пугачев по возрасту Пушкину – отец), этим бесконечно себе задачу затрудняя. Но зато: и Карл Моор, и Гёц, и Лара, и Мцыри, и собственный пушкинский Алеко – идеи, в лучшем случае – видения, Пугачев – живой человек. Живой мужик. И этот живой мужик – самый неодолимый из всех романтических героев. Сравнимый только с другим реалистическим героем, праотцом всех романтических: Дон-Кихотом.

Покой повествования и словесная сдержанность целый век продержали взрослого читателя в обмане; потому и семилетним детям давали, что думали – классическое. А классическое оказалось – магическим, и дети поняли, только дети одни и поняли,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
ибо нет ребенка, в Вожатого не влюбленного.

В «классиков» не влюбляются.

* * *

Ко всей «Капитанской дочке» ретроспективный эпиграф:

...Странные есть мужики...
Вот он с дорожной котомкой,
Путь оглашает лесной
Песнью протяжной, негромкой,
И озорной, озорной...
...В славную нашу столицу
Входит – господь упаси! –
Обворожает царицу
Необозримой Руси...

Пугачев царицы необозримой Руси не обворожил, а на нее в другую и – славнейшую нашу столицу – пошел, в столицу не вошел, – и столицы разные, и царицы разные – но мужик все тот же. И чара та же... И так же поддался сто лет спустя этой чаре – поэт.

* * *

Все встречи Гринева с Пугачевым – ряд живых картин, нам в живое мясо и души вожденных. Ряд живых картин, освещенных не маггием, а молнией. Не маггием, а магией. О, до чего эта классическая книга – магическая. До чего – гипнотическая (ибо весь Пугачев нам, вопреки нашему разуму и совести, Пушкиным – внушен: не хотим – а видим, не хотим – а любим) – до чего сонная, сновиденная. Все встречи Гринева с Пугачевым – из все той же области его сна о губящем и любящем мужике. Сон – продленный и осуществленный. Оттого, может быть, мы так Пугачеву и предаемся, что это – сон, которому нельзя противиться, сон, то есть мы в полной неволе и на полной свободе сна. Комендант, Василиса Егоровна, Швабрин, Екатерина – все это белый день, и мы, читая, пребываем в здоровом рассудке и твердой памяти. Но только на сцену Пугачев – кончено: черная ночь.

Ни героическому коменданту, ни его любящей Василисе Егоровне, ни Гриневскому роману, никому и ничему в нас Пугачева не одолеть. Пушкин на нас Пугачева... навел, как наводят сон, горячку, чару...

На этом слове разбор Пугачева «Капитанской дочки» – кончим.

II

Ибо есть другой Пугачев – Пугачев «Истории Пугачевского бунта». Пугачев «Капитанской дочки» и Пугачев «Истории Пугачевского бунта».

Казалось бы одно – раз одной рукой писаны. Нет, не одной. Пугачева «Капитанской дочки» писал поэт. Пугачева «Истории Пугачевского бунта» – прозаик. Поэтому и не получился один Пугачев.

Как Пугачевым «Капитанской дочки» нельзя не зачароваться – так от Пугачева «Пугачевского бунта» нельзя не отвратиться.

Первый – сплошная благодарность и благородство, на фоне собственных зверств постоянная и неременная победа добра. Весь Пугачев «Капитанской дочки» взят и дан в исключительном для Пугачева случае – добра, в исключительном – любви. Всех-де казню, а тебя милую. При чем это ты, по свойству человеческой природы и гениальности авторского внушения, непременно сам читатель. (Всех казнил, а меня помиловал, обобрал, а меня пожаловал и т. д.) Пугачев нам – в лице Гринева – все простил. Поэтому мы ему – все прощаем.

Что у нас остается от «Капитанской дочки»? Его – пощада. Казни, грабежи, пожары? Точно Пугачев и черным-то дан только для того, чтобы лучше, чище дать его – белым.

Предположим – да так оно со всеми нами и было, что читатель «Капитанскую дочку» прочел – первой. Что он ждет от «Истории Пугачевского бунта»? Такого же Пугачева, еще такого же Пугачева, то есть его доброты, широты, пощады, буйств – и своей любви.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
А вот что он с первых страниц повествования и пугачевщины – получает:

«...Между тем за крепостью уже ставили виселицу, перед ней сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова (коменданта крепости. – А. Ц.), обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибенный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить».

(Велел казнить и Миронова, но у того глаз не висел на щеке. Тошнотворность деталей.)

День спустя Пугачев взял очередную крепость Татищеву с комендантом Елагиным.

«С Елагина, человека тучного, содрали кожу: злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны».

(В «Капитанской дочке» ни с кого кожу не сдирали и ничьим салом своих ран не мазали. Ибо Пушкин знал, что читателя от такого мазанья – на его героя – стошнило бы.) Дальше, в строку:

«Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распорядившемуся казнию ее родителей. Пугачев поражен был ее красотой и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее ее семилетнего брата».

Пощада – малая и поступок – чисто злодейский, да и злодейство – житейское: завождеlev – помиловал, на свою потребу помиловал. И мгновенный рипост: «Наш Пугачев так бы не поступил, наш Пугачев, влюбившись, отпустил бы на все четыре стороны – руки не коснувшись».

...Именно не полюбив, а завождеlev, ибо вдову майора Веловского, которую не завождеlev, тут же велел удавить.

Но есть этому эпизоду с Харловой (по отцу Елагиной) продолжение – и окончание.

Несколько страниц – не знаю, недель или месяцев – спустя происходит следующее:

«Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе Самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по ее просьбе прислал он в Озерную приказ – похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненые, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, долго оставались в том же положении».

Все чары в сторону. Мазать свои раны чужим салом, расстреливать семилетнего ребенка, который, истекая кровью, ползет к сестре, – художественное произведение такого не терпит, оно такое извергает. Пушкин, художеством своим, был обречен на другого Пугачева.

Таков Пугачев в любви. Об этой Харловой Пушкин, пиша «Капитанскую дочку», помнил, ибо (письмо Марьи Ивановны Гринева): «Он (Швабрин) обходится со мною очень жестоко и грозитя, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею и с Вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой...»

Чту то же, Пушкин в «Капитанской дочке» не уточняет, давая предполагать читателю только начало харловской судьбы. Оживлять те кусты ему здесь слишком невыгодно.

И непосредственно, строка в строку, до эпизода с Харловой:

«Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки при взятии Татищевой удавили его и бросили с камнем на шею в воду. Пугачев о нем осведомился. Он пошел, отвечали ему, к своей матушке вниз по Яику. Пугачев, молча, махнул рукой».

Таков Пугачев в дружбе: в человеческой любви.

Судьба этого Кармицкого – потенциальная судьба самого Гринева: вот что с

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Гриневым бы произошло, если бы он встретился с Пугачевым не на страницах «Капитанской дочки», а на страницах «Истории Пугачевского бунта».[64]

Пугачев здесь встает моральным трусом – Lvche – из-за страха товарищей предающим – им в руки! – любимую женщину, невинного ребенка и любимого друга.

– Позвольте, что-то знакомое: товарищам – любимую... – А!

А вокруг уж слышен ропот:

– Нас на бабу променял!

Всю ночь с бабой провождался,

Сам наутро бабой стал.

...Мощным взмахом подымает

Он красавицу-княжну...

Стенька Разин! тот, о котором и которого поет с нашего голоса вся Европа, тот, которым мы, как водою и бедою, залили всю Европу, да и не одну Европу, а и Африку и Америку – ибо нет на земном шаре места, где бы его сейчас не пели или завтра бы не смогли запеть.

Но: Пугачев и Разин – какая разница!

Над Разиным товарищи – смеются, Разина бабой – дразнят, задевая его мужскую атаманову гордость. Пугачеву товарищи – грозят, задевая в нем простой страх за жизнь. И какие разные жертвы! (Вся разница между поступком и проступком.)

Мощным взмахом подымает

Он красавицу-княжну...

Разин сам бросает любимую в Волгу, в дар реке – как самое любимое, подняв, значит – обняв; Пугачев свою любимую дает убить своей сволочи, чужими руками убивает: отводит руки. И дает замучить не только ее, но и ее невинного брата, к которому, не сомневаюсь, уже привык, которого уже немножко – усыновил.

В разинском случае – беда, в пугачёвском – низость. В разинском случае – слабость воина перед мнением, выливающаяся в удаль, в пугачёвском – низкое цепляние за жизнь.

К Разину у нас – за его персияночку – жалость, к Пугачеву – за Харлову – содрогание и презрение. Нам в эту минуту жаль, что его четвертовали уже мертвым.

И – народ лучший судия – о Разине с его персияночкой поют, о Пугачеве с его Харловой – молчат.

Годность или негодность вещи для песни, может быть, единственное непогрешимое мерило ее уровня.

Но есть у Пугачева, кажется, еще подлейший поступок. Он велит тайно удавить одного из своих верных сообщников, Дмитрия Лысова, с которым за несколько дней до того в пьяном виде повздорил и который ударил его копьем. «Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти».

С Харловой – спал – и дал ее расстрелять, с Лысовым – пил – и велел его удавить. Пугачев здесь встает худшим из своих разбойников, хуже разбойника. И только так можно ответить на его гневный возглас, когда предавший его казак хотел скрутить ему назад руки: «Разве я разбойник?»

Иногда его явление из низости злодейства возвышается до диaboлического:

«Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что это за человек. Услыша, что Ловиц наблюдает течение светил небесных, он велел его повесить – поближе к звездам».

И – последнее. «Перед судом он оказал неожиданную слабость духа. Принуждены были постепенно приготовить его к услышанию смертного приговора – „crainte cu'îl ne poate fi de peur sur le champ“», [65] – поясняет Екатерина в письме к Вольтеру. Но так как это письмо Екатерины – единственный пушкинский источник, а Екатерина в низости казнимого ею мятежника явно была заинтересована – оставим это сведение под сомнением: может – струсил, может – нет. Но что достоверно можно сказать – это что не поражал своей предсмертной храбростью. На храбреца трусости не

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru наврешь. Даже Екатерина – в письме к Вольтеру.

Но есть еще одна деталь этой казни – тяжелая. Пугачев, будучи раскольником, никогда не ходил в церковь, а в минуту казни – по свидетельству всего народа – глядя на соборы, часто крестился.

Не вынес духовного одиночества, отдал свою старую веру.

После любимой и друга отдал и веру.

* * *

Будем справедливы: я все-таки выбирала (особенно и выбирать не пришлось) обратные, контрастные места с Пугачевым «Капитанской дочки». Пугачеву «Истории Пугачевского бунта» Пушкин оставил – многое. Оставил его иносказательную речь, оставил неожиданные повороты нрава: например, наведенную на жителей пушку оборачивает и разряжает ее – в степь. Физическую смелость оставил:

«Пугачев ехал впереди своего войска. – Берегись, государь, – сказал ему старый казак, – неравно из пушки убьют. – Старый ты человек, – отвечал самозванец. – Разве пушки льются на царей?»

Любовь к нему простого народа – оставил:

«Солдаты кормили его из своих рук и говорили детям, которые теснились около его клетки: помните, дети, что вы видели Пугачева. Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжающих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен».

И огненный взор, и грозный голос оставил, от которых женщины, разглядывавшие его в клетке, падали без памяти.

И, как ни странно, и человечность оставил: академик Рычков, отец убитого Пугачевым симбирского коменданта, говоря о своем сыне, не мог удержаться от слез. Пугачев, глядя на него, сам заплакал.

Но все то же цепляние за жизнь оставил. Ибо в ответе Пугачева на вопрос Рыčkова, как он мог отважиться на такие великие злодеяния: «Виноват перед Богом и Государыней и буду стараться заслужить все мои вины», – бессмысленная, заведомо безнадежная надежда на помилование, все то же пугачевское цепляние за жизнь.

Пугачев из «Истории Пугачевского бунта» встает зверем, а не героем. Но даже и не природным зверем встает, ибо почти все его зверства – страх за жизнь, – а попустителем зверств, слабым до преступности человеком. (Ведь даже убийство Лысова – не месть за поднятую на него руку, а страх вторичного и уже смертного удара.)

И, чтобы окончательно кончить о нем: покончить с ним в наших сердцах, – одна безобразная сцена, вдвойне безобразная, со всей полнотой подлости в лице обоих персонажей:

Граф Панин, к которому привели пленного Пугачева, за дерзкий – прибауточный – провидческий ответ Пугачева: «Я вороненок, а ворон-то еще летает», – ударяет Пугачева по лицу в кровь и вырывает у него клоч борода. (NB! Русское «лежачего не бьют».)

Что же делает Пугачев? Встает на колени и просит о помиловании.

* * *

Теперь – очная ставка дат: «Капитанская дочка» – 1836 год, «История Пугачевского бунта» – 1834 год.

И наш первый изумленный вопрос: как Пушкин своего Пугачева написал – зная?

Было бы наоборот, то есть будь «Капитанская дочка» написана первой, было бы естественно: Пушкин сначала своего Пугачева вообразил, а потом – узнал. (Как всякий поэт в любви.) Но здесь он сначала узнал, а потом вообразил.

Тот же корень, но другое слово: преобразил.

Пушкинский Пугачев есть рипост поэта на исторического Пугачева, рипост лирика на архив: «Да, знаю, знаю все как было и как все было, знаю, что Пугачев был низок и малодушен, все знаю, но этого своего знания – знать не хочу, этому несвоему, чужому знанию противопоставляю знание – свое. Я лучше знаю. Я лучшее знаю:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.»

Обман? «По сему, что поэт есть творитель, еще не наследует, что он лживец, ибо поэтическое вымышление бывает по разуму так – как вещь могла и должна была быть» (Тредьяковский).

Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отmel, все забыл, прочистил от них голову как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева. «Историю Пугачевского бунта» он писал для других, «Капитанскую дочку» – для себя.

* * *

Пушкинский Пугачев есть поэтическая вольность, как сам поэт есть поэтическая вольность, на поэте отыгрывающаяся от навязчивых образов и навязанных образцов.

* * *

Но что же Пушкина заставило, только что Пугачева отписавши, к Пугачеву вернуться взять в герои именно Пугачева, опять Пугачева, того Пугачева, о котором он все знал?

Именно что не все, ибо единственное знание поэта о предмете поэту дается через поэзию, очистительную работу поэзии.

Пушкин своего Пугачева написал – чтобы узнать. Дознаться. Пушкин своего Пугачева написал – чтобы забыть.

Простых же ответа – два: во-первых, он с ним, каков бы он ни был, за долгие месяцы работы – сжился. Сжился, но не разделался. (Есть об этом его, по написанию, свидетельство.)

Во-вторых, он, поставив последнюю точку, почувал: не то. Не тот Пугачев. То, да не то. А попробуем – то. Это было «по-вашему», давай-ка теперь – по-нашему.

Подсознательное желание Пугачева, историей разоблаченного, поэзией реабилитировать, вернуть его на тот помост, с которого историей, пушкинской же рукою, снят. С нижеморского уровня исторической низости вернуть Пугачева на высокий помост предания.

Пушкин поступил как народ: он правду – исправил, он правду о злодее – забыл, ту часть правды, несовместимую с любовью: малость.

И, всю правду о нем сохранив, изъяв из всей правды только пугачевскую малость, дал нам другого Пугачева, своего Пугачева, народного Пугачева, которого мы можем любить: не можем не любить.

Какой же Пугачев – настоящий? Тот, что из страха отдал на растерзание любимую женщину и невинного младенца, на потопление – любимого друга, на удушение – вернейшего соратника и сам, в ответ на кровавый удар по лицу, встал на колени?

Или тот, что дважды, трижды, семижды простил Гринева и, узнав в толпе, в последний раз ему кивнул?

Что мы первое видим, когда говорим Пугачев? Глаза и зарево. И – оба без низости. Ибо и глаза, и зарево – явление природы, «есть упоение в бою», а может быть, и сама Чума, но – стихия, не знающая страха.

Что мы первое и последнее чувствуем, когда говорим Пугачев? Его величие. Свою к нему любовь.

Так, силой поэзии, Пушкин самого малодушного из героев сделал образцом великодушия.

В «Капитанской дочке» Пушкин – историограф побит Пушкиным – поэтом, и последнее

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
слово о Пугачеве в нас навсегда за поэтом.

Пушкин нам Пугачева «Пугачевского бунта» – показал, Пугачева «Капитанской дочки» – внушил. И сколько бы мы ни изучали и ни перечитывали «Историю Пугачевского бунта», как только в метельной мгле «Капитанской дочки» чернеется незнакомый предмет – мы все забываем, весь наш дурной опыт с Пугачевым и с историей, совершенно как в любви – весь наш дурной опыт с любовью.

Ибо чара – старше опыта. Ибо сказка – старше были. И в жизни земного шара старше, и в жизни человека – старше. Ибо Пугачева мы знали уже и в Мужик-сам-с-Перст, и в Верлиоке, и в людоеде из Мальчика-с-Пальчика, рубящем головы собственным дочерям, и в разбойнике, от которого Аленушка прячется за кадушку с маслом, во всех людоедах и разбойниках всех сказок, в сказке крови, нашей древней памяти.

Пушкинский Пугачев («Капитанской дочки») есть собирательный разбойник, людоед, чумак, бес, «добрый молодец», серый волк всех сказок... и снов, но разбойник, людоед, серый волк – кого-то полюбивший, всех загубивший, одного – полюбивший, и этот один, в лице Гринева – мы.

И если мы уже зачарованы Пугачевым из-за того, что он – Пугачев, то есть живой страх, то есть смертный страх, наш детский сонный смертный страх, то как же нам не зачароваться им вдвойне и вполне, когда этот страшный – еще и добрый, этот изверг – еще и любит.

В Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование: зла, на минуту ставшего добром, всю свою самосилу (зла) перекинувшего на добро. Пушкин в своем Пугачеве дал нам неразрешимую загадку: злодеяния – и чистого сердца. Пушкин в Пугачеве дал нам доброго разбойника. И как же нам ему не поддаться, раз мы уже поддались – просто разбойнику?

Дав нам такого Пугачева, чему же поддался сам Пушкин? Вышнему, что есть: поэту в себе. Непогрешимому чутью поэта на – пусть не бывшее, но могшее бы быть. Долженствовавшее бы быть. («По сему, что поэт есть творитель...»)

И сильна же вещь – поэзия, раз все знание всего николаевского архива, саморучное, самоочное знание и изыскание не смогли не только убить, но пригасить в поэте его яснозрения.

Больше скажу: чем больше Пушкин Пугачева знал, тем тверже знал – другое, чем яснее видел, тем яснее видел – другое.

Можно сказать, что «Капитанская дочка» в нем писалась одновременно с «Историей Пугачевского бунта», с ним со-писалась, из каждой строки последнего вырастая, каждую перерастая, писалась над страницей, над ней – надстраивалась, сама, свободно и законно, как живое опровержение, здесь рукой поэта творящееся: неправде фактов – самописалась.

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

Если Пушкин о Наполеоне, своем и всей мировой лирики боге, отвечая досужему резонеру, разубеждавшему его в том, что Наполеон в Яффе прикасался к чумным, если Пушкин о Наполеоне мог сказать:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман,
– то насколько это уместнее звучит о Пугачеве, достоверные низкие истины о котором он глазами вычитывал и своей рукой выписывал – ряд месяцев.

О Наполеоне Пушкин это сказал.

С Пугачевым он это сделал.

По окончании «Капитанской дочки» у нас о Пугачеве не осталось ни одной низкой истины, из всей тьмы низких истин – ни одной.

Чисто.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И эта чистота есть – поэт.

* * *

Тьмы низких истин...

Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины.

Еще одно. Истины не ходят тьмами (тьма-тьмущая, Тьму-Таракань, и т. д.). Только – обманы.

Возвращаясь к миру фактов. Оговорка – и важная: говорят, что сейчас изданы три тома пугачевского архива, из которых Пугачев встает совсем иным, чем в «Истории Пугачевского бунта», а именно – без всякой низости, мужичьим царем, и т. д.

Но дело для нас в данном случае не в Пугачеве, а в Пушкине, иных материалов, кроме дворянских (пристрастных), не знавшем и этим дворянским – поверившем. Как Пушкин, по имеющимся данным, Пугачева видел. И сличаю я только пушкинского Пугачева – с пушкинским.

Если же, паче чаяния, Пугачев на самом деле встает мечтанным мужичьим царем, великодушным, справедливым, смелым – что ж, значит, Пушкин еще раз прав и один только и прав. Значит, прав был – унижающим показаниям в глубине своего существа не поверив. Только очами им поверив, не душой.

Как ни обернись – прав:

Был Пугачев низкий и малодушный злодей – Пушкин прав, давая его высоким и бесстрашным, ибо тьмы низких истин нам дороже...

Был Пугачев великодушный и бесстрашный мужичий царь – Пушкин опять прав, его таким, а не архивным – дав. (NB! Пушкин архив опроверг не словом, а делом.)

Но, повторяю, дело для нас не в Пугачеве, каков он был или не был, а в Пушкине – каков он был.

Был Пушкин – поэтом. И нигде он им не был с такой силой, как в «классической» прозе «Капитанской дочки».

Ванв, 1937

* * *

Поэт не может любить врага. Поэт не может не любить врага, как только враг этот ему в (лирический) рост. Враг же низкого уровня ему не враг, а червь: червь или дракон, – смотря по калибру. Не был врагом Андрею Шенье казнивший его... [66] Монстр не есть враг. Враг есть – равенство. У поэта на вражду остаются одни явления, одно явление: бессмертная низость в каждом данном смертном. Безличная низость в каждом данном лице (личности). И бессмертная с нею – война. От начала мира до конца его с бессмертной низостью бьется бессмертный – безымянный под всеми именами – поэт.

Увидим это на живом примере Капитанской дочки:

Швабрин Гриневу (Пушкину) не враг. Швабрин Гриневу – червь. Есть что раздавить, не с чем враждовать. Враг – для ноги (подшвы), а не для души.

Пугачев Гриневу (Пушкину) не враг, ибо если это вражда, то – что же любовь?

Да где же в этой военной и любовной повести Гриневский враг? Врага – нет. Есть Гриневский фактический противник, – казенный противник, душевный, фактический и всяческий союзник.

Вместо долженствовавших бы быть двух врагов – ни одного. Поэт не может любить врага. Любить врага может святой. Поэт может только во врага влюбиться.

Со времен Гомера – до наших, в которых, возвращая нас в первые, прозвучало слово:

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный.
Сказано о солдате, но этого солдата (Ахилла) создал – поэт.

Пугачев был именно таким врагом. Надежен такой враг? Нет. Такая вражда пленному врагу открывает двери. Такая вражда – врагу первому перевязывает раны. Такая вражда – врага первого выносит с поля битвы – с ним же. Такая вражда в любую минуту готова душу свою положить за врази своя. Что все взаимоотношение Гринева с Пугачевым как не рыцарский роман? Чистейший, скажем по-пушкински, донкишотизм.

Не возможность измены и не легкомыслие страшили в Пушкине декабристов, а ненадежность вражды. Та внутренняя свобода, тот внутренний мир, с революционным несравнимые, которые и составляют сущность поэта и которые так и соблазняют, в целях собственного использования...[67] Но здесь революционеры делают ошибку: внутренний мятеж поэта не есть внешний мятеж и может обернуться и оборачивается против них же, как только они сами оборачиваются законной, то есть насильственной, властью.

Этим мятежам – не по дороге.

Поэт не может враждовать с идеями (абсолютными) и не может враждовать с живыми, как только этот живой – либо стихия, либо ценность, либо – цельность, и не может враждовать с человеческим абсолютом – своими героями. Поэт может враждовать только с данным случаем и со всей человеческой низостью, которые (и случай и низость) могут быть всегда и везде, ибо этого ни один лагерь не берет на откуп. С данным случаем человеческой низости (малости). Поэтому если вражда поэта понятие неизменное, то точка приложения ее – непрерывно перемещается.

Один против всех и без всех.

Враг поэта называется – все. У него нет лица.

* * *

Поэт – враг на минуту – доколе не поймет или не пожалеет врага: не по любвеобилию <милосердию> своему, а великодушию. Не по любвеобилию <милосердию > своему, а сочувствию, всичувствию. Не по тяжелому невыполнимому невыносимому противоестественному долгу и подвигу христианской любви, а по рожденному своему, для него роковому дару: всйлюбия. Не по христианской любви, а по поэтической любви.

Политическая ненависть поэту не дана. Дана только человеческая. Дан только божественный и божеский гнев – на всё то же, которое он узнает всюду и не узнавая которого он противнику распахивает руки.

Анна Де Ноай. Новое упование
О, душа моя, я дал тебе право говорить «нет», как буря, и «да», как открытое небо.

Ницше
Она изменчива и неизменна.

Мишле
Часть первая
I

Утро было сухое и трещало от стужи. Ледяной и сжатый воздух, казалось, страдал от напряжения и сухо звенел. В мыслях таинственного скрывалось безмолвие; оно не было отсутствием шума, оно само было чем-то.

Благотворный и грустный ветер, налетающий с зимних полей, от времени до времени подметал этот уголок Мюэтты и Пасси, этот провинциальный вход в Булонский лес.

В прекрасной обнаженности дороги, мимо изгороди из голого кустарника проходили две женщины, – шли и возвращались, пробегая и возобновляя все тот же милый, привычный путь.

Одна из них, казалось, вдыхала этот снеговой воздух с жадностью, словно утоляя в нем какую-то глубокую жажду; в спокойном взгляде другой сказывалась душа более узкая и ровная.

Несмотря на то что они с полуслова понимали друг друга, несмотря на непринужденность молчания и дружеской рассеянности, видно было, что они – не одной крови.

Та, что была повыше, – лет двадцати трех-двадцати четырех с виду, и которую другая называла Сабиной, была тонкая и длинная, с шелковистым и бледным лицом, нежными, тяжело-черными волосами и глазами сумрачными, горящими и ускользающими, их перламутр вокруг зрачков был цвета голубых лун. Горячность глаз юной женщины придавала теплый вид всему ее телу.

Девушка, сопровождавшая ее, лет двадцати на вид, была Мария де Фонтенэ, сестра ее мужа.

Она тоже была хорошенькая: светлое лицо, легкие каштановые волосы, нежные рот и улыбка. Ее простой и робкий взгляд выдавал застенчивость.

Слегка утомленные прогулкой, они сели на скамейку и стали смотреть прямо перед собой.

Дыхание легким облаком вылетало из их вуалей. Они с удовольствием рассматривали поля Мюэтты, которую любили.

На мертвенных лужайках опустошенные вилообразные деревья вонзались в небо. Узкие розетки из маленьких растений, напоминающих петли, приклеились с несколькими травками к голой мерзлой земле. Кое-где, как теплое белое дыхание, поднимались каменные статуи. Безмолвие и оцепенение ключьями висели вокруг дач, мертвых в квадрате садилов. Вдали киоск, в котором летом играла музыка, казался призрачным от холода.

За деревьями от времени до времени проходил, скрежеща, трамвай.

Положив тихонько руку на руку своей belle-soeur и глядя на нее с заботливой нежностью, выдававшей тревогу ее благоразумного сердца, м-ль де Фонтенэ спросила:

– Что ты сегодня делаешь, Сабина?

– Ничего, – ответила г-жа де Фонтенэ, – отдохну, почитаю, может быть, немножко выйду, а потом в пять ты придешь ко мне к чаю. Будет Анри, Жером и Пьер тоже придут.

Г-жа де Фонтенэ сказала, что ничего не будет делать, ибо все, ощущаемое слабо, казалось ей ничем; не чувствуя себя несчастной и не желая ничего иного, она все же смотрела на свою однообразную и узкую жизнь, как на мгновение сознания среди сна, как на светлое продолжение ночи.

Молодая девушка ответила, что, конечно, придет, а что до этого немного займется живописью. И потом прибавила:

– В конце концов, Сабина, ты счастлива?

– Да, – произнесла молодая женщина отчетливо и все же, как бы сумрачно вглядываясь в себя, – да.

И казалось, что, не находя в себе того, чего искала, утратив воспоминание и желание, она, действительно, считает себя счастливой.

Темные линии лица по краям глаз и известная, впрочем быстро слабеющая, сила в походке и жесте свидетельствовали у г-жи де Фонтенэ о закравшемся в нее раздраженном, но и преходящем томлении.

– Знаешь, Мария, – продолжала она, – после мук рождения и смерти девочки, после такой страшной усталости, я что-то плохо знаю, где радость, но тем не менее, кажется, счастлива. Отдых, безопасность, сознание, что меня охраняют, укрывают, что я дышу только смягченным воздухом, все это, мне отныне и навсегда необходимое, дает мне удовлетворение, которое, может быть, и есть счастье.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Все же ты иногда грустишь, Сабина...

– Видишь ли, несмотря на то, что я сейчас благоразумна и сосредоточенна и что это, очевидно, и есть моя настоящая природа, мне все же минутами вспоминается одно прежнее существо, такое другое, такое сумасшедшее, такое бедное, но которое так смеялось и плакало, что можно было умереть от счастья...

Она подняла вуалетку, мешавшую ей смотреть.

– Видишь ли, Мария, – продолжала она, – я когда-то была мрачна и своевольна и так грустна, так ожесточена и упряма, что судьба смотрела на меня и не трогала, потому что боялась. А потом, однажды, я уступила, смягчилась, перестала знать, чего хочу и не хочу; тогда все пошло скверно: пошли заботы, болезни, неудачи во всем...

– Но теперь тебе лучше, все это уже не так теперь? – спросила молодая девушка, глядя в самое сердце другой.

– Нет, – сказала Сабина, – все это уже не так теперь, бывают часы совсем хорошие, особенно вечером, при лампе, когда я чувствую, что вокруг нас ничто не двинется; только я не очень знаю, зачем живу; ты знаешь, зачем?

Мария положила голову, где мех и волосы сливались и дружно блестели, на плечо Сабины и благоразумно сказала, что да, понимает, что живешь для ревностной и терпеливой культуры ума и совести, что же касается ее, то она, подчинив свою жажду знания суровому жребию, испытывает полное удовлетворение от чтения и живописи.

– Я думаю, – говорила она, и веки ее робко бились, словно желая скрыть душу, появившуюся в ее светлых глазах, – я думаю, что нежность и долг – настоящее счастье. Мне кажется, что то, что я делаю, не только моя отдельная задача, но входит в движение какого-то большого механизма, где все – порядок и труд... Когда я работаю в своем парусиновом фартуке, над которым ты смеешься, мне кажется, что я – как монах в келье, что где-то еще другие монахи в других кельях и что нас, таким образом, целый светский монастырь счастливых и скромных тружеников.

– А воздух, а наслаждение, – сказала Сабина, – а грусть именно в ту минуту, когда ее хочешь, а безделье с его прекрасными замыслами – глухими и темными, а слишком долгий смех или вздох надо всем, такой глубокий...

– Ах, ты, моя сумасшедшая! – отвечала молодая девушка, обнимая Сабину за плечи и держа ее, как драгоценность, этой заботливой рукой с тесно загнутыми пальцами. – У меня тоже свои радости. Когда я закрою свои книги и тетрадки, воздух, которым я дышу, мне награда. Что-то во мне говорит: «То, что нужно – сделано; иди играть».

– Да, – сказала Сабина, – и я так чувствовала когда-то до всех этих горестей. Теперь я сержусь.

– Пора домой, – испуганно воскликнула Мария, только что взглянувшая на часы. – Мама меня, должно быть, уже ждет.

Они встали и пошли.

Заклученная в вуаль, меха и муфту, Мария шла, опустив голову, навстречу стуже, и прекратив разговор. Тусклый воздух как бы окружил ее безмолвием и смертью. И тогда как молодая девушка выглядела зябкой, защищенной и соответствующей зиме, г-жа де Фонтенэ в своей серебристо-серой шляпе, увенчанной красной листвой, и мягкосвисающем теплом пальто, походила на эти статуи Помоны или Флоры, которых ничто не может одеть: ни плющ, ни иней; которые и на северном ветру сохраняют свой летний лик; и лицо ее, беспорядочное от блеска глаз, выдавалось из одежды, раздражающее и обнаженное. На пути к дому они услышали шарманку. Разбитые звуки осыпались один за другим, как бы падая с клавиатуры из железа и стекла.

Не было видно ни шарманщика, ни шарманки, находившихся, очевидно, в соседнем переулке, но впечатление было так сильно, что Сабина сразу, с тонкостью вырезанной картинки, наклеенной на дымное желтое небо, представила себе нищего в тени ворот, его черный деревянный ящик с куском красной клеенки, прибитым к

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru задку, и маленькую деревянную чашку для денег.

И музыка спотыкалась, несчастная и нищенская, не говорящая о наслаждении, несмотря на меткие напевы; музыка слабая, музыка с простудливым кашлем, поднимающаяся в зимний воздух; музыка, скованная, говорящая, что нет любви для людей, когда земля замерзла, когда нет ни крова, ни хлеба, ни лунной ночи, теплой и светлой, как комнаты, ни досуга, ни тяжелых диванов и духов...

Г-жа де Фонтенэ думала о том, что любовь зимой не для бедных, а лишь для тех, кто, имея возможность жить, имеет это странное желание: умереть от жара и исступления.

Она взглянула на Марию грустными глазами. Молодая девушка, не замечая мыслей подружки, ответила взглядом, полным простой жалости, и вздохнула:

– Где он, бедный? И что за дурная привычка никогда не брать с собой денег!

В настоящее время они стояли перед домом, где м-ль Фонтенэ жила с матерью, и находившемся на небольшом расстоянии от дома Сабины. Они долго держали друг друга за вытянутые руки и расстались, смеясь.

Г-жа де Фонтенэ возвращалась домой замедленным шагом.

Она с удовольствием рассматривала маленький особняк, к которому шла, – ящики с цветами, подвешенные к решеткам, перед окнами...

Дойдя до двери, она углубилась в свежий и звонкий каменный вестибюль слегка деревенского вида, с медными на стенах гвоздями, на которых висели мужские шляпы и трости.

Она любила это ощущение вновь обретенного дома, тишину комнат, о которые бились слабые и отдаленные звуки улицы.

Она пошла к мужу, которого застала за уборкой книг, поцеловала его и, проведя за руку в столовую, села против него за стол.

Он говорил ей о механике, которой занимался с увлечением, об электротехнике и успехах воздухоплавания. Она не очень его слушала, она ни о чем не думала. Будь у нее хоть немного энергии, она могла бы ответить ему с видимым участием, но сейчас она, правда, слишком устала и ни о чем не могла думать.

Встав из-за стола, Сабина и г. де Фонтенэ поднялись в обширную и неопределенную комнату, называемую мастерской. Молодая женщина тотчас же растянулась на диване, тем временем как ее муж, выпив кофе и выкурив папиросу, рассказывал ей о том, что намеревается сегодня делать, и нежно с ней прощался.

Одновременно и деятельная, и истомленная Сабина проводила там свое время, зачастую растянувшись на шелковом диване, садясь, поднимаясь, раскрывая и закрывая книги, охваченная сладким томлением, в которое входили: тонкая и живая бесчувственность, наслаждение дышать этим мирным и ровным часом и легкий страх смерти.

Существо ее, утомленное сильными страстями детства, случайностями спешного брака и страданиями неудачного материнства, отдыхало здесь, в глубине этих мягких послеобеденных часов, укачиваемое радостью тихого существования и чувственного страха смерти.

В таком изнеможении, длившемся часами, она вспоминала свое пламенное и своенравное детство, свое деятельное и жаркое детское сердце, о котором теперь думала с удивлением и неведением, как девочка, которая бы вспомнила, что была когда-то страстной женщиной.

Ей было семь лет, когда умерла ее мать, и хотя она редко бывала с ней, все же отчаянно ее оплакивала всей своей преждевременной и переполненной душой, уже ощущавшей ужас, исключительность и постыдность траура.

В течение нескольких лет она не могла есть и наблюдала это с немым и благоразумным изумлением детей, еще не понимающих, какая сила в них уже

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru отказывается жить.

Восприимчивая до помутнения рассудка и телесного недомогания, она выростала подле г. де Розэ, безразличная и редкая снисходительность, горький склад и тонкий, сложный ум которого внушали ей восхищение, лишенное нежности.

Изумительное детство: мистическое и влюбленное, отчаянное, благоразумное и буйное!

Нет монастыря, более подвластного дисциплине желания, правилам мечты, крайнему напряжению нервов и нарушению телесного равновесия, чем это было с воспитанием Сабрины на ее тринадцатом году.

Запертая в темную и тяжелую комнату, она писала, читала, играла на рояле, мечтала по вечерам возле туманной, сентиментальной, тоже целомудренной немки, вечно занимавшей свою воспитанницу жалобной повестью своего далекого обручения и прелестями любви, не подозревая, что они несколько близки головокружению и наслаждению.

Но Сабина, соединявшая в себе французскую раздраженную точность и ясность отца с итальянской страстностью матери, вдыхала эти воспоминания с задыхающимся и трепещущим упоением.

Вечером, в классной, тяжелой от черно-красных гардин, печальной от ореховой мебели, она, положив локти на стол, сжав руками голову, со взглядом, освещенным лампой и разгоряченным глухим волнением, опьянялась грустью своей воспитательницы, ее рассказами о встрече, о клятве, о прогулках по садам и площадям маленького вюртембергского городка, об измене юноши, покинувшего невесту, умирающую с горя и преданную ему навек.

Эта любовь делала в ее глазах скромную воспитательницу сияющей и легендарной.

Уважение, с которым та относилась к своему приключению, уясняло Сабине, что в восторгах и неудачах страсти – все назначение, вся гордость и все достоинство нашей судьбы.

Она стала жить идолопоклонницей страсти, замечая из всего, что узнала, лишь обжигающие места истории, мгновения страсти на человеческих лицах.

Она бредила Элоизой, Жанной д'Арк, наделяла ее сентиментальным волнением при встрече с королем Карлом и, подолгу разглядывая географические карты, любила вызывать в своем воображении белые очертания сладострастных городов, вроде Мессины, и Азовское море, полное сладких струй...

Пламя у этой девочки поднималось из глубины крови, достигало мозга, зажигало в ее мысли, в ее рассудке пляшущий красный пожар. Ни одного суждения, никакого удержу не было в этом уме, переполненном первой волной. Во мгновения религиозного подъема, она измышляла всевозможные ежедневные искусы, жаждала всех строгостей Кармэля и сразу от этих мерок совести переходила к самому резкому дерзновению, к полному освобождению всего существа, к сознанию неизбежности и древнего рока.

Встреченное ею к пятнадцати годам в какой-то книге изречение Спинозы: «Вера в нашу свободу есть только неведение причин, заставляющих нас действовать», – напоила ее светом, как бы успокоила в ней прирожденную муку.

Все же ей предстояли еще извилистые, скорбные пути, на которых ее душа металась от веры к безразличию. Потом наступило спокойствие, она стала брать от религии лишь ее позолоченные празднества, ее запахи, хранимые в священном воздухе, и медленно проходила вдоль церковных чудес из камня и стекла.

С отцом своим, просвещенным, тонким и рассудочным, она говорила обо всем. Спорила и утверждала, как другие клянутся. Вслед за ее утверждением постоянно слышалось: «Клянусь, что это так!» «Это правда», она произносила голосом, которым бы крикнула: «Дайте пить!» – с уверенностью, почерпанной в самых недрах ее существа...

Ей минуло шестнадцать лет; это был бурный год; она властвовала над окружающими:

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru над г. де Розэ, снисходительно и любезно шедшим навстречу растущей в ней женщине, и над гувернанткой, которая так чтит социальный порядок, что теперь с благоговением созерцала эту воспитанную ею молодую девушку благородной крови.

Друзья отца, их сыновья, несколько сверстников Сабины, бывали у них в Париже и гостили летом в замке г. де Розэ в Турене.

Сабина радовалась играм и воздуху и ощущала своим окрепшим сердцем, что более здоровое чувство жизни уменьшало в ней грусть и томность, заставлявшие ее в детстве страдать от сумерек, мягкого запаха петуний, осеннего ветра в камине, резкого крика ласточки.

Теперь она смеялась, забавлялась, загромаждала свое время ребяческими кознями. Ей нравилось волновать окружающих юношей, заставлять их жаждать цветка, который она сорвала и подержала в руках, яблока, к которому прикоснулась. Находясь с ними, она сознавала силу своего очарования и своего природного, все растущего знания уловок и взгляда и гордилась тем, что, благодаря своей исключительности и положению отца, стоит выше их надежд и желаний.

Мысль, что эти незначительные и милые молодые люди могли бы добиться ее руки, вздымала ее на дыбы, отвращала ее душу.

Думая о любви, она не представляла себе простых радостей молодого союза, согласия семьи, долгих дозволенных уединений; она бы не оставила, в темноте, своих рук в руках одного из этих терпеливых, набожных и робких юнцов; более острое волнение захватило ее однажды вечером. Один итальянец, по имени Фабий Маури, государственный человек, с которым г. де Розэ встречался в Риме, как-то проездом по Турену обедал в замке.

Сабина его не знала и не обратила на него внимания, несмотря на прекрасный склад его лица. Она продолжала смеяться и болтать с несколькими сверстниками.

Этим вечером, после обеда, в замок зашли бродячие певцы, переносившие из города в город один и тот же напев. В гостиной, обитой деревом и генуэзскими холстами, под лампами, спущенными с потолка, началось пение... Они играли на скрипке и на гитаре и пели грустные и страстные стихи – бесхитростная поэзия, где речь идет о солнце и красавицах, увиденных нищим артистом за стаканом вина.

Сабина слушала; она точно пила музыку глотками с этим трепетом век, легкой дрожью ноздрей, являющимися как бы движениями жажды и как бы наполняющими и утоляющими раскрытую и горячую душу. Затуманенная до головокружения, она рассеянно оглянулась и встретилась с тайным и упрямым взглядом Фабия, уже давно, без сомнения, на нее направленным.

Музыка только что кончилась. Итальянец встал и подошел к молодой девушке; они заговорили. Вещи, которые он ей говорил, не были значительны, да и он сам, по-видимому, на них не настаивал. Словами он, казалось, пользовался лишь для того, чтобы легче и законнее проявить свое усиленное внимание к м-ль Розэ, и Сабина, в смущении, отвечала ему неловко.

Она с приятным волнением замечала удивительный взгляд этого человека, взгляд хищный, сожженный, как бы изнеможенный от жара, и звук его смеха, жестокий и нежный. Он уехал на следующий день, она с ним больше не увиделась и больше о нем не думала, но та же девушка, только с раздражением и какой-то глубокой телесной униженностью переносившая надежду некоторых молодых людей на брак с ней, со сладостной гибкостью и чудесным потрясением гордости стерпела резкое желание этого мужчины.

Еще два года прожила Сабина этой беззаботной, сильной и веселой жизнью.

Однажды ее отец, возвратившись из путешествия, объявил ей, сначала нерешительно и нежно, о своей предстоящей женитьбе на молодой австрийке, чье присутствие, по его словам, явится для Сабины очаровательным развлечением.

М-ль де Розэ не поверила в возможность его слов. Это меняло всю ее жизнь. Первой мыслью ее всегда было, что то, что слишком бы ее огорчило, минует ее, несмотря на все.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Она стала умолять отца с самым доверчивым отчаянием.

Она почувствовала, что любит его ревниво, с мистическим тяготением к отцовской мудрости, и что безумие, которое он хочет сделать, меняет, убивает его в ее глазах.

Но г. де Розэ кончил тем, что оттолкнул ее, охваченный темной привязанностью к девушке, которую желал.

Тогда с обессиленной Сабиной сделался приступ душевной мути; ей трудно было есть и спать в отцовском доме; она подолгу рассматривала портрет родной матери, прижимала к себе гувернантку и говорила ей в слезах: «Только вы у меня!»

Она стала думать о замужестве.

Решилась она на него, когда г. де Розэ известил ее о своем отъезде в Вену, где совершится его свадьба, и о последующем путешествии.

Гувернантку отозвали к племянницам, внезапно оставшимся сиротами и которым она сочла теперь долгом посвятить свою жизнь.

Сабина обручилась с Анри де Фонтенэ.

Он любил ее, он не был светским человеком. Встречаясь с ним в течение полугода, она убедилась в его положительности и прямоте. Он принадлежал к небольшой группе молодых людей, занимавшихся наукой.

Вскоре Сабина с сожалением поняла, что этот человек, такой суровый с виду и все же слабый, как будто крепость тела не передалась уму, вносил в свои исследования скорее любовь к действию и движению на открытом воздухе, чем культ открытий и точности. В морских воздушных путешествиях, с их волнующими опытами, он больше всего любил горизонт, пространство, волну; и подчас его мечтательность, никогда не выражаемая и темная для него самого, устремлялась на голубоватый блеск звезды, удивлялась бесконечности.

У него не было воспитания и культуры грусти, и такие откровения грузно бросали его в ослепленную глубь самого себя.

Сабина была ему благодарна за то, что он любил книги, не как она, нетерпеливо и разрушительно, но усердно приобретая и соединяя редчайшие из них.

И прием, оказанный ей Марией де Фонтенэ, окончательно склонил м-ль де Розэ к этому браку, в который она вступала с усталой и побежденной душой.

II

Об этих-то своих прошлых днях и вспоминала в тот день потихоньку Сабина, лежа на оранжевом диване, посреди подушек, раздувавших вокруг нее свои лимонно-желтые шелка – английские шелка, мягкие и потертые на взгляд и ощупь.

Напротив нее – камин, где пламя, сжатое между двумя догорающими поленьями, подымалось и опускалось. Вокруг всей комнаты легкие стеклянные книжные шкапы; наискось, в одном из углублений стены, открытый рояль с оставленными на пюпитре партитурами.

На рояле пурпурная бархатная ткань, затканная тяжелым серебром и вырезанная, очевидно, из какой-нибудь древней ризы; на ней слепок восхитительного лица Бетховена, лица широкого и плоского, растянутого смертью и как бы раздавленного величием.

А там, на столиках, в углублениях между мебелью, одноцветные, наподобие японских, вазы, сплошь желтые или травянисто-зеленые; и в вазах цветы, распространяющие кислый запах усталых венчиков и мокрых стеблей.

За окном смеркалось и темнело от метели, и г-жа де Фонтенэ понемногу задремала, заснула в этой тихой-тихой комнате, где спокойно тикали часы, отмечая лишь ленивые и беспечные мгновения; и книга сонетов Ронсара, которую она пыталась было читать, так и лежала в ее открытой руке.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Спавшая еле-еле Г-жа де Фонтенэ слышала часы, чувствовала теплоту замкнутого вокруг нее воздуха, угадывала холод и тьму за окнами. Жизнь казалась ей мягкой и доброй. Долго лежала она так, уступая дремоте, прерывая ее, чтобы еще лучше ею насладиться, вновь в нее погружаясь... Ничего лучшего ей не хотелось... Раздался звонок.

«А! – подумала она. – Вот Анри пришел, и другие скоро придут, надо вставать и одеваться».

Она встала и сошла по лестнице к себе в комнату. Дорогой она встретила с Анри, которому с нежным и добрым взглядом протянула руку для поцелуя, и Пьером Балансом, близким другом ее мужа, братским гостем их дома.

– Здравствуйте, милый, – сказала она с веселым смехом, словно при каждой новой встрече с ним, а встречалась она постоянно, ее снова удивляло и товарищески забавляло видеть его таким привычным и все еще для нее чужим.

Вот уже год, с самого его приезда из Индии, как она беспрерывно с ним встречалась и все еще не знала его, замкнутая в себе, суровая и усталая, мало занятая другими.

Смех казался ей гостеприимной встречей, дружеским путем к этому человеку, до сердца которого ей не было дела.

Впрочем, если бы понадобилось, она сумела бы определить его характер, но, не говоря о вещах, она о них не думала.

– Идите в мастерскую, – сказала Сабина Пьеру и Анри, – сейчас подадут чай, я оденусь и приду.

Пьер Баланс был высокий тридцатилетний мужчина с узковатым лицом, короткой черной бородой и черными, слегка седеющими волосами; в его светлом, очень близоруком взгляде временами сказывалась беспокойная робость близорукости. Но обычным выражением этого лица были веселье и страстность, о которых свидетельствовал легко вспыхивающий румянец.

Пьер Баланс подружился с Анри де Фонтенэ еще в школе. На редкость умный и деятельный, он оказал влияние на образ мыслей и жизнь друга, приучил его к любознательности. Сам он – нетерпеливый и подвижный – ежеминутно освобождался от своих пристрастий и теперь занялся политикой, с гневом отдаваясь общественным преобразованиям и готовясь в депутаты.

Г-жа Фонтенэ, в шумном и свободном домашнем платье, легкая тяжесть которого, казалось, давила ее, так ее нежное и усталое тело легко сгибалось к вечеру, – поднялась в мастерскую, где Анри и Пьер сидели, куря, за чаем; только что пришедшая Мария сидела в качалке, покачиваясь и тихонько слушая.

– Что вы сегодня делали? – спросила Сабина Пьера, наливая себе чашку чая и как бы думая о том, что говорить.

– Почти весь день провел в Лувре, – ответил он, обеими руками разглаживая волосы, как это делают после буйного волнения. – Было великолепно. Ах, дорогой, Винчи! – прибавил он, беря Анри под руку.

И, произнося это, он глядел такими глазами, что те, к кому он обращался, невольно созерцали то же, что он. И сразу, круто он обрывал свое волнение, возвращался к обычному веселью, как если бы высокие напряжения мечты не годились для жизни.

– Вот Жером идет, – сказала Сабина, заслышав шаги по лестнице.

Дверь открылась, и вошел Жером Эрель. Он сосредоточенно и без улыбки поздоровался со всеми, считая, что вежливость несет в себе торжественность и глубокомыслие.

Молодой человек, таким образом вошедший к своим друзьям, был отдаленным родственником Анри; мать его, роднившая его с семьей де Фонтенэ, увлеклась одним польским музыкантом французского происхождения – Жаном Эрель, вышла за него

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru замуж, несмотря на сопротивление родителей, и поселилась с ним в Польше. У нее от него был сын, у которого с детства открылся музыкальный дар.

Она умерла к его двадцатому году. Молодой человек, оставшийся без средств, подумал было об уроках музыки; но болезненное душевное тщеславие, прирожденная и острая склонность к изяществу и безделию слишком затруднили ему этот заработок. Тогда он стал сочинять, был благосклонно встречен полюбившим его русским светилом и, получив к двадцати трем годам небольшое денежное наследство от одной из сестер отца, поехал в Париж, где его дружно встретили и окружили г. и г-жа де Фонтенэ.

Г. де Фонтенэ позаботился о том, чтобы ввести его в круг музыкальных знаменитостей, с которыми он пожелал познакомиться. Он работал, сочинял искусную и новую музыку, был очень предан г. де Фонтенэ.

Удовлетворенность самим собой, своей наружностью была озабоченной и не располагала к нему.

Г-жа де Фонтенэ предложила ему чашку чая, которую он принял молча. Пьер Баланс кричал, горячился из-за революции, Анри объяснял, что можно было сделать ее иначе. У него была мания переоценивать явления, уже совершившиеся. Сабина удостоверилась в том, что шум, который они вдвоем производили, споря, не мешал ей ни о чем не думать. Мария переносила взгляд с одного собеседника на другого, боясь ошибиться, выбрав одно из мнений.

Затем, желая быть вежливой, Сабина подошла к Жерому, рассеянно с ним заговорила; в его первые посещения она старалась беседовать с ним о его замыслах, карьере, чтобы заинтересоваться ими; она ими не интересовалась.

Этот молодой человек ей не нравился.

Хотя он и выглядел скромным и сдержанным, все же казалось, что речи окружающих не производят на него ни малейшего впечатления, не проникают в его мысли и не меняют их.

Г-жа де Фонтенэ чувствовала, что его не удивляет.

Она и не желала его удивлять, но ей бы хотелось, чтобы это сделалось незаметно для нее, само собой; она привыкла слышать от окружающих: «Вы, сударыня, не то, что другие».

Она видела, что он занят собой, и оставила его в покое.

– Пусть теперь Жером нам что-нибудь споет, – воскликнул Пьер. Он не переубедил Анри насчет Мишле, историка, и с трудом душил свое недовольство.

Собрания у г-жи де Фонтенэ всегда кончались всеобщим желанием послушать пение молодого человека, но Жером Эрель не сдавался и находил предлог для вежливого ухода.

На этот раз он смирился.

Он взял папироску, зажег ее, положил на дерево рояля и стал играть.

Вокруг него молчали, каждый искал себе уютное положение для забвения и мечты.

Анри, не любивший музыки, брал какую-нибудь книгу, читал, не испытывая волнения от звуков, наполнявших комнату словно нежной молитвенностью и ладаном.

Жером в это мгновение играл и пел, слегка приподняв лицо, стараясь вспомнить слова, плохо державшиеся в памяти. Неуверенно блуждая по клавишам, он пел одну из восхитительных мелодий Форе.

Бледное лицо его из-под темно-белокурых волос с золотыми прожилками отражало волнение и тонкий восторг.

Он пел, и музыка, смешиваясь со словами, расцветала, чувственная и алая, как цветок, рожденный из крови.

Он пел, и это было, как легкая рана, откуда бы полился прозрачный и сладкий сок.

«Les roses d'isaphan...» – вздох выростал, возносился, начинался вновь, «dans leurs gaines de mousse...»[68] – еще раз вдыхалось и выдыхалось сладкое томление, «Les jacinthes de Mossouï, les fleurs d'oranger»[69] – склоненная и длительная нота дрожала, как палец, упертый в блаженное рыдание...

О, благоухание! О, опьянение! О, разбитый флакон Востока! О, раздавленные цветы магнолий, чей запах, умирая, убегает и плачет!

Весь воздух в комнате дрожал.

«Ах! – думала Сабина. – Музыка, музыка! мужчина и женщина – такие жалкие, любовь – такая невозможная, все вокруг нас такое грустное и низкое, – и музыка, дающая им во сне эти лучезарные тела, эти страдальческие, нежные рты, эти взгляды, более красноречивые и близкие, чем руки вокруг запрокинутой шеи... Господи! – думала она, – как это больно, и откуда это вечное смутное ожидание поцелуя?... Может быть, любовь – только большая жалость друг к другу тех, для кого музыка, стихи и вся красота – такое отчаяние...»

Жером встал и закрыл рояль. Было поздно, он собирался уходить. Он взял еще одну папироску. Он кашлял. Он взял ее в рот и зажег.

Сабина удержала его за руку:

– Оттого вы и кашляете, – сказала она, – вы все время курите. Не курите.

Она смеялась удивлению Жерома и собственной короткости, которой сама не ожидала.

И прибавила, слегка смущаясь:

– Ну да, ведь вы поете и это вам вредно.

– Ох! – смеясь воскликнул Пьер. – Уж эти мне музыканты! Все-то о них заботятся, вот счастливые! Во всяком случае, Жером, будете ли вы курить или нет, идемте. Я думаю пообедать на бульваре, это вас устраивает?

– Вполне, – сказал Жером. – Анри, почему бы вам не пойти с нами? Повеселились бы вместе?

– А дамы? – сказал Пьер с намеренно-смешным жестом, долженствующим изобразить воспитанность и сожаление.

– И дамы, конечно, – сухо зато ответил Жером, не допуская даже шуточного замечания, касающегося его вежливости.

– Что же, идемте? – спросил Анри, глядя на жену и сестру и в полной готовности сделать то, что им будет угодно.

– Идем? – сказала Мария, повернувшись к Сабине. И Сабина в затруднении не знала, что сказать. Она взвешивала оба желания и никак не могла решиться.

– Ну, реши, – настаивал Анри, – видишь, они нас ждут, а тебе еще нужно одеться.

– Тогда я останусь, – ответила она, направленная нетерпением Анри, – я устала и пообедаю с Марией. А ты иди, – ласково обратилась она к Анри.

– Хорошо, – воскликнул Анри, – все теперь? Тогда, – до свиданья.

– До свиданья, – ответила молодая женщина, – до свиданья, Пьер, до свиданья, Жером.

– Теперь давай обедать, – сказала Сабина, взяв Марию под руку и увлекая ее вниз по лестнице в столовую.

Они быстро покончили с обедом, любя сидеть за столом лишь за неимением более сильных удовольствий. На этот раз их ждала непринужденная и горячая беседа.

Они устроились в маленькой гостиной, рядом со столовой; обои цвета увядших роз; кресла времени Людовика XV с переплетенными на вершине их мягких выгибов двумя деревянными цветами; зеленые лаковые часы с крупными цифрами, – все это поселяло здесь тайную сладость XVIII века.

– Задернем занавески, – вздохнула г-жа де Фонтенэ, опечаленная мыслью о темной и холодной ночи, прильнувшей к окну, – и поправь полено, Мария, а то камин сейчас задымит.

Мария потрясла в огне щипцами, и чудесное полено, красное и серое, рассыпалось искрами.

– Так хорошо, – сказала Сабина.

И пока Мария устраивалась и протягивала к огню ноги, она растянулась на длинном диване.

– Бог знает, что они сейчас делают! – воскликнула она. – Любят ресторан, это их веселит, как странно! Гораздо спокойнее обедать дома, не задеваешь все эти чужие жизни. Мне лучше, – продолжала она, уходя в подушку, словно ища защиты и заботясь о себе, – мне лучше совсем не знать, что есть другие.

– Жером и Пьер – милые, – сказала Мария, глядя в огонь и развлекаясь движениями положенного ею полена.

Сабина ответила рассеянно и с большими перерывами:

– Да... Жером мне не нравится... У него очаровательный голос...

И как бы внезапно вспомнив:

– Ты видела, – продолжала она, смеясь, – как я попросила его не курить. Это с моей стороны было безумием, но после этого он мне показался уже менее неприятным. Любопытно, что люди сразу становятся немножко дороже, как только начнешь о них заботиться, прикоснешься к их жизни.

– А Пьер, – перебила Мария, – ты его любишь?

– О, да, у меня к нему большая дружба, он по-настоящему умен и так удивителен со своей раздражительностью, отсутствием памяти, с этими страстями. Бог весть, где и с кем. И минутами это забвение всего, помещичий вид...

– Он верный друг, – отчетливо подтвердила Мария.

– Особенно для тебя и Анри, которые его так давно знаете.

– Все же, – возразила Мария, – вы с ним как-то всегда во всем сходитесь, вы всегда заодно против Анри, когда говорите о политике.

– Да, правда, я схожусь с ним во многом, – ответила г-жа де Фонтенэ, – но не в беседах о жизни, о грусти, о слабости, о раздражении, о скверном настроении. Он всегда доволен, я люблю, когда жалуются.

– А когда жалуются, злое ты существо, – перебила молодая девушка, – когда жалуются, как, например, эта старуха, г-жа Мартэн, у которой умер сын и которая приходила к тебе плакать, – ты бледнеешь, тоже начинаешь плакать, два дня выбиваешься из сил, а на третий говоришь мне: «Мария, поди к ней ты, я больше не могу. Эти несчастные – ужасны, это меня убивает». Скажи, что ты этого не говорила!

– Я должна была так сказать, – задумчиво и грустно ответила Сабина. – Когда больше нет сил, от всего ограждаешься, даже от доброты, это-то и ужасно...

– Но тебе гораздо лучше, – продолжала Мария, в умилении и отчаянии взяв руку Сабины и прижимая ее к щеке.

– Да, милая, мне может быть лучше, а ты, ты, деточка, – воскликнула Сабина,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
целуя Марию, ибо нежность к ней всегда вызывала в ней сильнейшую ответную, – ты ведь довольна, правда, чего ты хочешь? У тебя все, чего хочется?

И прибавила тише:

– А любовь?

– Все по-прежнему, – весело ответила Мария, – никого не люблю, а тех, кто меня любит, жалею, – вот и все... Скоро опять начнутся вечера, мне даже не хочется бывать, мама устает, а я не веселюсь. Всех этих молодых людей я знаю и, наверное, даже к ним несправедлива, не могут же они, в самом деле, быть так глупы, как я думаю. Есть же у них дом, письменный стол, какая-нибудь книга, какая-нибудь работа, подписывают же они свою фамилию – ну, под письмом или счетом, – есть же у них какая-нибудь жизнь, а именно этого и невозможно себе представить, когда на них смотришь.

– Ты думаешь, – сказала Сабина, – что у них только и жилища, что фрак и перчатки, и что это тоже их библиотека?

– Вот именно, – смеясь призналась Мария, – совершенно точно. И, видишь ли, поэтому я и жду чего-то совсем удивительного, чего никогда не будет: кого-нибудь, вроде Филиппа Форбье, о котором всегда говорят Анри и Пьер.

– Да, – произнесла Сабина, – какой он, этот Филипп Форбье?

– Правда, ты его не видела? – удивилась Мария. – Он почти нигде не бывает, и к нему тоже не ходят, чтобы ему не мешать. Анри видится с ним не каждый год.

– Но, что он, собственно, – продолжала Сабина, – химик, философ, математик?

– Все вместе, – сказала Мария, – он пишет книги, читает лекции, кажется, немножко занимается ваянием. Он старше Анри, они когда-то встретились в комитете какого-то научного общества; Филипп Форбье был уже женат, у него было двое детей. Впрочем, – произнесла она уже быстрее, возвращаясь к их первому разговору, – если я не выйду замуж, это тоже хорошо; я совсем не несчастна; разве в самом деле необходимо выйти замуж? Непременно любить кого-нибудь и чтобы тебя любили?

– Но в этом, в твои годы, вся мечта, вся надежда, – ответила, оживляясь, Сабина, – а когда этого больше нет, когда проходит старость, надо уйти из жизни, если хватит смелости, потому что все кончено...

Обе молчали; потом поболтали еще о разных вещах.

Но Сабина, истомленная, думала о себе.

Думала о своем грустном и легком существовании, о своих ребяческих горестях, о радостях, которые ей давали уют и отдых, о радостях удовлетворенного тщеславия, о своей безмятежной нежности к Анри, и, совсем устав, вздрагивая у потухающего огня, уже укачанная сном:

– Знаешь, Мария, – сказала она, – о том, о чем мы сейчас с тобой говорили, мне кажется – ты права, любовь совсем уже не так много значит в жизни...

III

Зима с ее радостями холодов и затворничества прошла потихоньку, и в должный срок вернулась весна, сначала нечувствительная, с прежним холодом и новым теплом. Потом начались апрельские дни, с их резкими потоками желтого солнца и долгими белыми сумерками.

Сабина несколько изменилась. Она стала сильнее и живее и как-то вся расправлялась, вдыхая в себя новое время года.

Нрав ее делался ясным и простым. Она чем-то занималась, обращала внимание на других. Появилась также внезапная жажда развлечений, появились нежные и детски-сентиментальные желания.

Она говорила мужу:

– Сегодня мы пойдем в театр, вдвоем – вы и я, а Марии не скажем.

В другой раз она заставляла Анри стоять с ней вечером под луной у окна и, прильнув головой к плечу мужа, в позе томления и вздоха, пыталась, чтобы и он, как она, почувствовал смутную грусть.

И, упорствуя в желании видеть его подобным себе, говорила:

– Чувствуете ли вы, что вечер сегодня цвета молчания и дыма, – того дымного неба над полем битвы, как в панорамах. Это так грустно, и я это обожаю.

И прибавляла: «Когда все так прекрасно вокруг, как сейчас, мне хочется плакать, – а вам?»

Ему – нет. Он ласково говорил ей, что она сумасшедшая, что она простудится, что она читает слишком много пустяков, что он ее очень любит, что она это отлично знает, что ей пора спать.

Сабина, упорно требовавшая нежности, сердилась, молчала в течение нескольких дней и вдруг неожиданно появлялась – снова сентиментальная – в библиотеке, где работал Анри. Она нарочно для него приколотла к платю цветы, который снимала и давала ему.

Она садилась рядом с ним и мечтала о будущем.

Мечты, где они всегда были вдвоем – только он и она: на лодке, где-нибудь на Северном море, под Эльсинором; или на холмах Италии, взрытых длинными корнями маслин; или в каком-нибудь уголке Франции, в белом домике с балконом в розах, белым гравием и фонтаном.

Он отвечал, занятой и счастливый, одной рукой беря ее за шею, другой – держа книги:

– Ты хочешь слишком многого зараз, это не практично, но очень мило, – добавлял он, целуя ее.

Она продолжала, почти плача от избытка нежности:

– Разве вы знаете, как я вас люблю и как я вам отдаю все свое прошлое? Я иду к вам из самой глубины моего детства, почему вы меня не хотите, милый?

Он удивленно смеялся:

– Я тебя не хочу, Сабина? По-моему, ты сходишь с ума. Это я тебя люблю и всегда любил гораздо больше, чем ты меня.

– Почему же ты тогда все время занят и почему тебе никогда не грустно? – вздыхала она.

– Но зачем тебе непременно надо, чтобы мне было грустно, – теперь, когда ты совсем здорова, когда ты скоро сможешь жить, как все, интересоваться чем-нибудь, заниматься и, может быть, – ты увидишь, какое это тебе будет счастье – может быть, сможешь иметь сына, который тебя утешит в потере девочки.

– Нет, если бы ты меня любил, тебе было бы грустно, – говорила она, – как мне, с тех пор, как я тебя люблю, потому что хочется чего-то, я не знаю, чего хочется...

– В таком случае, – продолжал Анри, растроганный и немножко гордый, – дай мне поскорей покончить с этой книжной уборкой, а потом мы с тобой пообедаем где-нибудь в Булонском лесу; это будет отлично, милая.

– Да, – говорила Сабина, стараясь почувствовать глубокое удовлетворение и, напротив, чуть-чуть не плача, – в том-то и дело, ты не понимаешь, как я тебя люблю. Я тебя люблю за столько вещей и, помимо всего, за это сознание, что ты мой муж, что ты все, что у меня есть и будет, что нельзя же любить двоих в жизни!.. У меня к тебе такая глубокая, такая волшебная нежность от мысли, что ты для меня все-все...

Несколько раз в апреле и мае они одни, потихоньку, рядом, прячась от любопытства друзей, обедали в маленьких кафе Парижа, где носится низменный запах алкоголя и табака, и в ресторанах Булонского леса, полных людей и света.

Анри, довольный, хорошо ел и пил, гордился красотой жены и тем, что она пожелала быть с ним наедине. Сабина мечтала, ослепленная этими резкими ресторанными огнями, от которых душа точно мигает, разрываемая цыганской музыкой, которая, как хлыстом, рассеивала ее желания по вечернему ветру.

Пока ее муж курил и медленно глотал ликер и кофе, она сидела, облокотившись о перила террасы. Свежесть и сумерки опускались ей на плечи. Ночной час, с его жуткой жалобой, погружался на самое дно ее души жалким счастьем.

Вид вечера, серебряная роса выбивали ее из колеи, скрывали в ее воспоминании спокойствие ее дома, лик привычки. Она задумывалась и, мало-помалу, освобожденная от всякой совести, от всякой памяти, отдавалась неизвестности.

В нежной тени ночи она уже неясно различала неподвижные границы настоящего. Она уже ничего не видела, кроме своей души, откуда подымался к белой луне ужасающий крик о счастье; и Анри, спокойный подле нее, не замечал этого буйного лица, вытянутого волнением, как лихорадкой, и больного от избытка жизни...

После такой прогулки она, возвратившись в свою привычную комнату, понемногу создавала себе возле мужа подобие успокоения, какую-то нежную, цепкую и властную томность, которую он с доброй улыбкой усыплял на своей груди.

Однажды утром, глядя в окно на зеленый Париж, в котором она обитала, весь блестящий и смягченный от глубокого тумана, и слушая идущий из какого-то дальнего сада крик петуха – о, желтая солома! – г-жа де Фонтенэ ощущала нетерпеливое желание увидеть в эти последние майские дни весеннюю деревню.

Она попросила мужа отпустить или проводить ее в замок Брюйер, в Уазе – собственность г-жи де Фонтенэ, ее *belle-mère*, где та поселилась с Марией.

Анри охотно согласился. Он только что покончил с изысканиями и планами для постройки лодки, в которой нуждается для научных морских поездок. Он проводит Сабину, отдохнет, целый день будет удить рыбу.

– Мы проживем там недели две, – сказал он, – и отлично, можем взять с собой Жерома, который обожает деревню.

– А Пьера? – спросила Сабина.

– Пьер не захочет. Он сейчас ссорится с этой актрисой, которую кто-то там любит или не любит. Он на нас дуется.

Сабина расцеловала Анри с блаженством. Это путешествие ее восхищало. Она в тот же вечер занялась отъездом: побежала купить себе большую шляпу из легких стружек, на которую набросила красные шелковые маки, и, надев ее, почувствовала в себе новую душу – деревенскую, простую и чувствительную, как в пасторалях.

В замок г-жи де Фонтенэ Сабина с мужем приехали к обеденному времени. Замок этот, построенный в XVII в., возвышался, изящный и крепкий.

Широкие его окна, разделенные на квадратики, глядели на круглые лужайки. Чаша незабудок, задущенная мшистыми листьями, блестела в траве, как маленькая волна с гребнем из голубых лепестков.

Немного в стороне низкий дом смиренного и трогательного вида. Там жила дворня. Глядя на него, вспоминалось какое-нибудь жилище г-жи де Варенс с его белыми ставнями, резным балконом и деревенской стеной, заросшей виноградом.

Сабина с самого приезда, закрыв глаза, с грустным безумием вдыхала запах, разлитый по замку: запах паркета, гладких и скользких плит, торжественных стульев, деревянных ларей и ковров. Глубокое безмолвие воздуха давало чувствовать медленное биение времени.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Она увиделась с Марией и матерью мужа, пообедала и легла спать, совсем разнеженная от вернувшегося ощущения ребячества и каникул.

Молодая женщина от всей души радовалась предстоящей жизни в замке, несмотря на неприятное общество матери мужа. Эта женщина жила только окружающим. У нее была поддельная страстность и мало ума.

Ее природа обрекала ее на домашние заботы и муку светских отношений. Красивая прежде, она еще оставалась красивой в пятьдесят лет. Прожив не думая и так же старясь, она была всю жизнь счастливой и добродетельной по рассеянности. Ее легкая доброта не внушала доверия; ум у нее был живой и рассеянный. Сочувствие ее удивляло, враждебности она не чувствовала. У нее не было набожности, но волнение, изредка ее посещавшее, сразу наводило ее на мысль о Боге; прекрасный закат или какая-нибудь страница Шатобриана служили ей для объяснения мироздания по Библии. Она любила сына и дочь, не как собственных детей, но как людей, с которыми долго прожила и в которых нуждалась.

Для своей *belle-fille* она была внимательной и чинной хозяйкой дома. Вне взаимных поклонов и любезностей они почти не считались друг с другом.

На следующее утро Сабина проснулась в комнате, полосатой от света, обитой прекрасной розовой тканью, зацелованной солнцем. Полотно еще пахло коноплей.

Она посмотрела на мебель, расставленную в комнате, коричневую, деревянную, разукрашенную, как на сцене, в комедиях Мольера. Старый цветистый шелк одного из кресел сохранил еще яркий и резкий блеск какого-нибудь деревенского праздника; глядя на него, вспоминалась пастушеская шляпа, волынка и грабли.

Сабине подали завтрак.

Веселый фарфор окончательно развлек ее. Старинная, несколько сельская посуда, белизна фарфоровой глины, расписанная маленькими пейзажами цвета румян или большими распустившимися тюльпанами. Сахарница, чашки и кофейник – все разрозненные, взятые наугад в каком-нибудь старом шкапу и напоминающие об одной из трапез бедного Руссо с его Терезой.

Весь день был прелестен. Сабина и Мария, гуляя, сияли и смеялись в воздухе, затканном серебром.

Анри с утра облекся в костюм туриста, в соломенной шляпе, с удочками за плечом, сеткой и руководством для ужения в руках ушел на реку, намереваясь удить по всем правилам науки.

Он потребовал для себя спокойствия, одиночества, молчания. Его будут видеть только в часы трапез. С довольными и блуждающими глазами, ничего не различая из очарований окружающей природы:

– Хорошо! – говорил он, – в деревне!

Его сестра и жена, счастливые встречей и возобновлением гибких, спутанных, обычных бесед, переходили от скамейки к скамейке, захватив с собой вышивание и книги; то ища, то избегая солнца, они то были под липой, где тысяча двигающихся пчел шумели вокруг них, как горячий ветер, то на лужайке, по которой перебежали зайцы, то в свежей беседке, заросшей плющом.

Мария рассказывала домашние происшествия, последние прочитанные книги, то, о чем думала с тех пор, как не виделась с Сабинкой. Внимательная к окружающему, она по временам в точных и прочувствованных выражениях отмечала свойство местности или волнение, которое испытывала. После чего, казалось, вещи, о которых она говорила, ее уже больше не занимали, переставали присутствовать в ее жизни. Ее последовательный и ясный ум справлялся с явлениями формулой.

Это минутами досаждало Сабине, смущало и разбивало в ней ту тайную подавленную силу, с которой она ощущала радость.

Мария говорила, а г-жа де Фонтенэ, опустив голову, вбирала в себя кочующую лихорадку нарождающегося лета, лихорадку, подобную ветру над бархатистыми растениями, берущую душу и распалюющую ее на тонкие, жаркие желания.

К вечеру, как в полдень, опять прозвенел колокол, серебряный, фарфоровый монастырский звон, пляшущий по листве и призывающий к обеду.

Сабина, одетая во что-то легкое и кружева, стояла на крыльце с непокрытой головой. Сумеречная грусть, от которой вздрагивают деревья, стекала по ее волосам, по ее боязливой коже в широкую ее душу.

Она глядела на погасшее небо и на ласточек, пролетающих, не двигая крылами, накренившись, как валкая лодка... Она думала обо всем, чего ждала от жизни и чего не было.

Все же, раз есть это нежное, алое небо, это тепло, пахнущее акацией, эта лихорадочность разнеженной земли – любовь и счастье тоже необходимы и возможны. Не ее слабая, болезненная любовь к Анри, а чудо неизбежной любви, которое привело бы к ней сейчас, в это мгновение, из глубины сумерек – незнакомца, который бы ей сказал: «Кто вы и кто я – безразлично, но весь этот лиловый вечер, вся весна, все мое желание и все наше мечтающее тело хотят, чтобы вы шли со мной...»

Мария позвала Сабину, ее ждали к обеду. Тогда она пошла к остальным, в столовую, пахнущую первой клубникой.

Затем в звонкой, низкой, почти пустой гостиной, вокруг стола, где между двумя горшками бегоний стояла желтая лужа света от лампы, потянулся в терпеливых играх вечер; выкрикивали карты. Сабина немножко засыпала, ее *belle-mère* обмахивалась веером, не столько из необходимости, сколько из желания взволновать вокруг воздух, привлечь на себя внимание.

Поднявшись к себе в комнату и растянувшись на кровати, с еще раскрытыми глазами и горящей свечой, Сабина думала, мечтала. Напротив, на стенке висел портрет юной женщины, в овальной раме. Внизу надпись:

Генриэтта-Анна де Рошгранд,
маркиза де Фонтенэ,
умершая в 1771 г.

Сабина глядела в это смеющееся лицо, розовое, под узкой, напудренной прической, на платье, обшитое галунами, на легкомысленные руки, перевитые гирляндой из роз.

Смех на этом искусственном и очаровательном лице был так ребячлив и непрерывен, что казалось, в какой бы тени ни пребывала отныне женщина, так смотревшая на мир, она все еще смеется этим смехом.

Сабина из самой глубины братственной души созерцала теперь это существо минувших дней, которое, обманывая природу румянами щек и пудрой волос, некогда имело о вселенной самое тонкое и вымышленное видение.

Как у смерти хватало смелости прикоснуться к этим тонким и поддельным женщинам, сплошь переряженным, бросавшим в любовь и страдание мнимые тела и комедийные волосы и принимавшим, в смертный час, тайну таинств с изящной и смеющейся любезностью.

Сабина отяжелела, глаза ее затуманились и горят. И вот уже чудится ей, что постель улыбается своим красным ртом и начинает:

«Сабина, по моему платью *soie dauphine*, в разводах, и по ленте, которая окружает мою шею, ты видишь, что я жила в шаловливый век Регента и Людовика Возлюбленного. Я обитала в Версале и нескольких замках на берегах Уазы.

Я любила наслаждение, все мы любили наслаждение, мужчины и женщины без страха и сопротивления уступали прелестному влечению, толкающему их друг к другу. Мы украшали природу и наряжали жилища для любви и удовольствия. Мы в течение всех часов нашей хрупкой жизни увешивали стенки, ширмы, и фонтаны в садах, и храмы в парках розами, вьющимися лентами, голубками и раковинами.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Раковина – основа и знамение нашего времени, и это легко понять, ибо воистину из раковины Афродиты вышла наша надушенная, влюбленная и божественная эпоха.

Мы вели, под звуки клавесина, медленные, изнемогающие танцы, горячившие нам глаза и изображавшие жадность, вздох и обмирание.

Мы любили рощи, листву, росу. Мы одинаково преуспевали в чувственных песенках и в смелых речах; наше непочтительное неверие было у нас на языке, как зеленый плод, коего горьким, кислым и острым вкусом мы наслаждались.

Мы любили любовь, это была единственная забота нашей жизни, у нас не было другой.

Мы не были легкомысленны. Мы были философами, энциклопедистами, геометрами, химиками или астрономами, смотря по любовникам. Мы помогали в работе Руссо и Вольтеру. Они писали нам мадригалы, а мы написали им несколько глав к их книгам.

Мы любили любовь, и некоторые из нас служили ей с темной дикостью. Вздохи бедной Леспины заставляют еще на земле дрожать руки, перевертывающие страницы ее книги.

Мы оставили после себя миру тонкий, раздражающий и глубокий запах. шелковые платья, облежавшие наши танцующие ноги, благородно расстилаются на диванах прекрасных жилищ. Эстампы, изображающие нас за плетением полевых гирлянд или освобождающими птиц из тростниковой клетки, безумят чувствительные души. соломенные шляпы и листва на наших головах глубже ранили желание, чем обнаженные бедра древних нимф.

Ах! ты не знаешь, как мы смеялись и резвились в рощах, под звук волюнок Рамо, тогда как Ватто, грустный из-за всех нас, плакал от шума юбок из скрипучего шелка...»

Сабина проснулась поздно утром, удивленная стуком подъезжающей коляски.

Она выглянула в окно и, ничего не видя, наспех завернулась в халат и, придерживая его на груди, сошла вниз.

Это приехал Жером Эрель, она забыла, что его ждали сегодня утром.

Встрече с ним она обрадовалась, он приносил ей парижский воздух, воспоминание о ее доме. Но ей было неприятно за свою одежду: она испытывала нечто вроде стыда, смущения за это утреннее лицо, еще так близкое ко сну и вставанию.

Жером восхищал мать Анри, которой он изъяснял уступчивость молодого, скромного родственника, уважение и почитание титула.

Ожесточенная и шумная, она пользовалась этим, чтобы посвящать Жерома в мельчайшие неприятности своей жизни, характера, здоровья. Молодой человек, казалось, слушал ее не с родственным участием, которое было бы невоспитанным, но с откровенным и усидчивым вниманием. Это, главным образом, и раздражало Сабину, когда она о нем думала – эта его привычка не отличать удовольствия от скуки, ценного от посредственного. Руководствуясь каким-то сухим и стоическим тщеславием, он, казалось, все, что делал, считал достаточно интересным и приятным уже потому, что это делал он. Сабина подумала, что в поверхности вся его сущность: вежливость заменяет ему сердце, воспитание – героизм. Он бы легко пошел на смертельную опасность из-за самого обыденного пустяка. Качество цели его не занимало.

Все же она, на другой день, согласилась с Марией, что в деревне он приятен.

Во время прогулки по лесу с Сабинной он с внезапной доверчивостью стал говорить о себе приятно и просто.

В этот день, после завтрака, Анри стал настойчиво уговаривать двоюродного брата идти с ним на рыбную ловлю:

– Только вы не будете говорить, у рыбы тончайший слух, у меня в книге говорится...
– Он разглагольствовал теперь уже научно о вещи, к которой, в данную минуту,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
устремлены были все его желания.

– Я лучше останусь, – ответил Жером и покосился на Сабину, смеясь и подтрунивая над Анри. Сабина тоже засмеялась, это окончательно рассеяло смущение; у них теперь была общая тайна: добродушная насмешка над Анри.

«Этот мальчик может сделаться мне другом, – подумала молодая женщина, – и я тоже могу ему быть полезной».

Ее воскресающая жизненность вселяла в нее жажду добра, дела, в котором она бы главенствовала. Ей хотелось испытать на Жероме свое умение, тем более, что он был одновременно и ясным, и скрытным и что требовалась хитрость для распознавания этого нрава.

Несколько соседних помещиков приезжали иногда с визитом к г-же де Фонтенэ, матери Анри; она устраивала им стремительный, бурный и дикий прием, похожий на похищение. Сабина, Мария и Жером, сидя немного поодаль, в каком-нибудь уголке гостиной, забавлялись торжественностью любезных движений и пустотой речей.

– Как люди счастливы, – говорила Сабина, – что у них такая любовь к пустякам, что они любят не только главное в жизни! Вот, например, г-жа де Плесси, некрасивая, стареющая, с хромоногой дочерью, которая вдобавок не выходит замуж, – у нее только и забот, что дворянская книга.

– Она думает, – сказал Жером, – что платья из жесткого шелка и накидки со стеклярусами – наивысший идеал красоты...

– В ее глупости и тщеславии есть героизм, – продолжала Сабина, – она бы из вежливости отдала визит зимой, несмотря на грипп. Об этих вещах она будет думать в лихорадке, в предсмертном поту. Для всех этих людей светская невоспитанность – большой ужас, чем все несправедливости природы: старость, болезнь, смерть. Они плачут и кричат лишь о том, о чем прилично кричать и плакать.

– В этом, – сказал Жером, – есть известное изящество...

– Да, – сказала Сабина, – но в этом меньше принуждения, чем природной бедности. А потом, – прибавила она буйно, словно желая наполнить весь воздух своей волей и вздохами, наконец, свободно, – я, я люблю природу, силу и жизнь, все, что кричит, что бросается и падает, всю человеческую невоспитанность, такую трогательную и чуткую.

– А я люблю порядок, – удостоверил Жером, – вы, – продолжал он тихонько, – вы – другое дело, вам лучше знать.

– Какой он вдруг милый, – воскликнула Сабина, глядя на Марию.

И они все вместе рассмеялись над непривычной лестью Жерома.

Вечером, вернувшись в свою комнату, чтобы переодеться к обеду после маленькой прогулки с Марией по июньскому солнцу, цвета подсолнечника, Сабина с удовольствием нашла у себя на столе письмо от Жерома Эрэля.

Это было несколько детское, длинное письмо, безо всякой надобности, с почтительными, старательными и сложными фразами. Некоторые описания напоминали сентиментальное сочинение. И письмо это оканчивалось разом, обрывалось двусмысленно и умело.

Оно обрадовало Сабину, любившую чувствовать свою значительность; это делало ее веселой и физически гордой.

Молодая женщина весело оделась и, закалывая перед зеркалом волосы, наслаждалась горячим изображением своей юности и красоты.

В гостиную она вошла с намеренно-рассеянным видом и поблагодарила Жерома небрежно и все же неявно для остальных.

«Как странно! – подумала она. – Мне хорошо только, когда тайна и приключение, иначе я робею, дружба меня стесняет, даже Жером до сих пор меня смущал...»

Она радовалась этой маленькой победе, одержанной над его мрачным и замкнутым умом. И это удовлетворение рассыпалось в смех, в вспышках взгляда, в учащенном внимании к Анри, к которому ее дружески приближала всякая радость.

После обеда, во время карточной игры, Сабина постоянно чувствовала на себе бешеный взгляд молодого человека, эти серые глаза, затемненные душой.

Она ощущала его, не видя, всем своим существом и сердцем. Это ее восхищало, и, оживленная и свободная, она отвечала на эти настоящие счастливой развязностью, уверенными, властно-дружескими движениями.

– Жером, – внезапно говорила она, кладя ему руку на руку, – я запрещаю вам бросать эту карту, это слишком глупо, возьмите ее назад.

И он, удивленный, смущенный, смеясь под конец, глядел ей прямо в ее прекрасное, радостное лицо.

Дни проходили, сокращенные постоянными встречами, разгоряченные молчаливым толкованием слов и взглядов. Сабина была довольна; кроме этого, она ничего не знала. Она говорила себе: «Этот мальчик в меня влюблен» – и эти слова окружали ее словно солнечным дождем, за которым ничего уже не было видно.

Она жила стремительно: одеваясь, выходя, смеясь, все начиная сызнова.

Вечером, когда Жером садился за рояль и пел, она чувствовала такую радость, что боялась, как бы это не отразилось на ее лице, и пересаживалась спиной к свету.

Когда она говорила ему: «Спойте это», а Мария: «Нет, вот это», Сабина рассматривала ее с простодушным и гневным удивлением, как если бы молодая девушка присвоила себе право, принадлежащее отныне только ей.

Однажды вечером он пел, обращая к ней улыбку, один из этих разнеживающих романсов, где звуки, смешиваясь со стихами, создают пейзажи и счастье.

Сабина, в смущении, смотрела на него с жадностью.

Нежные веки молодой женщины и ее улыбка трепетали, как звезды в ночи.

Любопытная и своевольная, она наблюдала лицо молодого человека, черный и белый блеск зрачков, белокурые волосы с розовыми отсветами, – и потом закрывала глаза, и душа ее следовала за другой душой до самого дна поющего горла.

Но с такой поразительностью она редко ощущала, обыкновенно она была легкомысленной и тщеславной; самым определенным из ее занятий было, проснувшись ночью, пересчитывать года молодого человека и собственные – они были ровесники – и радоваться, что столько лет им еще быть друг для друга совершенно теми же: ей – красивой и доброй, ему – предупредительным, избалованным, застенчивым и благодарным.

Хотя г-жа де Фонтенэ и не созналась своей *belle-soeur* во внимании Жерома, ей не сделалось неприятно, когда та его заметила и ей о нем сказала, думая открыть Сабине тайну:

– Я уверена, что он начинает тобой увлекаться, обрати на него внимание.

– Ты думаешь, вот безумие! – ответила Сабина.

И хотя она и защищалась с виду, но любопытство Марии ее радовало, она любила все, что усиливало ее нарождающееся чувство. И когда Мария, впоследствии, перестала наблюдать за Жеромом и говорить об этом, Сабине стало досадно.

Ни о чем не думая, она и не думала о возвращении в Париж, когда однажды утром Анри объявил ей, что его зовут обратно и что они уедут из Брюйер на следующий день.

Мысль об отъезде их всех опечалила. Решено было, что Мария с матерью тоже скоро вернутся в Париж и что Жером пока погостит у них еще несколько дней.

Но веселье исчезло, никто не ценил остающихся минут.

– Как же мы проведем наш последний вечер? – говорил Анри, блуждая в день отъезда вместе с другими по саду. Он держал сестру под руку и тяжело висел на ней.

– Я устала и остаюсь здесь, – сказала Сабина, указывая на деревянную скамейку, прислоненную к старому, заросшему плющом, орешнику.

– Тогда я тоже остаюсь, – вздохнул Анри, огорченный отъездом, и, увлекая за собой сестру, растянулся на траве, по другую сторону аллеи.

– Я тоже, – сказал Жером, опускаясь возле лежащего Анри.

Сабина с той стороны смотрела на них.

Анри, хотя и огорченный предстоящим отъездом, – он привыкал к месту, как только в нем поселялся, – все же спокойно наслаждался прекрасной тенистой листвой; он брал от воздуха не благоухающую нежность, шедшую к нему от ближней корзины с резедой, но здоровящий кислород.

Он говорил по-детски весело:

– Прекрасный вечер, кажется, ветер немного меняется...

Он не думал, что движения природы способны давать благоразумным людям нечто другое, чем жизнь и здоровье.

Жером сидел на траве, напротив Сабины; приподнятые колени немного закрывали ему подбородок. От времени до времени он подносил к губам стебелек и кусал его. Было удивительно жарко. Жером жаловался на жару. У него был тот угнетенный и оживленный вид, то светлое, розовое и легкое лицо, которое летом бывает в юности.

Так как он сидел ниже Сабины, она немного видела его руку в рукаве полотняной рубашки, с твердыми, отстающими манжетами. Белая глянцевиная рука, пальцы тонкие, несколько широкие в нижних суставах.

Она говорила и смеялась со всеми ними. Глядя на Жерома, она испытывала удовлетворение, уверенная в своей власти над ним, радуясь господству над этим восприимчивым и юным умом.

Ее умиляло то, что он этим прекрасным спадающим вечером сердится на жару, и то, как он, сражаясь с комарами, отбрасывает руками воздух; эти движения сдвигали его шляпу, и она соскальзывала назад. Сабина находила его очаровательным, с его детским раздражением, и минутами они глядели друг на друга без особенной глубины и пронзительности, но с полной и ясной страстью.

– Значит, – вздыхал Анри, который тем более жаловался, что не чувствовал большого огорчения, – мы после обеда садимся в поезд и к ночи будем в Париже, – вот весело! И еще эта светская жизнь; Сабина будет отрывать меня от занятий, чтобы таскать по балам.

– Попробуйте сказать, – перебила Сабина, у которой страсть к чужой точности была развита до крайности, – попробуйте сказать, что я вас часто заставляю ходить по балам, я ложусь в десять... Вот ложь!

И пока она так, шутя, ссорилась, она думала о другом своем, – новом сердце, менее жаждущем покоя, о новом взгляде своем на мир.

Мария молча смотрела в сумерки.

– Ах, Сабина, – прошептала она, – какое розовое небо! Эти полоски, как вычесанная шерсть, точно птичьи лапы тащат все это розовое!

– Да, – ответила ее belle-soeur, чьи глаза, жадные на горизонт, слегка улыбались, – глядя на это небо, представляешь себе Восток, жаждешь какой-нибудь сказочной местности, где солнце над песками, как апельсин, истекающий соком.

– Слышите, синица? – спросил Жером. – Она точно острит клюв о сочную, надтреснутую сливу.

– Правда, – ответила Сабина, задумавшись.

Тень опускалась, она уже не видела руки Жерома, лежащей на траве.

Он подошел и сел рядом с ней, говоря, что устал от лужайки.

Он зажег папиросу.

При свете восковой спички она увидела эту руку с восхитительной зеленовато-голубой жилкой, приведшей ее в смущение, когда она представила себе драгоценную струю крови.

И тем временем, как молодой человек, с лицом, запрокинутым в вечер, тихонько напевал, Сабина, отговорившись свежестью, встала, ушла, чтобы только не схватить этой руки, опершейся рядом с ней о скамейку, и не прижать ее без памяти к лицу.

IV

Никогда еще г-жа де Фонтенэ не была такой деятельной, как со своего возвращения в Париж.

Пьер Баланс смеялся над ней за ее привычку ежеминутно повторять: «Господи, сколько у меня дела на завтра! Никогда не хватит времени...»

Все ее столь спешные дела заключались в поездках к портнихе, где она заказывала платья по старинным портретам, и к антиквариям, где не могла не поддаться искушению купить какую-нибудь саксонскую вазу или кусок старого цветастого шелка.

Жером Эрель питал тонкое, женское пристрастие к эпохе Людовика XV, круглой и усыпанной букетами.

«Когда он вернется из Брюйер, он найдет у меня эти новые безделушки, – это его позабавит», – думала Сабина.

За пять дней разлуки она получила от него два письма: одно длинное, почтительное и сдержанное, другое, с описаниями природы, напоминающими нарисованную картинку и сентиментальными, как херувим.

Она, улыбаясь, вспомнила, что, не считая этих вежливых писем и учащенных любезностей, он еще ничем не сказал ей о своей любви. «Бедный, – вздыхала она, – он не решается».

Она предвидела очаровательное парижское лето с ним, удивленным и счастливым ее дружбой, и потом долгие совместные дни в Дофинэ, в имении Анри, где они жили с июля до ноября.

«Деревня ему идет», – думала она, воскрешая в памяти всю повадку и лицо Жерома, его романтические волосы, его серые глаза, цвета легкого тумана, холодные и зачастую жесткие, где мысль и выражение медленно поднимались со дна замкнутой, тайной души.

Она находила в нем сходство с Адольфом Бенжамена Констана, с Вертером, с любовником Манон, и так простодушно переносила на него любовь к этим героям, что он представлялся ей действительно исполненным их лихорадки и грусти.

В видимой жизни молодой женщины ничто не изменилось.

Она была привязана к Анри. Она не думала, что поступает дурно, занимаясь Жеромом, это было не больше, чем если бы она внезапно пристрастилась к живописи и часто посещала залы Лувра.

И потом, она не задумывалась, она жила в легком волнении, в ощущении растущей жизни и бесконечности.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Более общая непринужденность дружески приближала ее к Пьеру Балансу. Ей понравилось говорить с ним. Она восторгалась его ясными, подчас суховатыми мыслями, как бы зажатыми между его узких глаз.

Но она сравнивала его и всех остальных с Жеромом, и все казались ей настолько меньше ее двоюродного брата, что она не могла не верить, что они от этого страдают, что это отнимает у них все возможности радости и любви. Мысль, что у Пьера была любовницей актриса, которая его любила, ослабляла ее и печалила.

Но каковы бы ни были ее удовлетворенность и сладкая беззаботность, все же г-жу де Фонтенэ подчас, после чтения прекрасной книги или возвращения из театра, что-то отрывало от Жерома.

Она чувствовала себя тогда созданной для других земель, товариществ по храбрости и мятежу этим безумцам, пронзающим историю копьем и всю земную тень – одним-единственным желанием. И ей хотелось за раз и доктора Фауста, юного и таинственного, в сумерках, на маленькой площади его городка, и вишен Флоренции...

Но любопытство, в которое ввергал ее характер Жерома, быстро и резко возвращало ее к приключению, при всей своей незначительности, усложнившемуся неизвестностью.

Молодой человек вел себя у г-жи де Фонтенэ по-прежнему; только большая свобода в речах и общая непринужденность свидетельствовали о том, что он чувствует себя здесь желанным и нужным и радуется этому.

– У меня Пьер, у тебя Жером, – говорил Анри жене, когда та его спрашивала, что он сегодня собирается делать. – Предоставляю тебе музыку! О, с наслаждением! – добавлял он, зажимая уши уже от одного вида вечно раскрытого рояля.

Жерома, казалось, иногда смущало добродушие Анри и настойчивость Сабины, уговаривавших его остаться обедать, тогда он отказывался с редким упорством.

Г-жа де Фонтенэ хотя и видела в этом благоразумие, обычное для Жерома, но все же раздражалась, не находя нужным прибегать к осторожности в такой невинной связи и не понимая, как можно отказываться от самого приятного.

Она не встречалась с двоюродным братом вне присутствия Анри, Пьера или Марии, только что вернувшейся в Париж; но, не видясь с ним отдельно, г-жа де Фонтенэ тем не менее чувствовала по полному доверию Жерома, по властности, с которой он советовал и отсоветовал ей то или иное, по кокетству, наконец, с которым жаловался на малейшую неприятность, – что он в ней нуждается и что он ее любит.

Временами ей бы хотелось на этом лице большей страстности, большей свободы и щедрости в этой душе; но в другие минуты внезапная бледность молодого человека убеждала ее в энергии, глубокой и открытой.

Даже Анри, мало наблюдательный в жизни, однажды сказал:

«Как раз эти характеры, осторожные и терпеливые, и являются самыми упорными и лучше всего хотят то, чего хотят». «Вот именно», – подумала тогда Сабина. Она справилась у мужа о жизни Жерома в Париже, трудолюбивой жизни, где не было места любви; и молодая женщина улыбнулась до самой глубины успокоенного сердца.

Жером Эрель, представленный г-жой и м-ль де Фонтенэ нескольким подругам, встречался с ними в домах, где они бывали вечером, проводил с ними время и уходил тотчас же после их ухода. Он приглядывался к туалету Сабины, хвалил ее, смотрел ей вслед и часто упрекал ее за смех с другими мужчинами.

– Вы любите, – говорил он ей, – когда вас осматривают с головы до ног, говорят с вами почти у рта и грубо объявляют вам, что вы – хорошенькая.

– Да, милый, – сознавалась она, – я это обожаю.

И она спорила обо всем. Спорила о литературе, о политике, о вкусах. Общим между ними была лишь любовь к музыке и садам.

Вечера у г-жи де Фонтенэ, протекавшие прежде в мирных беседах, теперь горели и

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru кричали. Пьер Баланс бросал в них другое настроение от связи, которой начинал тяготиться, и раздражительную страстность своих мнений. Он увлекал Анри в политику, советовал ему заняться кандидатурой, чертил ему планы и терял терпение, так как г. де Фонтенэ никогда не спешил.

Сабина хорошо понимала Пьера. На то, что он говорил, она отвечала: «О, да!» Казалось, что она уже давно несла в себе формулы, употребляемые Пьером, и что слышать их для нее – сладкое освобождение.

М-ль де Фонтенэ вздыхала; ей бы хотелось, чтобы разговоры были книгами и чтобы можно было, оставив их раскрытыми на коленях, медленно следить за опасными местами. Жером, которого держали в отдалении от этих бесед и отталкивали, как только он в них вмешивался, не сердился, сохраняя свое любезное спокойствие, ибо хорошо знал, что уже обрел то, чего другие ищут в жизни: довольство самим собой.

V

Жером Эрель, по совету г-жи де Фонтенэ и ободряемый композитором Евгением Марсаном, его учителем, принялся за оперную партитуру, надеясь на исполнение ее по частям в концертах.

Однажды он попросил Сабину прийти к нему выслушать его произведение в присутствии Марсана.

Г-жа де Фонтенэ согласилась. Она отправилась на его квартиру, находившуюся в одном из переулков квартала Пасси и ей неизвестную.

Она шла, охваченная радостным волнением и легким недомоганием, не доверяя своей мнительности и страшась подробностей скромного и стесненного существования.

Подходя к дому, она, подняв голову, увидела окна Жерома, совсем наверху, в потоке зеленой листвы. Это ей понравилось. Она стала подниматься по каменной лестнице и уже на первом этаже встретила с молодым человеком, шедшим ей навстречу. Легкая одышка от подъема, странность того, что она здесь, вид Жерома, чувство, ее переполнявшее, – все это вылилось в легкую лихорадку, сквозь которую эта лестница, ее спутник и смута собственного сердца показались ей смешными, романтическими и порочными. В эти несколько мгновений она пережила все, что когда-либо читала о любовном дерзновении женщины: она мысленно видела перед глазами лестницу в «Сафо» и ту, по которой г-жа Бовари, в Руане, отправлялась к молодому клерку.

Войдя в квартиру Жерома, она была одновременно очарована знакомством с композитором Марсаном, которым восхищалась, и комнатой – сияющей и изысканной.

Из окон, наполовину завешенных легким шелком, оттенка красной смородины, видны были старинные дома с надписями, запущенные сады, сильно заросшие кустарником, высокие дымящие фабрики и Париж – нарождающийся, расстилающийся, растущий вдаль, с крышами из голубого пара.

Вся комната была в цветах: розовый водосбор и веточки вишни, упирающиеся в стены, обитые холстом, цвета мелкого песка. Главное место в комнате занимал рояль, на стене висели акварели и лютя белой слоновой кости, напоминающей фарфор.

Жером с гордостью заметил удивление и восхищение г-жи Фонтенэ.

Были приготовлены чай и печенье. Сели за стол. Никто уже не думал о музыке. Марсан заговорил о живописи, и молодая женщина, которую меньше смущало спорить о ней с композитором, чем с художником, врезалась в разговор, смелая и упрямая, – ибо считалась только с знатоками своего дела.

Жером радовался маленькой победе, одержанной его тщеславием. Он был любезен и гостеприимен. Беседуя с Марсаном, Сабина внезапно заметила, что письмо ее, с извещением о времени прихода, так и осталось на бюро молодого человека. Ей это не понравилось... «Он мог бы его спрятать, – подумала она сначала, – не бросать его так. Он его хранит, – продолжала она мысленно, – он мог бы его разорвать, ведь это такой пустяк, он не хочет его рвать...»

Затем все-таки занялись партитурой и роялем.

Сабина, задев низкую этажерку, где в беспорядке лежали книги, нечаянно уронила одну и, нагнувшись, чтоб поставить ее на место, заметила, что это был том запрещенных стихов Бодлера.

Это оскорбило ее пронзительно и сладко.

Он перелистывал, он читал эту книгу! Каким бы целомудренным и бесчувственным он ни казался, он-таки искал волнений других людей! И чистое чувство к нему Сабины сладостно разрывалось, воспалялось жаром и кровью, как царапина.

Сидя возле рояля, между Жеромом и Марсаном, она, менее внимательная, чем думалось, слушала, хвалила; но из глубины своей жизни она мысленно обращалась к юноше, говорила ему прямо в сердце: «Да, да, у вас прелестное дарование, да, да, но не в этом дело, не за это я вас люблю... Не только в этом, – вы во всем прекрасней, сильнее, богаче всех. Ваш дар – только одно мгновение вашей чудесной гармонии... Вы существуете, и я вас встретила, – какое счастье!.. Ах, вы отлично видите, как все в вас сейчас мне делает больно».

Когда пришло время идти домой, г-жа де Фонтенэ, прощаясь с Евгением Марсаном, горячо и почтительно просила его бывать и, обернувшись к Жерому, рассталась с ним притворно-равнодушно, как всегда при третьем лице, и, как всегда, этим неловким притворством выдавая все свое волнение.

Пропуская ее в двери, он внезапно вырвал у нее букетик гиацинтов, бывший у нее за поясом, когда она пришла, и который она сейчас держала в руке, весь измятый. И они обменялись быстрым взглядом, где у Сабины значился все тот же неустанный вопрос, а у Жерома – все та же намеренная, резкая, ясная тайна.

Воспоминание о жилище молодого человека не покидало ее несколько дней, она в воображении видела себя получающей от него записки – его мольбу; тогда она вечером поднималась к нему по этой лестнице, такой волнующей, и находила его в слезах, с глазами, наконец, открывшими тайну... Они бы плакали вместе. О чем? Она была бы ему страстной сестрой. В маленькой цветистой саксонской люстре горели бы свечи; волосы бы лежали у нее по плечам, и была бы сладкая романтическая ночь, горячая и чистая, – ибо она ничего не видела за этими слезами.

Но уже новая печаль насторожилась в ней. Она теперь удивлялась некоторым словам Жерома. Однажды он сказал: «Когда я женюсь, я брошу музыку, поеду в плаванье, займусь охотой».

«Он с ума сходит! О чем он думает, зачем он меня дразнит?» – думала она.

Все же, несмотря на известную сдержанность, известную мнительность своего поведения, молодой человек продолжал оказывать Сабине неподвижное и упорное внимание, которое она принимала за любовь.

Но она уже чувствовала усталость, мысли ее путались, голова кружилась. Она отлично сознавала, что, невзирая на его видимую преданность, не он, а она изо всех сил души тянет к себе другую волю... Согнувшись в страшном напряжении, она как на веревке тянула к себе неподвижное сердце этого человека.

С некоторых пор она со странной ясностью видела нрав Жерома; она знала его тщеславие, упрямую небрежность, сдержанный и благовоспитанный гнев, страсть к самому себе. Она ревниво хранила тайну и радовалась, что только она одна его так знает.

Она умилялась его слабостями, как иногда – его кашлем, по вечерам, среди табачного дыма, который ему вредил; она вздрагивала от этого кашля, как если бы увидела кровь своего друга, заглянула в самую глубину его плоти.

Теперь Сабина изумлялась тому, что она именно его любит. Она не испытывала того резкого зова рока, который – она читала в книгах – уверенно ведет друг к другу людей; она знала Жерома прежде, говорила с ним, почти жила с ним, и ничто в нем ее не волновало, не влекло; и даже потом, когда он начал ей нравиться, это случилось просто, без тревоги и крайностей.

Она медленно вовлекалась в свое чувство к нему, в его чувство к ней.

Сабина вспоминала свою первую ревность. Находясь с ним однажды ночью на каком-то музыкальном собрании и завидев его смеющимся посреди нескольких женщин, ей захотелось схватить его за руку, сказать ему: «Идемте отсюда, идите, я вас увожу, вы ничей, вы мой». С той ночи она ясно поняла, что лучше бы ей не любить этого мальчика – слишком юного, слишком мягкого, слишком любящего приключения.

Но все же она яростно принялась за него, пуская в ход всю свою военную хитрость.

Ах, какое удивление и смирение испытывала она при сознании, что это лицо, на которое она раньше смотрела с равнодушием, сделалось для нее теперь страшным и таинственным, как смерть; что ей на него теперь труднее смотреть в упор, чем на солнце, что оно ей разнообразнее и дороже всех ликов природы.

И, закрыв глаза, Сабина со смертельной пронзительностью вспоминала сумрачную нежность его ресниц, выгиб ноздрей, хрупких и своенравных.

Она даже не радовалась с ним сознанию своей красоты, которое в ее жизни было самым дорогим ее волнением; она при нем не была красива; она это знала, – до того ее лицо исказилось от тревожной, неустанной бдительности, от подозрений и зоркой вражды.

Не объяснившись с ним ни разу, она колебалась между радостью и страхом, смущенная противоречивым поведением молодого человека, лицом его и словами. Она его не понимала.

Она думала, что его дружба к Анри де Фонтенэ внушает ему эту сдержанность, но видела также, что чувство долга, любовь к порядку и совесть – только границы и природные очертания его страстей.

VI

Июль близился к концу, и г. и г-жа де Фонтенэ занялись сборами в Дофинэ. Сабина грустно бродила по дому, который ей предстояло покинуть. Она боялась разлуки с Жеромом – он должен был приехать только несколько времени спустя – и уезжать, не услышав, что он ее любит.

Этот вечер, канун их отъезда, г. и г-жа де Фонтенэ проводили с несколькими друзьями. Между ними были Жером Эрель и Пьер Баланс.

Композитор Марсан впервые обедал у Сабины, его чествовали. Он был суров и резок, с лицом, безобразие которого он, казалось, выбрал сам.

Вокруг него удивлялись, преувеличенно восхищались тем, что он читал последние знаменитые книги и посетил музей Флоренции. Казалось, что на его необразованность рассчитывали так же, как на его дарование.

Были еще: художник Луи Лоран, который молчал, г-жа д'Омон, светская подруга Сабины, муж ее Рене д'Омон, пользовавшийся тем, что жена к нему равнодушна, и был еще один офицер – Луи де Розэ, двоюродный брат Сабины, сосредоточенный и молчаливый. Это был умный и остроумный молодой человек, но полный предрассудков своей касты и блестящий только в общих местах, вне обмена мнений, спора и возражений.

Сидели за столом. Сабина, занятая разговором с Марсаном и г. д'Омон, ее соседями, смутно ощущала, по своей тайной грусти, что скоро случится нечто, чего ее рассудок не сможет вынести: разлука с Жеромом.

Поглядывая от времени до времени на молодого человека, она заметила, что сидящая рядом с ним г-жа д'Омон – хорошенькая.

Она замечала это постепенно по разочарованию, с которым сознавала, что не может найти у нее этих мелких недостатков, успокаивающих ревность, и о которых потом говоришь свободно и радостно, не возбуждая подозрений в пристрастности оценки.

Сабина отдала бы день своей жизни за то, чтобы эта женщина сделалась безобразной, тут, сейчас же, и приходила в ужас от ее улыбки – этих губ, напоминающих теплую росу, и зубов, как бы вырезанных из миндаля, в тени белокурых, жестких, пушистых волос, выющихся вокруг ее головы, как длинная нить

Вечер проходил. В светлой гостиной, полной цветов, говорилось о том, о сем. Все были нежны и откровенны, как всегда летом и накануне отъезда.

Жером Эрель сел за рояль и запел. Композитор Марсан, сидевший рядом с ним, слушал, с видом знатока, как бы хватая музыку на лету, забирая ее всю себе и взвешивая.

Внимательное лицо Пьера Баланса выражало молчаливое борение, самоукрощение.

Другая группа – там, в табачном дыму, – болтала с г-жой д'Омон, которая смеялась, запрокинув голову, разнуздав лицо и душу.

Сабина, одна на маленьком диване, раскинув руки и слегка на них приподнявшись, слушала и смотрела на Жерома. Опыренная, она улыбалась. Но это, правда, не была улыбка, это был рот, страдальчески обнаживший зубы...

Жером пел, как дети кричат: всей силой, всей жизнью, как бы изнемогая от восторга; и было странно-трогательно наблюдать в этом хрупком, подвижном существе подобный мятеж, подобную страстность, от которой он, казалось, сейчас умрет.

Ночь шла. Сабина видела, что гости уходят и что Жером собирается с ними.

Анри де Фонтенэ, у которого весь вечер болела голова, ушел спать.

Тогда Сабина, провожая в переднюю г-жу д'Омон, – быстрым шепотом, с резкой решимостью, с чувством неумолимой неизбежности приказала Жерому остаться и ждать ее в гостиной.

Дом опустел и затих. Сабина вошла в гостиную, где ждал Жером. Здесь еще стояло страстное тепло музыкального вечера. Окна были раскрыты. Пламя свечей мигало и гнулось на ветру. Розы тяжело благоухали.

Звонкие часы рассеивали время, таинственное время ночи.

Сабина уже не знала, что хотела сказать Жерому; ей было странно и стыдно стоять с ним здесь, с прической, слегка разошедшейся и спускающейся на обнаженную шею, в платье из кружев и шелка, где путались ее ноги.

Она чувствовала себя смущенной и жалкой. Жером тоже был встревожен и бледен. Он сказал, слегка дрожа:

– Сабина, вам бы нужно лечь, уже поздно, вы завтра едете.

Затем провел рукой по лбу, словно желая вырвать какую-то тяжкую мысль, какую-то боль; Сабине показалось, что он плачет.

Тогда она прижала его к себе с ужасающей нежностью, и они на мгновение застыли, как бы охваченные буйным сном, пока Сабина, не открывая глаз, не почувствовала, что объятия юноши расплетаются. И без взора, без слова, обессиленные, ничего не понимая друг в друге, они медленно разошлись...

На следующий день Сабина, уже в полном сознании, вспоминала порыв, толкнувший ее к Жерому. Порыв столь дикий, исполненный столь темной страсти, что она даже не ощутила наслаждения.

Там, на груди этого ребенка, она искала только его слабую, ускользающую душу; прижавшись к нему, ей только хотелось привязать его к себе, взять и никому не отдать. Она тогда любила его суровой, мужественной и материнской нежностью и по болезненности своего усилия поняла, что не будет у нее с ним уверенности и покоя.

Ах, как можно было эти краткие чувственные вспышки называть любовью! Какое изумление! С какой ясностью она предчувствовала теперь, что нет в страсти ни наслаждения, ни нежности. Она вступила в коварный поединок, где, несмотря на раны, ей, именно ей, придется упорствовать и хотеть. Ей ежедневно придется

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru отвоевывать это изменчивое существо, этот гибкий, рассеянный ум, бегущий, в часы опасности, от прямых вопросов, как тело – от объятия: полуотталкивая, полускользя.

Она поняла, что никогда ей не пережить с этим другом минут освобожденности, самозабвения. Самое большое желание ее и самая простодушная надежда были: прижать его когда-нибудь, сонного, к себе и, крепко держа его, пользуясь его сном, обрести, наконец, господство и покой.

Она еще думала об этом вечере, в вагоне, глядя в окно на убегающие домики печальных окраин Парижа.

Она страдала от мужа, рассеянного и веселого, потом заснула тем мертвым и зорким сном, который не освобождает от мучений, но придает им, в сновидении, более неясные и далекие лики.

Утром она проснулась, совсем расстроенная; она старалась не просыпаться, никогда больше не проснуться, чтобы только не было этой мысли, уже яснеющей, встающей в ее сознании, как этот серый рассвет на дождливом небе. Но остановка поезда, громкие голоса на воле, хлопанье дверей и поток сырого воздуха предупредили ее о приезде. Она оделась, вышла с помощью Анри из вагона и, пройдя через вокзал, очутилась на маленькой площади, где стояли несколько колясок.

Несколько розовых кустов, хрупких и зябких, прижались к зеленой изгороди и дрожали. Горы вдали, слишком приближенные воздухом, были суровы и печальны.

Сабина на этот раз без радости увидела живую землю Дофинэ, пропитанную глухими, еле заметными родниками, о которых угадывалось только по сырости длинных трав.

Эти неровные, холмистые дороги, эти вздутые травянистые лужайки, эти замки, воткнутые в углубления земли, стесняли ее усталую мысль, жаждущую чистых далей. Она сразу увидела, сколько сожалений, нетерпения и страсти ей придется нести с собой по этим дорогам, под этой горькой листвой орешников.

Придя в свою комнату, она облокотилась о подоконник, вспомнила благостность своего однообразного прошлого, прежние радости, все, что в ней еще было детского прошлым летом, – уже навсегда потерянное – ибо яд отныне потечет через все будущее.

Она смотрела на дождь.

Она слушала, как падают на маленький цинковый выступ перед окном отдельные капли дождя.

VII

Анри де Фонтенэ, с помощью только что приехавшего Пьера Баланса, готовился в депутаты обитаемой им части Дофинэ. Пьер уже отказался для себя от этой карьеры. Он намеревался будущей зимой основать социалистический журнал и читать лекции. Красноречивый и горячий, он указывал другу умелые ходы, открывал ему длинными вечерами все, что знал о сердце провинции, и, убедив его по некоторым точным осязательным пунктам, где не требовалось огня, – ибо Анри колебался между диктатурой и умеренным радикализмом, – увлекал его к мэрам и префектам, где говорилось о земледельческих союзах и будущем благоденствии.

Эта избирательная кампания казалась сельской и семейной, она протекала перед виноградником, где-нибудь на меже, на школьном празднике, где г. де Фонтенэ увенчивал детей венком из зеленой бумаги и произносил маленькие речи.

Благодарность, получаемая им за снабжение какой-то общины пожарной трубой, сообщала ему чувство благородного смущения и собственного великодушия.

Г-жа де Фонтенэ была с Марией.

После первых пустых, отчаянных дней молодая женщина потихоньку успокоилась.

Весь сад истекал мягкой смолой, глухими напевами и запахом меда.

В аллеях – потоки жары, потоки солнца, потоки пьяных кочующих мух, низринутых с

Благоухание некоторых цветов – гвоздики и туберозы – было местами в саду так сильно, что Сабина резко останавливалась от присутствия запаха, как бы втянутая в его напряженный круг; она не смела двинуться; ее поистине волновало стоять посредине этого царства, в этом хороводе благоуханий, как бы в самом сердце огромной рощи, ибо – в какую сторону ни повернуться – всюду все благоухало.

Усевшись в самой листве, успокоенная, подняв голову, она смотрела жаркими часами, как скользит бесконечность по голубым стенам воображаемого неба.

М-ль де Фонтенэ, которой Сабина ничего не говорила о своей тревоге, приписывала эти долгие молчания неопределенному томлению и тайным радостям этой трудной души.

И Сабине заново снился весь ее сон.

Жером написал ей два письма, подобные прежним. Он извещал ее, что собирается приехать в последних числах августа.

Она говорила себе: «Раз он приезжает, приезжает, несмотря на наше прощание, значит, он любит меня сильнее и уже окончательно».

Возвращаясь тогда к ребяческим заботам, означавшим у нее затишье после сильных бурь, она беспокоилась о том, что он только на год старше. Через десять лет уже я буду старой, вздыхала она; но это ничего, добавляла ей буйная душа, страсть прекраснее красоты.

Я когда-нибудь буду, как мужчины, которым не надо быть красивыми, чтобы их любили. И какой светлый взгляд шестнадцатилетней девушки сравнится с моим разнузданным сердцем, с моими глазами, где боль и бешенство!

Это они мне будут завидовать, это они будут плакать, ибо во мне живет божественная буря, делающая многообразной и различной, подобной богине, у которой было три лица и все глаза которой горели...

В первые дни приезда Жером Эрель ни разу не очутился наедине с Г-жой де Фонтенэ.

Тем не менее она видела, что он, в ее присутствии, беспокоен и смущен, и мгновениями ловила на себе его нерешительный, задумчивый взгляд, как если бы он хотел ей что-то сказать.

К ней возвращалось чувство удовлетворенности, улучшившее ее настроение. Она отдыхала, не торопилась со встречей.

В этот день, часам к четырем, после долгой всеобщей беседы в тростниковых креслах просторной библиотеки, Анри предложил пройтись, чтобы стряхнуть с себя тяжелый послеобеденный отдых.

Сабине нужно было писать письма, ей нельзя было идти; Жером не любил их длинных прогулок, он бы пошел, но только ненадолго, он осведомлялся о том, сколько времени займет прогулка. Над ним стали смеяться и пошли без него.

Г-жа де Фонтенэ встала, чтобы идти к себе в комнату, и не уходила, неотразимо притянутая присутствием Жерома, тяжелым грузом лежавшим на ее душе и приковывавшим ее к себе.

Они были одни.

Она сделала вид, что ищет на столе, среди газет, какой-то листок, якобы потерянный. Она повторила: «Куда же я его положила?» – и сдвигала газеты. Потом добавила: «Ничего, это не важно», чувствуя, что это ложное усердие становится неправдоподобным.

Она сделала движение к выходу.

Жером тихонько ее позвал. После некоторого молчания он сказал:

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Можете ли вы остаться на минутку? Можно мне говорить с вами?

Она отвечала:

– Да, что вы хотите мне сказать?

Он молчал.

Она знала, что он сейчас скажет. Он скажет:

– Сабина, если вы меня любите, едемте со мной. Бросьте все, идемте.

И она отвечает ему:

– Вы же знаете, что я готова.

Или он скажет:

– Вы умнее всех, я рядом с вами почти ничто, – что я вам?

И она ответит:

– Вы мне страшнее смерти...

Она ждала, чтобы он заговорил.

Она сидела тихая, руки ее внимательно лежали по краям кресла, глаза глядели открыто и просто, чтобы его не смущать. Он сказал:

– Вы всегда были добры ко мне, я не могу сказать вам, как я вам благодарен, как я вам благодарен за вашу доброту... Вы, бесспорно, лучшее событие моей жизни, моя единственная удача... До вас и Анри я не был счастлив... Теперь я бы хотел жениться.

Он прибавил тише:

– На особе, на которую вы имеете влияние, – м-ль де Фонтенэ.

Он ждал, он не казался смущенным.

Но Сабина его не видела; она слышала жужжание и страшный звон. Казалось, он крикнул ей эти слова прямо в душу, в мозг, в сеть нервов и крови.

Кончено... Ее потрясенный рассудок обрел то страшное спокойствие, ту блаженную скованность, которую смерть сообщает лицам. Она ответила голосом простым и ясным, нечеловеческим голосом, не звучащим неискренно:

– Хорошо, я подумаю, посмотрим, что можно сделать... Затем хотела сдержаться, не смогла и тихо спросила:

– Вы в нее влюблены?

Он всмотрелся в себя, ответил без страсти:

– Да... Да... дружески влюблен.

Сабина встала, ей больше нечего было ему сказать, она чувствовала свою ужасную бледность.

– Теперь идите, – сказала она отчетливо и торопливо, как человек, вспомнивший спешное дело, – если бы вы знали, сколько мне сегодня надо сделать, сколько писем написать...

И она засмеялась, – каким смехом! С каких разбитых клавишей слетел этот смех!

Она осталась одна, она села, она ничего не понимала... она упорно разглядывала на стене маленький японский пейзаж, в рамке яркого дерева; она замечала, что на рисовой бумаге цвета слоновой кости облака, изображающие вечернее небо, напоминают папиросный дым; она рассматривала это с жалостью и нежностью, как

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
если бы эта картина, свидетельница этих ужасов, сделалась ей дорогой...

Что-то в ней было так сломано, так разбито, что ей казалось, что и тело ее разбито, что она, если захочет встать, не сможет пойти. И чтобы больше не видеть того, что видит, она встала, сделала несколько шагов. От этих движений мысль в ней проснулась с ужасающей силой.

Она это почувствовала, смертельно этого испугалась. Она взяла себя за голову, руки ее падали и вновь поднимались ко лбу, она громко говорила:

– Нужно с этим справиться, справиться.

Воспоминания вставали, воспоминания о голосе, о взглядах этого человека. Они подступали прыжками, как лава, и, сообщая телу движение души, бросали ее на бок, разбитую, с руками, вцепившимися в стену.

Она говорила еще: «Надо это убить, надо это убить»... И ходила по комнате с невероятным усердием, невиданной мощью, раскрыв руки в порыве нечеловеческой силы.

Напряженная, согнутая, подобная дереву под грозой, она быстро ходила, как бы сгибая в руках железо, как бы загоняя свою душу на смерть.

Затем следовали минуты упадка, теплые потоки слез, нищая, лепечущая нежность. Она просто говорила: «Ах!.. Ах!..» – через определенные промежутки – ритм освобождения, смягчающий строй страдания.

Теперь, уже сидя, она говорила спокойным, однообразным голосом:

– Вот, вот, – говорила она, – у меня только это было, а теперь у меня ничего нет. Мне нужно, чтобы кто-нибудь взял меня за руку, тогда я ему скажу: «Вы хороший, хороший...» – и умру, и буду спокойной, спокойной... и так странно будет, что я спокойна, – ведь ничто во мне никогда не было спокойным... И, во-первых, я не успокоюсь, потому что мне надо уже очень давно быть мертвой, чтобы что-нибудь меня успокоило... И это будет такое безумие, что я умерла...

Она повернулась головой к окну, открытому в сад; маленький жаркий ветер, казалось, рассыпал, рассеивал по дорогам тонкий вечерний пепел. На холме с необычайной ясностью вставали три тополя. Сабина тупо смотрела на них, она думала о том, что они неравны и сближены, как три средних пальца руки, точь-в-точь как эти три пальца... Она думала: «Все пусто и всюду, все в природе нищее и маленькое, бедные деревья, которые боятся ветра и дрожат всеми листьями, и весь этот сад, который боится вечера, который никогда не бывает счастливым, которому никогда не весело...» Теперь она ощущала облегчающую пустоту в голове, она вздыхала: «Сейчас мне спокойней, с каких пор мне спокойней?» Точно сон ей снился, сон, слишком длинный для этих нескольких минут.

Ласточка пролетела – быстро и низко, – крик, два крика – они вошли в Сабину, как тонкая, кружащаяся стрела, и снова тоска залила ее.

Тоска! Тоска! Восхитительный рычаг желания! Отчаяние мечты, для которой нет иной помощи, кроме поцелуя; плач человека перед лицом природы!.. Вечное колебание Адама и Евы, которых все во вселенной обессиливает и тихонько приближает, склоняет друг к другу, – к тому мгновению души, где крайнее острие нервов – взгляд...

Г-жа де Фонтенэ вышла из комнаты, где находилась, равнодушно заговорила с повстречавшимся ей Пьером и, войдя к себе, упала на постель с одной надеждой: «Умереть!» Теперь она плакала громко, не боясь быть услышанной. Она чувствовала, что все в ней расходится, что жизнь, сила, осторожность, привычка, инстинкт – расплетаются, растекаются слезами по ее лицу.

Стук в дверь. Она приподнялась и крикнула:

– Кто там? Ко мне нельзя.

Но дверь тихо дрогнула, и вошел Пьер. Он увидел ее.

– Вы несчастны, не бойтесь меня.

Сабина спустилась с постели. Усталость обвила ее, как пеленами, и заставила ее шататься. Она подошла к Пьеру, взяла его за руку, заставила сесть и села рядом. Мгновение они молчали, потом он сказал:

– Плачьте, плачьте, мы одни; я только что расстался на дороге с вашим мужем и его сестрой, они вернутся не раньше вечера. Если не хотите, ничего не рассказывайте, только не удерживайтесь от горя.

И Сабина тихонечко прижала к глазам руку Пьера, чтобы ничего не видеть, как в темной могиле... Мгновениями она забывалась, потом просыпалась, пронзенная воспоминаниями. Она дрожала. Сердце, скачущее в ней, сотрясало ее грубыми, частыми толчками; казалось, что она в легкой коляске уносится по островам, жесткими дорогами. Пьер сказал ей:

– Сейчас – самое сильное мгновение вашего горя. Потом будет легче, вы увидите.

Но она думала, что это неизлечимо, она повторяла себе, что то, что сейчас было – этого уже нет! Она не понимала; как одно мгновение, самая маленькая частичка времени смогла раздробить ее жизнь, разрезать ее пополам, отодвинуть в прошлое единственные мгновения ее счастья – и какого, однако, горького счастья! – а там, по другую сторону, в будущем – страдание, низкая, мертвая, бесконечная равнина...

Она стонала; Пьер, который не мог ей помочь, смущался от этих слез. Она была измучена.

Чтобы дать ей немного отойти на воздухе, он насильно увел ее в сад. Она удивлялась всему, что видела. Она не понимала, зачем на кустах эти розы, эти спокойные, прекрасные розы на колючих стеблях; вечер спускался на дороги, проникал к листве, входил в нее нежным и грустным поцелуем. От всех этих разрозненных частичек красоты Сабина, в глубине существа, умерла... Зачем эти цветы, эти благоухания, эти очарования вечера, этот серебряный звон воды, ниспадающей в водоем, раз мужчина и женщина – враги?

Прошла деревенская девушка с серпом и лейкой. Вот эта – она та же сегодня, что вчера, она спокойно вернется домой, сядет за некрашенный стол, потом ляжет и грузно заснет. Значит, есть еще люди, для которых этот день протек легко и обычно? Значит, только для нее одной – этот страшный удар, этот скачок вселенной... Она просила Пьера:

– Сколько времени я буду так мучиться?

Она попросила его объяснить ей научно, в медицинских терминах, естественное, неизбежное ослабление воспоминаний. Она пыталась этому верить. Еще она сказала:

– Почему мужчина и женщина – как враги? И все же, – что же есть еще, кроме любви?

И повторяла, с телом опечаленным, измученным насмерть:

– Что же есть еще, кроме любви?..

VIII

Несмотря на страшную усталость, г-жа де Фонтенэ принудила себя выйти к столу; она старалась принять беззаботный вид, и эти усилия несколько ослабляли ее боль. Вечер вышел легче, чем она ждала. На Жерома она не смотрела, не говорила с ним или обращалась к нему одновременно с другими, глядя на всех сразу. Довольная своим поведением, она ощущала, как всегда бывает в таких случаях, уверенность и напряженное спокойствие. Но она слышала голос юноши и уже ничего не могла поделать... Он что-то говорил, какие-то бедные слова, но голосом, который она любила. И, слушая его, Сабина снова наслаждалась его душой, пленницей его прелестного горла...

Она вышла, легла в постель, как в могилу, и спала долго, – всей усталостью, всей волей, с ужасающей ясностью предчувствуя пробуждение. И, проснувшись на

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
следующий день, она сразу поняла, что не избавилась от своей муки. Она несла ее в себе, как женщина – будущего ребенка, в глубине плоти, под сердцем.

Она говорила себе, что не все еще потеряно; что – раз он не умер, и раз она никак не может без него жить, она все же возьмет его себе. На чем основано это отрешение, это отчаяние! Разве она не знает слабости Жерома?.. И все же, как все теперь будет трудно!

Открыв окно, она услышала шум шагов по гравии. Это ее муж и Жером совершали утреннюю прогулку и беседовали. И беседовали! В то время, как над ней совершалось нечто более жестокое, чем смерть, они спокойно беседовали, эти двое, которым она была другом!

В это мгновение, когда она коснулась самого дна бездны, чем могли они ей помочь: один – незнающий, другой – враждебный.

Она смотрела на утро; быстрые мухи тонким шумом прорезывали безмолвие воздуха; от цветов, сжатых жарой, поднимался сильный и горячий запах; солнце лилось на землю, как зерна божественной ржи.

Сабина страдала... Она говорила себе, что каждый раз, как будет дрожать над ослепительным днем бесконечное летнее небо; что всюду, где будет свет, легкий воздух, сверкающая трава и лазурь сквозь прорези шумной листвы, всюду, где будет прохладный клочок земли под тенью дерева, простодушный и ласковый дом, с тайной его дверей, опущенных штор, плюща и розовых кустов; всюду, где будет дорога с горизонтом из лиловых холмов и возле цветущей изгороди, под небольшим откосом – путь из железа и щебня, куда врывается со страшным криком поезд, – что всюду, где все это будет, ее сдавленное сердце неминуемо вздохнет невероятным и смертельным воздухом.

Так она пойдет сквозь сердце лета, испуганная каждой красотой, – опустошенная душа, где сильнее раздаются крики птиц и крики скрипок, – все голоса желанья и любви.

Что ей делать, когда, с горлом, сжатым воспоминанием и сожалением, с глазами пристальными и сожженными, как если бы жаркий ветер их засыпал песком, ей придется быть с другими в часы прогулки и обедов...

По утрам, когда сады подобны шумным ульям, когда солнце прячет свою медовую пряжу и когда водоемы сверкают, свежие на взгляд, как фарфор, что ей делать тогда с этим опьянением души, с этой жаждой быть и быть, с этим вечным зовом любви?

Белыми полуднями, в комнате с закрытыми ставнями, сквозь которые гладкими полосками, как весла в воде, слегка проскальзывает свет, что ей делать под звон старинных часов из дерева и меди?

В ее комнате с полевыми цветами в вазах – царицей лугов, колокольчиками, гусиной травой – будет темно и будет пахнуть тенью, как в помещениях, где летом хранятся фрукты. Она откроет какую-нибудь книгу, – конечно, не роман и не трагедию! – путешествие. Но что станет с ее терпением, с ее покоем, если во время чтения она слишком живо представит себе Испанию, желтую и сухую, распятую между ужасными играми солнца и быка?

О, пытка мечты!

Когда мало-помалу встанут перед ней лики далеких городов, когда запоют в ней имена Толедо, Севильи, Гренады, Кордовы, ее страстно потянет с ним туда, где царят все страсти.

На арене, перед раненым человеком и раненым зверем, она всем своим сердцем, более раздраженным, чем весь кровожадный цирк, смутится от его бледности и смеха, двойного инстинкта его слабости и жестокости.

Под этим небом они наслаждаются всеми прекрасными сменами жары и холода, оцепенения и подъема.

Сжигаемые жаждой, они будут утолять ее напитками смертельной прохлады, руки их

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru будут лежать на мраморе садового столика, и вся их лихорадка обернется в желание друг друга.

Вслед за томительными послеобеденными часами, отягченными этой грустной душевной мутью, спутницей жаркого отдыха, – оживленное веселье вечера, прогулка по черным улочкам.

Но ему этого не надо, ему ничего от нее не надо, кроме того, что он у нее просил: ее помощи в этом браке.

Что же ей теперь делать? Как она теперь сможет идти с ним вечером рядом, с ним и другими – Анри, Пьером, Марией – по темнеющим дорогам, говорить тихо и просто, опустив по сторонам отчаянные руки, тогда как ее напряженное тело и неровное дыхание будут в вечернем воздухе – как жалобы, как крик?

Каким теням в тени, каким успокоительным и ласковым теням протянет она свои руки, пронзительные от любви, свою душу, удлинненную, растянутую страданиями?

Сила мечты и ты, печаль, восторженная, как летняя луна, как вас осилить разуму и что вам противопоставить, кроме надежды на скорую старость, на остывшее воображение, на слабую и замедленную кровь?..

IX

Дни следовали за днями, а г-жа де Фонтенэ все еще не представляла себе ясно, что все кончено, что надо вырвать из жизни воспоминание об этом приключении и странную надежду, которая у нее осталась. И она думала, думала – как ходить для того, чтобы устать.

«В таком случае, к чему все его прошлое поведение, – говорила она себе, думая о Жероме Эрель. – к чему его влечение ко мне и внимание?»

И всегда она приходила к благоприятным выводам.

«Он, вероятно, не знал, что он мне так нравится, но теперь он, конечно, разгадал мое волнение, и все переменится».

Все же, когда она заметила невозмутимость этого мальчика, его непринужденность – лишь несколько менее самоуверенную, как если бы Сабина, отняв у него свое участие, уменьшила его в собственных глазах, – она поняла, с каким бессознательным и деловитым себялюбцем имела дело.

Это суждение ничуть не умерило ее отчаянной нежности. Она уже слишком любила бледное лицо юноши, его рассеянные глаза, где только мгновениями загорался взгляд, чтобы что-нибудь смогло отвлечь от него ее обожание.

Чтобы смочь смотреть на него, – а ей все-таки хотелось на него смотреть! – она старательно выискивала недостатки на его лице. Однажды она с радостью заметила, что у Жерома слишком короткий подбородок и что это его очень портит в профиль.

«Это очень некрасиво, – подумала она, – и, главное, неприятно; какой он неприятный»...

Это слегка успокоило ее на полчаса, она говорила с ним просто, как с другими, но, внезапно завидев на его лице знакомое выражение, снова впала в свой восторг, исходящий кровью, как рана.

Так было долго. Она делала безумные вещи.

Как-то раз одна ее подруга, жившая в соседнем замке, приехала к ней со своим двухлетним мальчиком и, уйдя в библиотеку написать два слова, оставила Сабину одну с ребенком.

Сабина тихонечко прижала к себе малютку и говорила ему в волосы:

– Вы, вы, маленький, вы счастливы, вы – мальчик, потом вы будете любить женщин, и это не так ужасно...

В другой раз, когда после обеда поднялся спор о страстях – сидели все вместе,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru даже Анри де Фонтенэ присутствовал – и Луи де Розэ неопределенно спрашивал о том, как у женщин зарождается любовь, Сабина нетерпеливо и торопливо ответила:

– Вот, ни о чем не думаешь, радуешься, одеваешься, надеваешь вечером ожерелье и кружевное платье, в котором наполовину голая, выливаешь флакон духов на плечи и идешь на это, смеясь, не подозревая, какая это смелость. Никто бы не пошел к родственнику, у которого тиф, а на это идете, смеясь... и это самая страшная из болезней, – вся душа в синяках...

И с видом равнодушным и отвлеченным добавила:

– Я наблюдала это у многих подруг.

Теперь присутствие Жерома ее раздражало.

Все, что она за это время через него перестрадала, вся усталость, все унижение возмущалось в ней, вставало в ее сердце горечью.

Порой ей казалось, что она его ненавидит. Когда между ними в гостиной, после обеда, заходил разговор, она с ожесточенной дерзостью противилась его малейшим попыткам спокойной беседы, планов на будущее. Насмехаясь над ним каждым движением и взглядом, она молча отталкивала то, что он говорил, что хотел сказать – пока, наконец, на лице Жерома не показывался этот физический упадок, эта внутренняя усталость, близкая слезам, так знакомая Сабине. Он казался ей похудевшим, она с волнением угадывала скрытый остов его нежного лица; тогда, резко меняясь, она становилась дружественной, окружала его радостью, свободой. Ей бы хотелось взять его за голову и, нежно прильнув губами к его волосам, утешать его, успокаивать от своей дурной, вредной любви.

Хотя она и не изменилась к Марии, она все же предпочитала ее избегать.

Она понимала, что надо же будет когда-нибудь заговорить с ней о предложении Жерома и склонить ее к этому браку. Думая об этом, она плакала; она чувствовала себя такой, такой усталой, что, правда, не надо было требовать от нее некоторых вещей. Жером не должен был поручать ей этого; она и не торопилась, смотрела на себя, как на больную, которую нужно щадить, выжидая, для этого разговора, приезда матери Марии и нескольких более спокойных ночей. Она ясно знала, что сделает то, что нужно, но собиралась с силами медленно.

Впрочем, она повела себя открыто и смело, ни разу не попыталась обмануть свою совесть, убеждая себя, что этот брак – не для Марии. Она сознавала, что м-ль де Фонтенэ сможет быть счастливой с этим юношей – очаровательным, дельным и добродетельным, сухим и узким в своей добродетели, но, очевидно, верным; да ей самой еще казалось, что такой союз – единственно возможное желание.

Однажды, когда они сидели наедине в гостиной за чаем:

– Мария, – сказала Сабина, – мне нужно сообщить тебе одну очень странную вещь. Угадай, кто хочет на тебе жениться?

Молодая девушка удивилась, подняла голову и стала думать. После долгих усиленных поисков она называла имя, потом другое, а Сабина весело, с позабавленным видом, забывая свое горе, смеялась и качала головой в знак того, что подруга ошибалась.

Из чашек чая, стоявших между ними, на столе, поднимался пар; сквозь неплотно закрытые окна входила тень и сырость сумерек. Виднелось небо – глубокое, еще голубое.

Г-жа де Фонтенэ сняла свою шляпу с цветами; она держала ее на коленях и, играя, быстрым движением втыкала в нее длинную булавку с опаловым шаром; и, глядя на Марию, которая все еще не угадывала, добрым веселым взглядом, все ждала этого имени, стерегла его ребячески, как на розыгрыше лотереи.

– Я их всех назвала, всех, о ком думаю, – воскликнула молодая девушка. Все в ее голове перепуталось, и она теряла терпение. – Скажи, Сабина, кто ж это?

– Это, милая, Жером, ему безумно хочется на тебе жениться.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Мария, изумленная, спросила раз за разом, с небольшими промежутками:

– Нет... Ты думаешь?.. Он тебе сказал?

– Да, он просит меня сказать тебе об этом, и я нахожу, что это очень хороший брак.

М-ль де Фонтенэ молчала. Она сосредоточенно принимала в себя этот новый лик жизни, изумлявший ее и ослеплявший. Затем, молитвенным голосом, умиляясь сознанию собственной важности, стала расспрашивать Сабину подробно, с каких пор Жером ее любит и часто ли о ней говорит и как говорит.

Ответы Сабины все более и более убеждали и умиляли молодую девушку.

Большая нежность шла от одной к другой.

– Я буду думать весь этот месяц, – шепнула Мария. В комнате было темно. Небо, после заката солнца, казалось рассветным; по легкому шуму ветра в занавесах угадывалось, как сейчас должно быть холодно цветам.

Мария встала и уселась к Сабине на колени; тяжесть ее несколько придавила ту, более хрупкую.

Погруженная в воспоминания о прошлом, тронутым и отодвинутым, мыслью о браке, молодая девушка спросила:

– Если я когда-нибудь выйду замуж, все между нами останется по-прежнему? Я с тобой так же часто буду видеться?

– Еще бы, – ответила молодая женщина, – у нас с тобой все – навсегда, милая...

Их платья смешались. Сабина держала на себе Марию, тяжелую, смущенную мыслью о новом существовании, о целой жизни, которую надо прожить. Она повисла на ней, пряталась в нее головой, слабая, беспомощная, как девочка, принесенная в жертву. Ноги Сабины были целиком покрыты Марией; только край ее лилового полотняного платья выглядывал, окаймляя ее узкие ступни, слегка расставленные от напряжения.

Вечерний поезд, свистя и шумя, прорезал воздух грустью; затем, когда вернулось молчание, затрещали, захлопали крыльями сверчки.

Сабина, повторным движением, слабо и медленно проводила рукой по волосам Марии и шептала ей голосом, тихим и таинственным, как эта темная комната:

– Подумай, а потом решайся, да? Я была бы так рада... – и добавила: – Будь счастлива!

В это мгновение сердце ее наполнилось нежностью, бесконечным прощением, слезами и святостью.

Х

Время от времени, гуляя с Сабиной, Мария говорила ей о своем будущем. Она к нему привыкала, принимала его спокойно, без страсти, как если бы это было самое приятное и разумное из всего, что можно было сделать.

– Жером очень умный, ведь правда? – спрашивала она. – И добрый, он добр к моей матери. Недавно он так хорошо поступил с мальчиком садовника – его ужалила пчела – он взял его за руку и отвел в аптеку.

– Конечно, – отвечала на все это Сабина, – конечно. Казалось, она радуется тому, что Мария находит примеры доброты этого человека. Что касается ее, она вряд ли бы сумела их найти...

Жером еще не проявлял особого внимания к Марии: переменить с ней обращение до ее окончательного ответа было бы, по его мнению, некорректным. Он работал, уходил один подолгу в горы, выказывал Сабине дружбу, в которой ничто не изменилось, которая могла бы длиться вечно.

Но г-жа де Фонтенэ его избегала; по вечерам она часто уходила к себе и читала до

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
самого сна. Она не доверяла себе, боялась того, что еще так мало в ней улеглось.

Глаза этого юноши, эти глаза, устремленные на нее без умысла – просто, по его привычке так долго смотреть, – делали ей еще слишком больно. Это настигало ее врасплох, измена собственной гордости, ужасающая, буйная, низменная тоска, от которой она потом слишком страдала.

Она вспоминала, как в один из последних вечеров, именно в ту минуту, как она проходила через гостиную, ища чего-то на столе, у открытого окна, она увидела его на подоконнике. Он был здесь, перед ней, между серебряным светом и желтым пламенем всех свечей, зажженных в гостиной. Даже не думая о том, что делает, она остановилась на мгновение, взглянув на него, и уже не смогла отвести взгляда; он смотрел на нее просто, не взволнованный.

Рыдание поднялось в ее душе; она смотрела в это лицо, где все ее искушало, и зубы ее горько сжимались; она ощущала жестокое, мучительное желание, кровожадное желание – грубо прижать к себе юношу и увидеть на его лице радость – боль или радость, все равно! Ужасающую радость, лишь бы это было что-нибудь от нее...

Это длилось мгновение; ей стало стыдно, она отвернула взгляд и, устав от такого сильного порыва, проплакала тихонько целый вечер.

Однажды Мария и Сабина беседовали. Молодая девушка, ободряемая матерью, решилась на этот брак и говорила о Жероме.

– Вот видишь, – не могла не сказать Сабина, все еще одержимая, – видишь, а ты раньше думала, что он в меня влюблен...

– Правда, – спокойно согласилась Мария, – мне так раньше показалось, а потом я увидела, что ошиблась.

Новая рана для Сабины! Хоть бы прошлое ей оставили, это несчастное прошлое!

Она ответила слишком горячо:

– И потом, если даже это немножечко было, – ведь это неважно; он тебя тогда почти не знал...

В спокойных глазах Марии появилось удивление. Она почувствовала враждебность в голосе Сабины, но она привыкла ни в чем ее не судить.

Кроме того, она не понимала сложностей.

Жером ее любит, значит, не любит другой; ее оценка Сабины – восторженная, почтительная и страстная – не давала ей и в мыслях предположить, что возможно что-нибудь у нее отнять, обделит ее, причинить ей вред, сделать больно.

Она не думала о ней, как о героине любви. Она считала ее гордой и любопытной, всегда играющей, по временам болезненной и горькой.

Она как-то говорила об этом с двоюродным братом Сабины, Луи де Розэ. Он находил, что Сабина одна из тех женщин, к которым мужчинам, – а мужчин он считал от природы нежными и несчастными, – лучше не привязываться, ибо вряд ли она способна на другое пламя, кроме смеха и своего восхитительного тщеславия.

Думая о себе, он вспоминал, как она его, еще девочкой, мучила, и радовался своему освобождению.

– Уже тогда, – говорил он, – любовь, которую она чужала, вызывала на ее лице какое-то жестокое удовлетворение, эту сытость красивых зверей.

Он находил, что сознание быть любимой, которое неминуемо должно склонять женщину к мужчине, по крайней мере из жалости, – ее, Сабину, толкает в жизнь, к другим туманным и темным снам, где бедному влюбленному нечего делать.

Он говорил это с прежней обидой.

Мария возражала, что не знала ее в то время, что теперь она, кажется, не такая.

– Для нас такая же, для нас, – отвечал он.

«Для нас» в его устах значило – для мужчин, несмелых, трусливых перед лицом любви.

Искренний и тонкий, молодой офицер, шутя, признался, что не любит загадки трудных глаз и что многие его друзья с ним сходятся. Они любят, чтобы приключение и страсть каждый раз были тем же, чем уже были: все сызнава, без случайностей и опасностей: женщина желанная и благосклонная, и единственная тайна в ней – тайна ее духов и платья и ее предвиденной лжи. Но он и другие берегутся этих себялюбив, гордых своей красотой, женщин, не боящихся мужчин, неязвимых, неуловимых.

Так думал Луи де Розэ, а г-жа де Фонтенэ проходила по жизни, удивленная и страдающая, не понимая, за что ей такая рана, стараясь поднять свою душу, тянущую ее вниз.

Она обрадовалась, когда Пьеру Баланс пришлось уехать от нее в Париж.

Его участие в тот вечер, когда она плакала, и дружеское молчание – обоюдное немое соглашение никогда не упоминать об этом – обязывали ее к благодарности, которая ее утомляла.

Она теперь имела ясное представление о характере Пьера. Она чувствовала, что он ищет радости и что долгая жалость выбивает его из колеи. Тогда она, в благодарность ему, постаралась выглядеть равнодушной, стряхнувшей свою случайную печаль, и увидела, что это ей удастся, что Пьер забыл прошлое; и все это ее изводило.

Г. де Фонтенэ, сердечно обрадованный предстоящим замужеством сестры, вел себя, в течение этих нескольких месяцев, вполне как счастливый родственник. Он смеялся над Марией и Жеромом, уже помолвленными, дразнил их, преследовал, оставлял вдвоем, встречал их шутками, которые Сабина выслушивала, бросая на мужа сдержанный гневный взгляд, где загоралась тайная месть воспоминания.

Она очень страдала в миг обручения, в миг, когда, полная подъема и дружеской хитрости, она, смеясь, толкнула Марию к Жерому со словами: «Теперь вы можете поцеловаться», и все последующие дни она ощущала возникшую между ними умиленную важность нового союза, невидимую цепь, почти мешавшую им надолго отойти друг от друга.

Он был ее, она – его, так сказало общество и природа. И это их смущало, потрясало – и молодую девушку, дарящую самое себя, и юношу – хозяина чужой судьбы.

Их отпускали гулять вдвоем. Сабина с преувеличенной сдержанностью отовсюду уходила с их пути, раздраженная и униженная.

Она жестоко, до пронзительнейшей боли наслаждалась всеми их движениями друг к другу, застигнутыми врасплох: умилительными, слабыми движениями людей, уставших ждать, двух существ, которые, изнуренные воздержанием, тихонько садятся рядом, берутся за руки уже без желаний.

Сабина чувствовала себя такой заброшенной, такой несчастной, что тянулась к Анри, как бы прячась в него, вновь переживая частичку прошлого, невинности, любви; а он, встречал ее просто, без нового порыва, так как он и раньше не замечал перемены.

Молодая женщина занималась еще тем, что защищала Марию от раздражительности ее матери, видевшей в этом браке только вопрос приданого, обязанности напомнить о себе нескольким пожилым значительным дамам. Она составляла многочисленные списки свадебного обряда, приглашений, подарков. Будущее счастье дочери она рассматривала лишь с точки зрения переезда.

Сабина радовалась, что в этом году отъезд ускоряется сам собой.

Довольно ей этих прекрасных осенних дней, этих утр, смоченных круглой росой,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru довольно ей видеть, как Жером и Мария возвращаются с прогулки, замерзшие, запыхавшиеся, счастливые, как они греются у доброго деревенского огня, так прелестно пахнущего деревом, смолой и сосновыми шишками.

Довольно ей этих длинных вечеров, когда слышатся их два тихих голоса, когда ветер шумит вокруг замка, а она, муж ее и его мать сидят на другом конце комнаты, у стола, с книгой в руке, как старики, для которых те слова уже не созданы.

Если бы это продлилось, она умерла бы с тоски, умерла бы от всего этого, плача на руках Анри.

И она вздыхала:

– Еще свадьба, еще этот ужасный свадебный обряд.

Она думала, что Жером любит Марию, что немножко любил ее раньше, что теперь любит больше. Он был из тех, что отдают себя вполне только у цели, когда спокойная уверенность разверзает и замыкает желание.

По возвращении в Париж для всех настало спешное, беспорядочное время. Сабина и Мария жили в магазинах. О Жероме не думали, его почти не видели, так он, со своей стороны, был занят уборкой прежней квартиры, старых бумаг, – всей своей холостой жизни.

Настал день свадьбы, очень холодный день в начале декабря.

Сабина никак не могла покончить с одеванием.

Ей в этот день нужно было быть очень красивой, для самой себя, чтобы себе нравиться и быть не слишком грустной. Нетерпеливая, слегка развлеченная спешкой, торопя Анри, она рано приехала с ним в церковь. В церкви, несмотря на отопление, было сыро, и только там, в глубине, цветы и свечи придавали всему радостный, праздничный вид.

Невеста не ехала, жених тоже. Ждали, разговаривали. Наконец, м-ль де Фонтенэ вышла из кареты, в сопровождении матери. Мария была хороша, хотя стесненная тяжелым платьем и фатой; она ни на кого не смотрела. Жером был здесь. Он казался взволнованным.

Процессия двинулась к алтарю, и надутый орган разразился своей мистической бурей.

Обряд был медленный, длинный. Временами Сабина видела Жерома в профиль. Он был торжественен и двигался лишь с крайним волнением; она чувствовала, как он умилен своей значительностью.

Священник восхвалял молодых их семьи, их собственные достоинства, и вот уже скрипки, тронутые мечтой, дрогнули, и голоса, мужские и детские, заликовали в выси, на хорах; потрясающее ликование, страшная Осанна обезумевших архангелов, божественная потеря дыхания.

Потом раздался тенор – один, и языческая музыка, коварная светская музыка, подражала баркарале, всхлипу весел, всхлипу воды, вздохам любовника под окном возлюбленной.

Сабина смотрела, как дрожат золотые языки свечей и белые цветы на алтаре.

На бархате кресел Мария и Жером были совсем бледны, смущенные величием. Это изумительное опьянение, это разверстое небо, – все это чествовало их бедную любовь?! Этот праздник из огня и золота делал их драгоценными друг другу.

Сабина ревновала, ревновала от мысли, что никогда уже для нее не будет этой пышности, этого великолепия; когда она любила человека, небо уже не вмешивалось.

А теперь продолжала возносить свою жалобу к Деве Марии.

«Те, что жаждут в бреду, должно быть, так призывают воду в пустыне...» – думала

Она немного продвинулась вперед и теперь яснее видела молодого супруга, которому молитвенное торжество сообщало трагическую важность, сдержанную растерянность, где смешались благодарность, скромность и гордость. Свет свечей на его лице и руках делал его призрачным, ослепительным, как Рождество и Пасха... Сердце г-жи де Фонтенэ умирало от волнения. Она вдруг ощутила самую сильную нежность своей жизни, бесконечное желание взять обеими руками эту бледную голову, сказать этому юноше: «Любовь моя, мальчик мой, идите ко мне, живите в моих объятиях, в моих волосах, в моих слезах...»

Этот день был дурной для Сабины, и еще вечером она долго представляла себе отъезд молодых в Италию, дорогу в темном вагоне, головокружительную дорогу по летящим рельсам.

Затем, через неделю, истощив все силы своего воображения, она последним решительным движением вырвала остаток сердца у этого воспоминания, последние нити порвались, и этот человек в ней умер.

Она входила в другую жизнь.

Часть вторая

Душа, что, убегая от себя и вновь к себе возвращаясь, описывает самый широкий круг.

Ницше

I

Она теперь чаще виделась с Пьером Балансом. К концу дня они встречались: Анри, Пьер и она. Но Анри стал привыкать к большим прогулкам перед обедом, доходил до Сюрена и Севра; тогда г-жа де Фонтенэ и Пьер оставались после чая одни и говорили.

Общим, тождественным между ними были: гордость и искренность. Пьер удивлялся, что она так уверенно говорит обо всем: о страсти, о желаниях, о всех тонкостях человеческого существа. Он высказывал ей это. Она отвечала, сосредоточенная, вглядываясь назад, – в душу.

– Да... это, может быть, потому, что мое прошлое было именно таким, и теперь во всех моих жилах – мудрость...

Он, улыбаясь, подшучивал над ее пристрастием к некоторым словам.

– Вы очень любите слово «сердце»?

– О, да! – признавалась она. – Не правда ли, это слово – круглое, нежное, на плоти и крови?

И руки ее лепили в воздухе очертания слов.

Пьер не был любопытен, не старался узнать, о чем она теперь думает, никогда не заговаривал с ней о прошлом; он всем сердцем забыл его.

Иногда, возвращаясь после покупок или с прогулки, Сабина встречала его, идущего к ней. Они делали несколько шагов рядом и глядели на окрестности.

– Как это прелестно, все эти маленькие сахарные царства, – говорила Сабина, указывая в тот день на низкие холмы и Мон-Валериэн под снегом. – Снег благороден, – добавила она. – Замечаете ли вы, что малейшие вещи, самые бедные и некрасивые, становятся через него драгоценными? Трубы, например, черепицы и молчаливый двор какого-нибудь дома, или здесь, на дороге, эта сорная тачка с положенной вкось метлой. Получаются очаровательные картинки. Для меня зима – как виньетки в немецкой книге: крыши домов в Эльзасе, с гнездом аиста.

Он забавлялся ее выдумками.

– А что для вас лето? – спросил он.

Она подумала и сказала:

– Я вижу его ужасным, где-нибудь в персидских провинциях, погребенным в черно-зеленой листве, где вскипает дыхание змеи... И потом вода – ее слышишь, но не видишь – звук воды в водоеме, падающей маленькими каплями на мрамор, звук, сводящий с ума, потому, что человек, в моем лете, умирает от жажды и от желания всего, всего...

– А у моего лета, – перебил ее Пьер, – глаза карпа, пускающего пузыри на прудах лафонтэновских басен. Помните этого прелестного, счастливого карпа?

О, Сабина его хорошо знала! Ей не раз приходилось провожать его мысленно по маленьким волнам, вдоль песчаных отмелей и лугов Франции.

Пьеру нравилось у молодой женщины. Здесь он свободно предавался своим социальным теориям. Сабина слушала. Иногда она смеялась над его детским изображением будущих веков.

– Это совсем, как обложки утопических книг, – говорила она. – Большое полусолнце, с лучами, точь-в-точь как спицы колеса, и огромная равнина, и видно, как хлеб растет, и еще голый человек, который, очевидно, чувствует себя великолепно. Я думаю, в те времена будет вечное лето, – град бы все расстроил...

Но сама она, страстней Пьера, отдавалась мечте о справедливости и жалости. Жалость всегда права – это было ее единственной уверенностью. Она читала научные книги, все, что разъясняет жизнь, мысль, человека – слабого и осужденного на нищенскую участь.

Она любила жизнь, все ее приметы.

На лицах рабочих, запачканных известкой, она уловила самые нежные линии смирения и внутренней гармонии. И это раскрывало ей сердце.

Она знала, что Анри возражал на ее теории человечности.

– Ты все же ни в чем себя не лишаешь, – говорил ей муж, – не отдаешь гостиной и ожерелья.

Но Сабина чувствовала, что это ничего не значит; она знала, что ее простое благосостояние не враждебно людям, что ее привычки мудры и нежны, что снести на улицу пятьдесят жемчужин – ничему не поможет и что только в ясности ума, в огромном пламени сердца, в единении и согласии – насущный дар и сила,двигающая горами.

Впрочем, ее вкусы изменились; она больше не бывала в свете, отказалась от жестокой роскоши любви, жила чтением, созерцанием природы.

Анри часто сидел с женой и другом. У него был какой-то особенный ум, ловкий и замкнутый. Он выбирал в правде то, что ему было нужно, брал одно, отбрасывал другое, такое же необходимое и насущное. И Сабина кричала от искажения того, что ей казалось совершенным.

Г. де Фонтенэ обладал также изворотливой и темной привычкой смешивать обычай и целесообразность.

Он любил, чтобы преступники были, действительно, в глубине души, виновны. Это была в нем наследственная совесть, потребность оправдать жестокость. Он сердился и говорил Сабине:

– Значит, ты, со своими рассуждениями о свободе воли, сама могла бы совершить все эти преступления?

И целыми часами ей приходилось объяснять ему, что, не имея возможности этих преступлений в мозгу и нервах, она никогда их не совершит и что совесть – одно из проявлений бессознательного.

Но он оставался при убеждении, что ученые и философы провозгласили неответственность лишь для того, чтобы освободиться от долга.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Эти споры никогда ничем не кончались.

– Каким, в конце концов, по-твоему, должно быть правосудие? – спрашивал Анри.

На что Сабина отвечала:

– Восприимчивость и самосознание разъясняет нам причины человеческих поступков. Осуждая несчастного, укравшего кусок хлеба, правосудие только раздражает во мне своеволие и голод. Я бы хотела от правосудия простоты, чистосердечия и знания; чтобы люди, призванные судить других людей, сами прошли через принуждение и несчастье; чтобы они братственно ощущали мир; чтобы, зорко наблюдая себя, они поняли, в какой мере культура и благосостояние смягчили их врожденное буйство, и чтобы они мудрым, смелым и нежным взглядом проследили у тех, кого сейчас осмелятся судить, переход от нетерпения к мятежу, от брани к борьбе и от гнева к убийству.

Пьер улыбался от удовольствия, а Анри, раздраженный, с сознанием, что мстит за такие мысли, – и мстит по заслугам, возражал:

– Ну, что ж! Если вам хочется, чтобы преступники гуляли на свободе, увидите, как это будет весело!

Но Пьер не дорожил жизнью преступников, сумасшедших, всех этих кровожадных нищих. Он находил, что общество, уничтожая их – избавляет и их самих от их ужасного наваждения, освобождает и их от страшных законов их расстроенного мозга. Когда возрождение уже невозможно, уж лучше, может быть, смерть, чем пожизненная каторга; только он думал о смерти простой и человеческой, такой, чтобы несчастный даже не вздрогнул.

Сабина беспокоилась; она не хотела, чтобы трогали жизнь; но когда Пьер, в разговоре, предлагал духовное возрождение человека путем воспитания и гигиены, она слушала, и глаза ее упорно подтверждали, что это – очевидность.

Но между ними иногда возникали другие споры. Однажды вечером, когда он утверждал, что никогда уже отныне не будет ревновать, зная, чего стоит сердце женщины, Сабина возмутилась. Г-же де Фонтенэ необходима была эта уверенность, что мужчины, все без исключения, еще способны на нежную и безнадежную любовь.

К концу января вернулись Жером и Мария из путешествия по ледяной Италии, пронзившей их жестким ветром, как бы из стеклянной пыли.

Их приезду обрадовались.

Теперь молодые супруги выглядели, как люди, привыкшие друг к другу. Они почти не обращали внимания друг на друга, они были друг другом. Их жизни казались близкими и согласными, как, должно быть, ночью их сон и дыхание.

Они походили друг на друга тем, как смеялись, покачивая головой, тем, как изображали удивление.

Жером, степенный и счастливый, устроился в браке, как в почтенном дедовском доме.

– Странно, – думала Сабина, глядя из глубины воспоминанья на это довольное, несколько жеманное лицо, – а я-то любила в нем тайного мечтателя, слабого и страстного героя, любовника садов и луны, грустного, как Генрих Гейне, – вот он, однако, какой...

Тогда она обрадовалась, что может целовать Марию без горечи. Но все же ей было немного грустно, что дружба Пьера Баланса принадлежит отныне не ей одной.

Пьер одинаково любил обеих. Хотя он и дольше знал Марию, последние месяцы сильно сдружили его и с Сабинкой. Он относился к обеим с братской нежностью. Его мысль и взгляд прикасались к ним не иначе, как с осторожным, естественным почтением, которое делало их союз очаровательным. Вернувшись в октябре в Париж, Сабина поняла, что связь Пьера Баланса с актрисой на исходе. В один прекрасный день эта искательница приключений, устав от ревности Пьера, порвала с ним жестоко и окончательно.

После гнева, вздохов и угроз – обычных спутников разрыва – Пьер снова вернулся к своему прежнему приятному образу жизни. Еще месяц он страдал от взрывов памяти, потом всякая боль исчезла.

Он уже не верил, что очень ее любил, по крайней мере он был совершенно уверен, что о ней не жалеет. Говорил он о ней шутя, вкладывая в это слово здоровую мужскую гордость, избегающую болезненных воспоминаний. Анри и Сабина несколько сердились на него за решение никогда уже больше не любить, ибо любовь была главным и таинственнейшим событием его жизни.

Анри де Фонтенэ, назначенный мэром своей общины в Дофинэ, теперь часто уезжал по делам своей новой должности. Хотя он и сокращал свои путешествия, насколько мог, все же эти отъезды несколько расстраивали порядок дома; пришлось отказаться от совместных трапез, и Сабина чувствовал себя одинокой, не имея уже ничего твердого в жизни.

Дни тянулись долго; с Пьером и Марией она виделась только за чаем; иногда, по вечерам, она ходила с ними в театр и чаще всего возвращалась усталая, получив меньше, чем ждала, утомленным взглядом разглядывала сквозь замерзшее окно кареты угрюмый Трокадеро в тумане и молчании полночи. Воздух ночи оставался для нее таинственным и несколько священным. Она не привыкала дышать им равнодушно.

Однажды вечером – играла цирковая музыка, на сцене сверкали в своих шелковых и стальных трико герои: борцы и жонглеры – Сабина заметила, что Пьер Баланс упорно разглядывает какую-то слишком нарядную женщину, склоненную на обод ложи.

Она была красива, с глазами темными и беспокойными и щеками цвета бенгальской розы.

Пьер сидел между Сабиной и Марией; отвлеченный этой особой, он тем не менее оказывал обеим молодым женщинам тонкое, покровительственное внимание.

И г-жа де Фонтенэ, без особенной ревности, думала:

«Нас с Марией он любит нежно, так нежно, что никак не может выбрать... Но он человек страстей – и неизбежно уйдет от нас к одной из этих женщин, отягченных цветами и красками, как лето. Любовь сильнее всякой дружбы, и мы потеряем нашего друга, я потеряю верного друга, внесившего немного радости в мою жизнь».

Эта тревога бессознательно в ней укоренилась, и так как всякая тревога в ней была деятельной, она, сама не замечая, изменила свое поведение с Пьером Балансом. Большая сдержанность и больший выбор заменили прежнюю непринужденность. Теперь, когда они были одни, по временам возникало молчание. Огромный букет пармских фиалок, раздавленный в стеклянной вазе, возле дивана, где сидела Сабина, казалось, намеренно испускал свой запах, и что-то сверкало и волновалось в воздухе, как если бы слова, сказанные ими – им и ею – рассыпались искрами.

Тогда, казалось, они оба слушают, что говорит молчание, что говорит судьба, и оба на минутку нелепо задумывались, и глаза их глядели в тумане как огни маяков, – и это вносило тревогу в их простое прощание.

Воспоминания об этом уходили – Пьер был рассеян, – но случай, какой-нибудь спор, темная воля Сабины возвращали такие мгновения.

В тот день, когда она заметила, что он в нее влюблен, она ощутила не радость – она как-то разучилась радоваться, – но спокойствие и уют: теперь отношение этого человека закреплено. Пьер продолжал чувствовать себя с Анри вполне непринужденно. Его тревожное чувство к Сабине произрастало в смятении, и в этом смятении он ничего себе не объяснял. Он, главным образом, был занят своим умственным состоянием, относился к нему с любопытством, не проникал в глубь самого себя, туда, где тень.

Когда он, временами, беспричинно умолкал – такое молчание не было ему свойственным – все чувствовали тяжесть. В эти минуты он выглядел замученным, лишенным всей своей силы и умственного блеска.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Сабина, которую эта таинственная близость забавляла, испытывала иногда угрызения совести. Она говорила себе, что плохо сделала, доведя своего друга до нежности, на которую не сможет ответить; что это растрата лучших сердечных сил, – и кто знает, до какого отчаяния еще дойдет этот человек, такой темный в делах души. Доброта Пьера ее, однако, успокаивала.

Мария смеялась над щепетильностью Сабина. Она говорила ей:

– При чем тут ты? Чем ты виновата, это так понятно, что он тебя любит. Как это он не полюбил тебя раньше?.. В чем твоя вина, если даже он немножко мучится. Ты прекрасное мгновение в жизни людей!

Но Сабина не соглашалась, напротив, винила себя; она спрашивала себя, откуда в ней эта уверенность, что мужчина никогда достаточно не любит женщины, если в нее не влюблен, что любовь – единственная настоящая дружба мужчины. Ах, она так боялась сердечной скупости!

Что касалось женщин – другое дело. Они могут быть друзьями совершенными и чистыми, неся в себе родник материнской нежности.

Впрочем, Пьер чаще выглядел довольным. Присутствие г-жи де Фонтенэ облегчало его и радовало. Она догадывалась, что скорей вдали от нее он менее счастлив. Оба они были очень восприимчивы к соответствию их ума. Каждый раз, как молодая женщина соглашалась с какой-нибудь его мыслью, каждый раз, как ласково ему улыбалась, Пьер испытывал мгновение совершенной радости и хватал эти мгновения на лету.

Так проходила зима.

Жером больше не существовал для Сабина; она только хранила в сердце какую-то местную пустоту от этой любви, а эта пустота мешала ее твердости и равновесию.

Господи! Как она, должно быть, любила этого человека, раз и теперь еще, глядя на него, она радовалась от мысли: «Я гляжу на него – и мне не больно, я слышу его голос – и живу!»

Он оставался для нее чем-то лукавым и зловредным, и она никогда не могла насытиться сознанием, что больше от него не страдает.

Пьер развлекал ее. Ей очень не доставало его в течение недели, которую он провел в Анзэне, в разгар рабочей стачки. Гордость за него утешала ее. Встречая в газетах его имя, приобщенное к мятежу, она думала о нем с похолодевшими руками спорщика и бойца.

Г-жа де Фонтенэ любила все связанное с толпой, весь бред, всю смуту, все внезапное великодушие, всю священную слабость ее криков.

Она представляла себе победу права и народные празднества, как у Мишле; высокое синее небо, ряды молодых деревьев, открыты сады и – посреди соломенных стульев и южных женщин в светлых холщовых платьях – громоподобного Дантона, с головой, запрокинутой в объятиях жаркой Революции.

* * *

Когда вернулся Пьер Баланс, Сабина забросала его нетерпеливыми расспросами; ей все хотелось знать: какой был город, какие рабочие и что говорили рабочие.

Пьер рассказал ей о гибели одного из них, убитого в кавалерийской атаке. Товарищи устроили ему торжественные похороны.

– Вот это – жизнь! – вздыхала молодая женщина. Она представляла себе всех этих рабочих, как рудокопов Константена Менье: голыми, потными, в парусиновых штанах, прилипших к телу.

– А пели там? – спрашивала она.

– Да, – отвечал Пьер, – Интернационал с его зловещими раскатами, Марсельезу...

– Ах! Марсельеза!.. – говорила Сабина. – Что за невероятный ритм мятежа! Что за призыв! Когда слышишь эти яростные, четкие ударения припева, не правда ли,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru кажется, что люди, все люди должны встать и пойти... Слышите, как они идут, как встречаются, как сливаются, как раздвигают улицы локтями... Они торопятся, их много, им нет числа... Как это удивительно, – добавила она тихо и медленно, – толпа... число... Когда вдвоем что-нибудь любишь – это любовь, когда сто человек это любят – это подвиг! Люди, требующие права на жизнь, на мысль, на хлеб, создают религию, символы... В нас просыпается какая-то мистическая сила при мысли о ржи, о хлебе. Бедный насыщенный хлеб смущает нас вплоть до мечты, также слово, книга, все, что дышит справедливостью и свободой...

Ее глаза на жарком лице горели.

– Не правда ли, – продолжала она несколько глуше, – героизм и чувственность – одно и то же, только героизм еще жесточе... Я сейчас вспомнила, как однажды зимой – я была еще почти девочкой – я нечаянно попала с гувернанткой на какую-то демонстрацию. Я уже не чувствовала холода. Вокруг кричали, пели. Все смотрели друг на друга, никто никого не знал, бедные, богатые, рабочие... все смотрели друг на друга глазами, идущими в сердце. Здесь и там взрывы таинственного смеха, как переключки собак в ночи. Рядом с нами были двое. Их толкали, они толкали, извинялись. Один был без шапки, в синей парусиновой блузе; другой, должно быть, студент; проломленная шляпа, длинная прядь волос на глазу. Я внезапно почувствовала к ним полное доверие, я говорила им что-то, запрокинув голову, чтоб они увидели в моих глазах мою душу... Мне хотелось, чтобы они видели мою душу... Господи, что это было в воздухе? Это было сильнее, слаще, жесточе всякой весны!..

И в полузакрытых, странных глазах ее проходили воспоминания и наслаждения.

Чувствуя так, она часто жаловалась, что «Социалистическое обозрение», которому посвящала себя Пьер Баланс, так переполнено вопросами политической экономики, цифрами и статистикой. Наглядная необходимость в них ее мало утешала. Она любила самоотдачу.

Мария с трудом входила в этот мир Сабины. Ее четкое, частичное понимание лишало ее широкого кругозора – следовательно, уверенности и обладания. Она не высказывалась, думая, что другие, очевидно, правы; но не чувствуя этого сама, она, по свойственной ей совестливости, не строила на их утверждениях.

Жером, обыкновенно, говорил с Анри, которого слушал больше, чем других. Молодой человек, исполненный недоверия к новым теориям, успокаивался от этих умелых, невинных и туманных речей и от того, что в них не разбирался.

Впрочем, он неохотно занимался этими вопросами, слишком привыкнув отождествлять старые законы с изысканностью манер. Теперь он снова принялся за работу и радовался возвышенной нежности гармонии. А жена его радовалась тому, что он занят. Она любила его озабоченной любовью, дрожала за решения, которые он мог принять, и боялась этого ребенка, ставшего господином.

Он любил ее узко и сухо, насколько ему позволила его себялюбивая тщеславная душа.

Его работа над окончанием оперы дала ей большую свободу и возможность, как прежде, гулять с Сабиной. Молодые женщины были счастливы вдвоем, и Мария своей строгостью как бы усиливала умиление Сабины над работой Пьера Баланса.

В темной природе г-жи де Фонтенэ жила какая-то радостная невинность, благодаря которой каждое ее приключение казалось ей вначале прекрасным и совершенным. Отсюда, по временам, это острое, смутное, спешное наслаждение жизнью и терпение, с которым она довольствовалась сегодняшним днем, не требуя никакого определенного будущего. Любовь Пьера ее удовлетворяла. Она ходила с ним и Марией по музеям, церквям, старинным городским садам. Иногда, вечером, она проводила с ним час наедине. В комнате, освещенной мягким светом на уровне лица, шел прерывистый разговор. Кто направлял его, сообщал ему дрожь и подъем – оставалось неизвестным, так они оба были сильны.

Пьер охотно сводил общие вопросы на острие желания и любви. Он был почитателен с Сабиной. Единственным проявлением его любопытства, единственным его дерзновением были, по временам, его расспросы, несколько резкие и острые, несмотря на обходы, о вкусах, жизни и будущем молодой женщины.

Но эти вещи, произносимые просто и громко, казалось, исходили из уст исповедника или врача, и Г-жу де Фонтенэ, после первого ее удивления, они уже мало смущали, волновали и радовали.

Однажды, видя, с какой страстью она прижалась лицом к букету роз, он сказал ей:

– Вы еще не знаете, какая в вас сила жизни. Вы разливаете ее, выдаете ее каждым движением.

Такие наблюдения, казалось, занимали, забавляли его своей пронизательностью, тогда как, по мнению Сабины, они должны были с ума его сводить, от нестерпимого желания и гнева. Ее оскорбляла эта его привычка прикасаться обыденными словами к тому, что увеличилось бы от сдержанности и молчания.

Однажды, в дождливый февральский вечер, он встретил на бульваре Г-жу де Фонтенэ, искавшую фиакр. Он подозвал его и предложил молодой женщине отвезти ее домой; она, после некоторого колебания, согласилась, а он стал шутить, – так он теперь боролся с тайной и значительностью двойственных положений.

Он позаботился о том, чтобы ей в этой тряской карете со звенящими стеклами было удобно, попросил ее положить ноги на грелку с горячей водой. Г-жа де Фонтенэ благодарила его, но в эту минуту ей было не до тепла и холода. Она чувствовала себя нежной и рассерженной и слегка клонилась к спутнику, уже не зная, чего в нем ищет – защиты или опасности.

Пьер, которому никак не удавалось поднять до верху одно из стекол, беспокоился и скрещивал на коленях Сабины полы ее мехового мантио.

Здесь, в этой карете, одна с ним, под его охраной – это его умиляло. Он положил руку на руку молодой женщины и нежно сказал ей:

– Мой друг!

Она, которая не могла знать, что Пьер сейчас счастлив, доволен, растроган, исполнен нежности, закрыла глаза, чтобы лучше насладиться мгновением, когда этот голос, такой знакомый, смутится, сойдет с пути, войдет в великолепную неизвестность.

Пьер нежно повторял:

– Мой друг, – и защищал ее от ветра, входившего в неплотно закрытое окно.

Время от времени, при свете фонаря, Г-жа де Фонтенэ, которая открыла глаза и молчала, видела лицо Пьера Баланса; и, вернувшись домой, думая о нем, удивлялась, что не застала у него этого мутного взгляда бродяги, этого вида – как бы сказать? – убийцы, который, она предполагала, бывает у мужчин в минуту внезапного желания.

Итак, она это чувствовала: Пьер доволен, счастлив...

Но этого ли она искала, этого ли хотела: давать другим счастье?

Нет, она была лучше. Она сама не любила счастья, она всегда хотела хуже, и особенно для Пьера она желала бы страдания. Глухая смута, поднимавшаяся мгновениями в сердце этого человека, слишком скоро терялась в его деятельном веселье. Любовь к Сабине была ему каникулами. В прошлом у него было много бурь, а теперь он входил в радостную пристань, где все длилось и возобновлялось, где ничто его не ранило. Удивление, испытываемое от этой новой жизни, возвращало его к юности, к беззаботности и безопасности детства.

До сих пор он всегда мучился из-за женщин, которых в один прекрасный день внезапно начинал желать, и всегда намеренно усложнял свою любовь. Он раздирает себе сердце об острие их взглядов, сочинял себе подозрения и ревность, плакал из-за неуловимых неверностей их мыслей, кричал, вспоминая их кудри и руки.

Но все это кончилось, кончилось сразу, как в холодный дождливый вечер кончается лето, как кончается страстная молодость.

Какие-то возможности в нем иссякли. Его жадная душа, еще неведомо для него самого, решила отдыхать. Отныне ему было суждено любить без этой неподвижности, этой ужасающей устремленности, узкой и цепкой, которая некогда делала для него из неопределенной, изменчивой женщины – единственную возможность наслаждения и жизни, тот оттенок воздуха родины, вне которого трудно дышать.

Теперь он говорил себе, что все они, приблизительно, одинаковы: подвижные, обманчивые и порочные. Оставаясь подле Сабины, он видел в ней только более совершенное воплощение этих бурь.

В женщинах он различал два главных двигателя: страсть и скрытность, у одной, как у другой.

Он говорил: «хитрость женщин», как сказал бы: «их нежные ласки»; в этом он видел свойство породы, одной у всех, без особых оттенков. Он плохо различал особенное, и Сабина очень быстро почувствовала, что любима не так, как ей бы хотелось, – за единую свою сущность, за эти особенности души и взгляда, которые любовь измышляет, чтобы лучше себя ранить.

Но г-жа де Фонтенэ в душе не жаловалась. Она чуяла в дружбе Пьера неиссякаемые родники. Этого ей было достаточно. Раньше она была требовательной; со встречи с Жеромом Эрель она знала, что настоящее принадлежит не нам, что ничто не верно, и держалась за него, как за человека, который скоро умрет.

Но возвращение весны ее раздражало.

Она капризно говорила Пьеру Балансу:

– Как сделать, чтобы ее не было?

– Мы ее не увидим, если хотите. Ходите со мной в Национальную библиотеку, где я работаю. Вы будете гулять по рукописям и гравюрам. В жилищах науки воздух более благовонен, чем в лесу. Именно в эти залы нужно было бы уезжать на дачу: молчание и углубление в века делают из них самые таинственные и самые обширные места в мире...

Но г-жа де Фонтенэ знала, что будет мучиться от весны, несмотря на все. Закрыв глаза, она чувствовала ее приближение: долгие часы ее, ее облака, распростертые на резкой синеве, и весь запах боярышника...

Невдалеке от нее, в лесу, кусты и связки деревьев, напоминавшие зимой вязанки хвороста, поднятые в дождливое небо, покрывались теперь по остриям ветвей зеленым посевом, крохотными листочками, клейкими и пахнущими скипидаром. И затем, часам к пяти, к вечеру, появлялся теплый ветер, от которого сжималось горло.

Грусть молодой женщины не нравилась Пьеру Балансу. Он боялся всего, что не смех, не понимание, не доверие. Зачем так усложнять жизнь, при желании такую уютную и легкую? Мария проще наслаждается всем этим; она по-настоящему внимательна, тогда как другая совсем уже разучилась слушать не раздражаясь.

Однажды вечером Сабина просто не захотела слушать, как Пьер объясняет Марии возрождение клеток.

– Уничтожит ли это уже через пятнадцать лет разрушение, старость? – говорила она. – Нет! Тогда при чем тут мы? Оставьте меня, дайте мне спокойно быть грустной.

Она была из тех ненасытных существ, у которых мало времени и которые все его целиком хотят употребить на счастье.

– Но есть другие радости, другие заботы, – возражал Пьер, – чем этот сон наяву и постоянные мысли о себе.

– Не для всех, – перебила Сабина, – для меня не существует степеней наслаждения. Есть только одно наслаждение: то, что делает больно.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Пьер смотрел на нее, старался понять, что она действительно думает, что – говорит нарочно. Он верил в вечное притворство женской мысли, в любовное письмо и кинжал под поясом, и смутно страдал от ее таинственности и склонности к темным иносказаниям: ибо она рассказывала что-нибудь о цветке, что-нибудь о детстве, чтобы высвободить хоть кончик души.

Пьер дружески-заботливо укорял ее, думал, что она больна, разъяснял ей, что жизнь и приключение еще используют ее скрытые силы.

Она пренебрегала его ролью наставника и исповедника. Так он, значит, ее любит! Почему он не любит ее за то, что в ней поистине таинственно: за ее глаза с несколькими наслоениями взгляда, за ее волосы, теплые, как жилы, ее черные, резкие волосы, пахнущие валежником и дымом, за ее душу. Господи! в глубине которой, под спутанными волнами, катится детский белый камешек желания.

Пьер Баланс советовался с Анри о том, как бы развлечь Сабину. Однажды вечером она, почувствовав их дружеский заговор, злым пронзительным и дерзким смехом, как локтем, оттолкнула их предложение увезти ее в деревню.

Мария упрекала Сабину за ее несдержанность.

– Плохо же ты платишь им, бедным, за их любовь, – говорила она, целуя ее.

– Плохо? – возражала г-жа де Фонтенэ.

И она чувствовала, что в ней встает от этого мертвого однообразия дней.

Но все же она стала следить за собой, изменила свое поведение, стала тише.

Она чувствовала нежность к Пьеру, они сделали друг другу больно, и теперь в ней просыпались угрызения совести, ужасные сентиментальные угрызения совести, как у ребенка, который в праздник, после подарков внезапно вышел из себя.

В чем она обвиняла Пьера?

В том, что он не умирает из-за нее, неприкосновенной, в том, что дышит воздухом ее жизни и дома и не сходит от этого с ума, вспоминая Вертера и Доминику? В том, что он любит Анри, своего старого друга, что сердечно говорит с Марией, что не скучает с другими, не лжет, не предает, не изменяет?

Ведь это же безумие, она это видела. И, нужно сказать, она уже не сердилась на него на общих вечерних прогулках, окруженная прелестью уже наступавшего лета. Она смеялась, она все время смеялась. Можно было таскать ее с собой по маленьким ресторанам на берегу озера, откуда вставал туман, сажать ее, голубыми ночами, за столик, по которому ползают мухи, – все ее забавляло. Ей было весело смотреть, как расставляют на ресторанной скатерти обычные *hors-d'oeuvre*; тонкие ломтики сырых томатов, ярких, как мясо, сельдерей, наверное хрустящий, как тростник, и сохранивший вкус земли, маслины, обернувшиеся вокруг своих косточек, и все эти маленькие серебряные рыбки, задушенные перцем.

И тем временем, как эти блюда переходили из рук в руки, музыка – богемская или неаполитанская – играла.

Музыкант-дирижер вел оркестр мановением руки, смеялся, как фокусник, когда удавались мелодии, единым знаком поднимал и опускал тона скрипок и выказывал себя таким знатоком человеческих нервов.

С лицом, усиленным лихорадкой, Сабина страстно вписала в себя эти мягкие романсы, которые, по скользким струнам скрипок, растягивали ее душу от наслаждения к томлению.

Но как она уставала!

Была ли она создана для этой жизни без внутренней передышки, в мишурном блеске стеклянных ресторанов?

Не была ли она, верней, человеком одиночества? Что она больше всего любила в жизни? Мечту, воображение, мирное однообразие дней. Конечно, она была когда-то

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
счастливой, в начале замужества, когда столькими туманными желаньями населяла белую пустоту, когда медленно просыпалась утром, не зная, ни который сейчас год, ни сколько ей лет, – так благодать дней казалась ей бесконечной.

Как она когда-то любила летом сидеть перед горячим гравием сада и бегать осенью под красной листвой орешников, где сверкали, крепко пришитые к своим зеленым колпачкам, орехи из шелковистого дерева...

Она также любила некогда все, что в домах и в комнатах: летнюю зарю, пойманную в жестких ситцевых занавесках, и, когда откроешь октябрьским утром окно, первое дуновение ветра, пахнущего анисом и виноградом.

Она любила старые пузатые комоды и на круглом столе скатерть из бабушкиной шали, подушки с бахромой, каминные ширмы из жесткого фая, цвета сердечника, все вещи, хранящие душу г-жи де Саблиер, Люсили и королевы Гортензии.

Не лучше ли ей было бы предоставить другим их вечерние развлечения и оставаться дома, устраивая себе мирную, мечтательную жизнь?

Но Пьер ее беспокоил. Минутами она не узнавала лица своего друга. Теперь, говоря с ним, она не решалась, как раньше, положить ему руку на руку.

Глухая раздражительность г-жи де Фонтенэ, ее нервность удивляли и огорчали Пьера Баланса.

Видя, что вокруг нее реет тревога, он смутно убоился пышных трагедий, для которых его сердце уже не годилось.

Он чувствовал себя обкраденным в дружбе с ней. Он был уже не так счастлив, совсем уже не был. Ему как-то вдруг стало трудно от этой нежной дружбы, которую он старался продлить, вопреки Сабине, очевидно, от нее уставшей. Тогда его душа, выбитая из колеи, бессознательно начала защищаться.

Г-жа де Фонтенэ, не хотевшая терять того немногого, что имела в жизни, – большой дружбы Пьера, удерживала его взглядами, более заботливыми, чем материнские руки: удержать, не терять того, что имеешь, не упускать времени, сохранить любовь или дружбу, как в детстве стараешься удержать, продлить короткий божественный Сочельник... Она сама во всем виновата: если бы она все эти последние месяцы не огорчала, не расстраивала Пьера Баланса своим дурным характером, он бы еще был этим товарищем с глубоким сердцем и братским смехом; он бы еще был этим любопытным и сдержанным слушателем – тем, что ее так раздражало! – верным другом каждого часа и будущего, другом, которого она в душе упрекала за это спокойствие.

Теперь она его больше не понимала, и он уже не умел обращаться с ее душой. Не расставаясь, не переставая говорить друг с другом, они забыли друг друга, и теперь неловко пытались воссоздать прежнее понимание; но грусть Сабини и ее показное веселье и разочарование Пьера, переходившее в небрежность, ускоряли разрыв.

Сердечное горе у г-жи де Фонтенэ пробуждало в ее памяти самые отдаленные острые воспоминания. Все, что у нее было, с первого детства, разочарований и горя, возвращалось к жизни, и тогда она страдала поистине, как дети, чье сердце кидается в слезы.

С лицом и руками, мокрыми от слез, с душой, как ножом, перерезанной нежностью и слабостью, она говорила себе, что ничего не умеет беречь в жизни, что, должно быть, состарится и умрет, оттолкнув от себя все, вплоть до священной дружбы.

И вот уже она ни в чем не упрекала Пьера, только удивлялась тому, что она не видит, как ей сейчас больно и жалко и как нежно служит ему ее мысль. Она чувствовала себя грустной, добродетельной и мудрой, утомленной этим новым горем, потерявшей молодость сердца, но готовой жить терпеливо и благородно. Пусть Пьер еще раз подойдет к ней, она скажет ему все это и еще то, чтобы они – она, Анри и он – остались простыми и добрыми друзьями.

Недовольство, испытанное Пьером Балансом, усыпило его мысль и, пользуясь этим сном, его инстинкт увлекал его из тьмы, где орудовали тревога и усилие; он

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
больше ничего не хотел. Испытав горе, он не заботился о том, что могла
чувствовать г-жа де Фонтенэ.

Теперь г-жа де Фонтенэ по-детски старалась вернуть прошлое. Она устроила поездку
на лодке, нанятой на целый вечер.

Были только свои: Анри, она, Пьер и Жером с женой. В минуту отплытия было еще
светло, и на плоском серебре воды, таявшей и брызгавшей у кормы, алые и серые
отсветы сумерек двигались и изображали волны.

По обеим сторонам Сены проходили холмы и откосы.

В Сюрене, Сэн-Клу и Севре виднелись маленькие виллы – старинные и жеманные, –
усложненные итальянской живописью и мавританской резьбой; одна из них,
известково-белая, с куполом и террасой, поистине воскрешала Восток, вызывая на
спокойном небе кислый, растущий звук туниССкой флейты.

На одном из холмов, выступая из частной зелени, какое-то прямое здание строгого
стиля напоминало старинную гравюру и желтело, как пенковая трубка.

Обратный путь совершался в прелести тени, в тайне дымной реки, похожей на каналы
Голландии. Прибрежные фонари и огни разлтых товарных барок погружались в
оживленную воду и вытягивались, смятые и сборчатые, как горящая гармоника.
Сабина, которую все волновало: шум воды, запах дегтя, красный фонарь вдали, –
думала о Пьере, чье спокойствие ее расстраивало, ибо ночь – так ей казалась –
всем говорит одно.

Ужас, сладость желания и вы, поцелуи, которые Джульетта срывает с губ и бросает
к звездам, и вы, соловьи, что плачете в кустах, и вы, лягушки, с вашим
таинственным скрипучим криком на мягких прудах, устланных плоскими листьями, –
не вы ли отчаянные души ночи, и те, кто вас понимают, не несут ли они в груди
все ваши рыдания?..

Несколько дней спустя, когда Пьер объявил, что в конце недели уезжает на все
лето в Бургундию, к брату, где будет работать – так как, по его утверждению,
потерял весь этот год, – Сабина сказала себе:

– Он нехорош со мной, но он вспомнит все в минуту прощания, всегда немного
похожую на смерть.

И день настал. Пьер, занятый своим чемоданом, поездом и часами, уже не видел
друзей, собравшихся для него на вокзале. Сабина держалась в стороне, предвидя
минуту смущения и забывания, когда, держа ее за обе руки, Пьер Баланс,
внезапно взволнованный, с глазами, полными воспоминаний, обменяется с ней своей
глубочайшей сущностью; и тогда дружба восстановится путем писем.

Дверцы вагона уже закрывались, и Жером кричал Пьеру:

– Скорей! Скорей! Садитесь!

Тогда, забывая всю свою спешку и поезд, могущий тронуться, Пьер с лицом,
покрытым тяжким облаком дружбы и острой тоской расставанья, обнял Анри и крепко
прижал его к себе, потом пожал руку Жерома, долго-долго держал в своей – руку
Марии и затем, ища Сабину, стоявшую позади всех, сказал ей:

– До свидания.

Он торопился, у него уже не было времени.

И Сабина поняла. Теперь он, как прежде, друг Анри и Марии, их добрый, верный,
преданный друг; а для нее, для нее он – никто. Он окончательно забыл весь этот
год; для других – он уезжал, от нее же он уходил, уходил навеки...

II

Г-жа де Фонтенэ, спокойная и усталая, собиралась к концу июля ехать с мужем в
Дофинэ, когда получила письмо от ее отца, в котором он говорил ей, что болен,
что проведет лето в Швейцарии и что хочет ее видеть.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
С женитьбы г. де Розэ на этой молодой венке, с которой Сабина отказывалась знакомиться, она несколько раз встречалась с отцом в Париже; но, враждебные и замкнутые, они ничего не нашли сказать друг другу. Теперь она чувствовала, отношение ее изменилось: есть ли у человека право судить и ненавидеть, есть ли время сердиться на то, что делают другие? Кроме того, разве не естественно, что вторая жена ее отца вышла за него замуж, по всей вероятности, из-за его состояния и имени?

Она тоже когда-то была тщеславной. У этой особы, должно быть, не больше недостатков, чем у нее самой, а у нее они все, раз она грустна и несчастна. Она ясно сознавала, что добродетельные души, не знающие ни зависти, ни гордости, ни этого вечного чувствования себя, не спускаются в такие пропасти бессилия и томления. Она видела старых дев и вдов, которые жили одиноко и трудно, работали, бегали с рассвета по урокам, хранили целые ящики любовных писем – памяток оскорбленной и конченной любви! – и все же смеялись, с сияющим сердцем, при виде чужого счастья.

Г-же де Фонтенэ, в конце концов, пришлось примириться с отъездом Анри в Дофинэ, куда призывала его работа по выборам, назначенным на следующую весну. И тем временем, пока Жером, Мария и ее мать устраивались в своем замке в Уазе, она стала собираться к г-ну и г-же де Розэ.

Однажды утром, в начале августа, она вышла из вагона в Женеве. В воздухе стояла голубая сжатость. Мягкие волны озера приподнимали неподвижных лебедей и приводили их к самому острову Жан-Жака.

На белых стенах, тротуарах и высоких городских зданиях кипело солнце.

Г-жа де Фонтенэ взяла коляску и поехала в Ферней, где ее отец и г-жа де Розэ поселились в маленьком домике с садом.

Дорога вдоль воды, цветущей равнины и виноградников была очаровательна, но Сабина наслаждалась ею не вполне, озабоченная своим будущим поведением с г-жой де Розэ, которую, по рассказам, представляла себе острой, розовой, ярко-белокурой, с узкой талией и стальными движениями.

Проехав через городок Ферней, звонкий от шума фонтанов и крика школьников, г-жа де Фонтенэ остановилась у деревенской калитки, затененной елками. Она толкнула деревянную задвижку и пошла по дорожке из гравия, немного подымавшейся по направлению к дому; розовая ее юбка, отягченная внизу кружевами, тащила за собой камешки. Она заметила, какая таинственная бездна мха, черной земли, запаха сырости и маленьких грибов живет под низкими ветвями темных елок.

В жарком воздухе середины аллеи молчание как бы пряло пряжу из солнца и меда, и беспокойный полет насекомых помогал ему неуловимым звуком прялки.

Высокие стебли цветов в привольной траве, зеленая тарелка львиного зуба и острия аржанца сверкали, покрытые тонкой испариной.

Г-жа де Фонтенэ поднялась по каменным ступенькам крыльца, осененного аркой винограда, и увидела прямо перед собой, в глубине маленького коридора через открытую дверь гостиной – женщину, которая быстро встала, уронила вышивание и ножницы и пошла к ней навстречу.

Эта молодая особа, казавшаяся суровой, со своими зачесанными назад волосами, прямым взглядом и негнущейся талией, оставила ее равнодушной.

Они любезно поздоровались, и Сабина, думая скрыть свое смущение многословием, стала беспорядочно рассказывать свои дорожные неудачи, нагромождала слова и неловко смеялась, положив обе руки на руку другой.

Но г-жа де Розэ, которая из вежливости продолжала улыбаться, казалось, была оглушена этой порывистостью, так непохожей на ее привычную сдержанность и холодность, свойственные, по ее мнению, всем благовоспитанным молодым женщинам.

Сабина почувствовала, что удивляет; тем не менее вся осанка г-жи де Розэ была такой искренней, такой спокойно-сосредоточенной, что она не рассердилась на это спокойствие, походившее на выговор. Внезапно чувствуя себя рядом с этой

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru женщиной, старшей ее только на два года, почти ребенком, и сдерживаясь всем существом, она спросила ее, дома ли сейчас отец и может ли она его видеть, так как, желая удивить его, не предупредила о часе приезда.

Г-жа де Розэ ответила, что он, должно быть, пишет в своей комнате и что дочь его застанет его в добром здравье.

Она с большой простотой и вежливостью провела г-жу де фонтенэ по блестящему трескучему полу через весь дом и, остановившись у одной из дверей и не открывая ее, позвала своего мужа. Он быстро вышел, обнял дочь, поцеловал ее, посмотрел на нее и снова поцеловал.

– Видишь, Алиса, – сказал он, обернувшись к жене, – не говорил ли я тебе, какая она хорошенькая?

– Да, – ответила г-жа де Розэ с видом пансионерки, широко теперь улыбаясь глазами и ртом.

Стали уговаривать Сабину поселиться на даче, но она утверждала, что отлично устроится с горничной в маленькой гостинице фернея и что это также будет удобней в дни приезда Анри.

Она обещала каждый день обедать у отца и оставаться возможно дольше.

Было около часу; сели за стол.

Сабина успела только снять с себя желтую соломенную шляпу, покрытую лютиками, и поправить руками перед зеркалом спутанную прическу. Кокетство, с которым она всегда представала на женский суд, которого боялась, должно было на этот раз, в виде позднего часа, примириться с этим единственным охорашиваньем и скукой этого платья, всего измятого от ночи в вагоне.

Г-жа де Розэ, поддразнивая ее, говорила:

– Так очень хорошо, не беспокойтесь, идите! Видно было, что сама она, выйдя из будуара, где проводила ровно столько времени, сколько требовала прическа и необходимое одеванье, уже никогда об этом не думала.

– Вы не занимаетесь своей наружностью? – спросила Сабина, оглядывая ее прямую, хорошо одетую фигуру.

– Нет, – сказала г-жа де Розэ, с удивленным смехом, считая, очевидно, кокетство малым девичьим грехом, который после двадцати лет смешон и странен.

Маленькая столовая понравилась Сабине. Она была из еще свежего дерева и пахла смолой. Комната выходила в заросший угол сада. Сосновые ветки подходили к окну так близко, что на одной из них, более тонкой и подвижной, можно было видеть, у самого стекла, пушистую, пышную птицу, отдыхавшую среди зеленых игл и маленьких шишек.

Ни в доме, ни на воле – ни малейшего шума, только некое глухое потрескивание, как если бы молчание отмечало час и время и глотало их маленькими равномерными глотками...

И скоро – послеобеденный час, скоро – сумерки, скоро – вечер в деревне.

* * *

На другой день после приезда Сабины г-жа де Розэ, давая ей зонтик, чтоб идти с ней в сад, сказала:

– Теперь, когда мы немножко познакомились, зовите меня Алисой, да?

И это вопросительное «да» было прелестно: нерешительно и властно зараз.

Разница возрастов г-на де Розэ и его жены не удивляла, таким он выглядел оживленным и счастливым рядом с ней, более сосредоточенной и рано созревшей.

Сабина почти ничего не знала о прошлом своей новой подруги; она узнала от нее

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru только то, что она рано осталась сиротой, воспитывалась у теток и потом вышла замуж по любви. На вопросы Сабины г-жа де Розэ отвечала: «Не будем говорить обо мне, хорошо?» – с простотой, свидетельствующей об искренней привычке никогда не говорить о себе и никогда не жаловаться.

Г-жа де Фонтенэ начала испытывать счастье, для нее, может быть, самое настоящее. Всегда в один и тот же час она приходила к отцу, которого заставляла читающим что-нибудь со своей почтительной и прилежной женой. Иногда она улавливала между ними один из тех бесконечно добрых взглядов, которыми один человек всецело принимает другого.

Чем больше Сабина узнавала молодую женщину, тем больше увеличивалось ее уважение к этой истинной дочери древней Германии, где белые сказания, подобно прекрасным аистам, населяют очаг человека.

Они нравились друг другу; они устраивались рядом, на садовой скамейке, у зеленого деревянного стола; одна вышивала, другая читала; иногда они одновременно останавливались, чтобы поглядеть на нежное лето и сказать несколько неопределенных, отрывистых слов, не выражающих цельной мысли, но открывающих все тайники сердца. От времени до времени с пушистой чашечки какого-нибудь полевого цветка поднималась бабочка – душа благоухания.

Г-жа де Фонтенэ заражалась задумчивой мечтательностью подруги, делалась, как сестра, в объятия которой сбегались все мысли другой.

Они уважали друг друга. Г-жа де Розэ ценила теперь в Сабине порыв и вспыльчивость; она была из тех, склонных к добродетели, женщин, принимающих страстность за наивысшую человечность и верящих, что всегда она – во благо.

Их обоюдная сдержанность была нежна и очаровательна; они пытались узнавать друг друга, помимо слов, и не утешали, а щадили друг друга.

Подчас они смеялись, как девушки, которым каждый день приносит счастье; природа казалась им родной и таинственной, как в сказках, и слива, упавшая с дерева к ним на колени, радовала их, как подарок.

– Я очень верю в сказки, – говорила г-жа де Розэ, улыбаясь, и, действительно, вне ее благоразумия, ее сердце в них верило.

– Почему невозможно, – продолжала она шутя, – чтобы карлики в длинных колпаках приходили по ночам пить росу из горькой чашечки львиного зева?..

И Сабина вспоминала, как и она когда-то любила нескончаемую повесть о семействе улиток, жившем в траве, под крышей из морских листьев.

– Ваши французские сказки, – говорила г-жа де Розэ, – кажется, не так подробно знакомы с огородом, ульем, мышеловкой, как наши...

– Правда, – отвечала г-жа де Фонтенэ, – наши сказки, наши прекрасные сказки Перро рассчитаны на маленьких мужчин и маленьких женщин, которыми и являются во Франции дети. Это – повествования без всякой невинности, говорящие о тщеславии, о зависти, о расточительности, о любви. Есть в «Ослиной коже» принц, который умирает от воздержания и вкуса пирога, изготовленного ручками его возлюбленной. Чувствуется, что платье цвета луны и платье цвета времени года вышли из лучшей мастерской того века... Эти сказки похожи на жизнь; феи в них появляются не иначе, как случай в жизни людей...

Анри де Фонтенэ, приезжая на несколько дней к жене, радовался счастливому влиянию г-жи де Розэ на Сабину и приятно отдыхал.

Сабина теперь так привязалась к маленькой фернейской даче, что не могла себе представить минуту отъезда. Она всем сердцем знала мостовую и лавки, теснившие и толкавшие друг друга вдоль узких тротуаров.

Проходя по площади, где стоял памятник Вольтеру – он, казалось, не стоит неподвижно, а только остановился на ходу, в беседе, – она испытывала ту почтительную нежность, которую пробуждали в ней большие судьбы, и радовалась, что городок посылает сюда своих детей играть и служанок черпать воду, на глазах

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
у этого славного предка.

Настала осень; молодые женщины уже не сидели в саду с рабочими корзиночками. Кончилось лето, такое нежное ко всему живущему, когда на воле так же тепло, как в комнатах, когда аллеи – как длинные голубые цветущие коридоры домов, когда ночь в садах, нежнейшее жилище, когда ночь – лишь немного прохладней дня и только еще любовней...

Но они еще радовались. Осень сближала их сердца, как руки, греющиеся друг в друге. Они быстро шагали по дорогам, вдыхая свежесть. По маленькому хороводу холмов проходили стада; их бубенчики задевали воздух и звенели. Горели костры из трав, и все пространство пахло дымящей крышей. Сбитые орехи, мягкие, вынутые каштаны, выскользнувшие из своей ежеподобной шкурки, устлали края дорог.

Г-жа де Фонтенэ замечала, на ходу, осеннюю землю, тонкую и сжатую, как сладкое тесто. Она была счастлива. Радость вырывалась из нее легким славословием.

«О, солнце, – думала она, – ты, что все облагораживаешь: и тяжелую равнину, где трудится лошадь и вол, и бедную грудку камней на проселочной дороге, такую блестящую и так похожую на золото, что она кажется богатством безумца, брошенным здесь, – о, солнце, сделай, чтобы я еще долго была невинной и спокойной, как эта стена, покрытая розовой льнянкой, как эта елочка, играющая с воздухом, пойманном в ее разлтых ветках...»

Насладившись по дорогам грустью сумерек, Алиса и Сабина снова радовались стеклянной гостиной, где пылал огонь; ветер бросал о стекла красный дикий виноград, свисающий с верхнего балкона.

Иногда г-жа де Фонтенэ говорила о том, что ее мучило в прошлом, о том, чего боялась в будущем.

– Нет, вы так уже не будете чувствовать, – говорила г-жа де Розэ.

И добавляла: «Не правда ли?» – чтобы другая сказала «да» и чтоб это было обещанием, обетом, – что для нее являлось важным.

– Вы не знаете, – начинала Сабина сызнава, – как мне хорошо с вами! Мне бы хотелось жить с вами, не расставаясь, здесь, или в прилежной, протестантской Лозанне, которая на вас похожа. Вы – добрая...

– Я не добрая, – утверждала Алиса, имевшая представление о совершенстве.

Обе не любили думать о близком отъезде: г. де Розэ должен был на зиму уехать в Египет.

Когда понадобилось принять какое-нибудь решение, Сабина предпочитала уехать первой, чтобы не видеть, как закроется дом, где она была счастлива, и как все разъедутся.

День расставания опечалил подруг. Они расставались надолго, не зная, смогут ли встретиться будущим летом. Ясно было, что разлука ничего не изменит в преданном сердце г-жи де Розэ. Она принадлежала к породе дочерей Франциска Салийского, всю жизнь беседующих с умершим ребенком. Она старалась, чтобы Сабина стала сильней в жизни, и глядела на нее глазами матери, убеждающимися, что душа и тело маленького готовы к длинному пути.

С Сабинной она теряла свою нежнейшую радость, но не жаловалась. И, зараженная этим примером, г-жа де Фонтенэ, в минуту прощания, ушла так же просто, как если бы завтра же могла вернуться...

Часть третья

...если подумать об их природной робости и о крайнем ужасе их перед смертью!

Мишле

I

По возвращении г. и г-жи де Фонтенэ в Париж жизнь улучшилась для обоих.

У Сабины от встречи с г-жой де Розэ оставалось ровное настроение. Он, которого

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru ничто не удивляло, только радовался. Сердце жены он сравнивал с погодой, которой не предскажете и не измените. И он так же легко сживался с радостью, как с равнодушием и утратой.

Счастье Сабины он, казалось, принимал за личную удачу. Когда Сабина переставала быть счастливой, удача уменьшалась, и он переносил это легко.

Иногда, по вечерам, маленькая гостиная, выходящая на обсаженную деревьями улицу, наполнялась, несмотря на закрытые окна, запахами с воли: запахом ночи и тумана, к которому присоединялся еще привкус горячей каминной золы. И это напоминало Сабине каштаны, которые она, в детстве, клала в огонь и которые так же пахли.

Она говорила Анри:

– Теперь нам нужно было бы детей, чтоб они возле нас играли.

Раньше она надеялась, что дружба с г-жой де Розэ будет ей поддержкой. Но г-жа де Розэ писала редко, и только короткие, простые письма. Доброта ее была в поступках.

Все же Сабина была довольна. Так прошло несколько месяцев.

Однажды утром к ней вошел муж и сказал:

– Ты сегодня сделаешь для меня одну вещь. Представь себе, что к пяти у меня свидание с Филиппом Форбье, которого я должен попросить об одном одолжении. Но я почти ослеп от гриппа и никак не могу пойти. Пойди, пожалуйста, ты.

– Господи, – ответила Сабина, – я уже и так устала, а теперь еще это! Нет, это невозможно. Я не знаю твоего друга, и он меня не знает, – что я ему скажу?

– Ну, пожалуйста, – перебил Анри, – будь милой, это так просто. Ты скажешь ему, что я в отчаянии и что прошу его передать тебе рекомендательное письмо для брата Пьера Баланса, который хочет посетить берлинские университеты.

– Нет, – еще раз ответила Сабина. Она капризничала, объясняла ему, что действительно устала за последнее время. Она сердилась.

Но так как Анри, сжав руками голову, жаловался на боль и все еще настаивал, она обещала ему, что пойдет после пяти на это свидание и принесет письмо.

Будучи до этого занята, она немного опоздала к Филиппу Форбье и всходила по лестнице недовольная и смущенная.

Она подождала несколько секунд, потом ее ввели в жаркую, загроможденную комнату.

Она смутно увидела мужчину, который встал и поклонился, не глядя, с видом вежливым и отсутствующим. Очевидно, она ему помешала.

Смеясь, чтобы разогнать смущение, она сказала:

– Я г-жа де Фонтенэ... жена Анри де Фонтенэ... которого вы знаете; меня вы не знаете.

Он слушал ее молча, наклонив голову, как бы говоря, что хорошо ее понял и что ему еще нечего ей ответить.

Тогда, почувствовав равнодушие этого человека, она быстро передала поручение Анри, и Филипп Форбье ответил, что сейчас напишет письмо. Он стал писать. Сабина видела его со спины. Он вышел из комнаты за какими-то адресами.

Г-жа де Фонтенэ, оставшись одна, стала осматриваться. Лампа на письменном столе, несмотря на розовый фарфоровый колпак, так ярко горела, что грела, должно быть, как печка. И камин горел; красные угли в нем пылали и двигались. После дождливой холодной улицы Сабине эта жара показалась чудесной.

Она подумала:

– Как это прекрасно – люди, которые все время работают, которые ничего другого не делают...

Она уже совсем привыкла к этой глухой, сосредоточенной комнате. Большое темное ковровое кресло она рассматривала так, точно собиралась всегда в нем сидеть.

И вдруг она подумала:

«Господи, сейчас же этот человек вернется, даст мне письмо, простится, и я с ним прощусь, уйду... Никогда больше не увижу этой комнаты, в которой, чувствую, могла бы жить... И опять на улице будет холод, и все кончится...»

Она подумала еще:

«Что бы такое рассказать сейчас, чтобы не так скоро, не так сразу уйти...»

Она заметила на столе старинное издание «Опытов» Мишеля Монтеня.

Филипп Форбье вернулся. Он подал ей готовое письмо.

Он спросил ее:

– Вы любите книги?

И пошел за томом Данте.

Она тихонько вынула его у него из рук, открыла и голосом, таким нежным, таким горячим, воскликнула: «Ах, как чудно!» – что он впервые взглянул на нее. Он нашел ее тщедушной и взволнованной. Она несколько привлекла его внимание; покорная, как девочка, она следила за всеми строчками и гравюрами, которые он ей показывал; мгновениями она отодвигалась от него, как бы смущаясь и робея.

– У меня есть еще другие книги, которые вам, может быть, понравятся, – сказал он.

Она ответила в отчаянии:

– Господи, у меня больше нет времени, но я могу еще прийти.

Она подумала и продолжала:

– Я приду к вам через неделю, в четверг, если это вам не помешает.

Выходило десять дней. И она прибавила:

– Немного после пяти.

Филипп Форбье ответил:

– Если вам будет угодно.

Он уже перестал о ней думать.

Сабина сказала «до свидания», протянула ему руку. Она увидела его только при прощании; она еще ни разу, за все время, на него не взглянула, но, как вошла, почувствовала, какой он...

Вечером она рассказывала Анри:

– Я думаю о твоём друге; это сумасшедший; ты мне не сказал, что он, несмотря на свои сорок три года, выглядит молодым и что он похож на героев Революции. Он живет в огне и книгах. Он хотел показать мне какие-то издания, но мне уже нужно было идти, на днях я к нему еще пойду.

В назначенный день, после четырех, г-жа де Фонтенэ оделась, чтобы идти к Филиппу Форбье.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Ей бы хотелось не идти, это расстраивало ее день, она была усталой, но, не имея времени предупредить его и боясь, сама не зная почему, показаться ему капризной и ненадежной, она все же оделась и пошла.

Ее ввели в ту же комнату.

Филиппа еще не было. Было так жарко, что она сняла шубу и положила ее на стул.

В черном мягком бархатном платье и шляпе с длинными перьями она выглядела, как паж.

Когда Филипп вошел, г-жа де Фонтенэ, решив больше не стесняться, начала говорить и оживленно двигаться. Она жаловалась на холод и так близко подседа к камину, что Филипп испугался; но она рассмеялась и сказала, что не боится огня, что это добрая, дружественная ей стихия, что она охотно положила бы в него руки...

Подняв глаза на стоявшего Филиппа, она добавила:

– Я вам ужасно мешаю, я прихожу и мешаю вам, а вы так заняты... Садитесь, – продолжала она, – если вы не сядете, и мне нельзя будет так у вас сидеть.

Ей захотелось спросить его: «Я вам не надоела?»

Но не посмела, чувствуя, что этот человек не любезен и сможет ответить, что она ему не надоела, но что он очень занят.

Она заговорила об Анри. Филипп, казалось, не особенно его помнил, и Сабина, обидевшись за мужа, замолчала.

Потом она сказала:

– Пожалуйста, покажите мне книги.

Он ответил, что у него довольно хорошее собрание, оставленное одним его другом, и повел ее в библиотеку. Он извинился, что лестница, ведущая туда, очень узка и темна.

Когда он снова вернулся, Сабина, которая чувствовала, что надо уходить, что Филипп ее совсем не удерживает, увидела на камине несколько восковых статуэток.

– Вы лепите? – спросила она.

Он ответил, что да, что лепит и рисует, когда есть время.

Она продолжала;

– Как вы думаете, хорошо мне будет заняться скульптурой? Я так скучаю...

Бесконечное и трогательное доверие было в ее голосе. И прежде, чем он смог ответить, она добавила, придерживая на плечах шубу, которую уже надевала:

– Ах, у вас чудесная жизнь, вы работаете, вы все знаете, я тоже хотела бы все знать. Вы, может быть, думаете, что я занята пустяками, но я с детства от всего страдаю. Так что же делать, когда так все чувствуешь, когда это – болезнь? Даже музыка меня ужасно мучает...

Филипп Форбье, куривший, предложил молодой женщине папиросу. Ему казалось пристойным и скромным не слышать того, что она говорит о себе.

– Да, – вздохнул он, – я много, до ужаса много, работаю.

– Вы пишете книги? – спросила она.

– О! – ответил он. – Вам они будут очень скучны. Философия, медицина... Не думайте о них, в них все слова, которых вы не понимаете...

Она спросила еще, где и когда он читает лекции. И затем, с большим трудом заставила себя уйти.

II

Однажды в субботу к пяти часам она отправилась к Коллэж де Франс. Ветер захлопнул за ней дверь, и она вошла в жаркую, серую залу, где стоял душный тяжелый запах толпы.

Через головы учащихся она увидела Филиппа Форбье, рисовавшего на доске нервную систему.

Она села. Она смутно понимала, что речь идет о волнениях, о боли, о каких-то смертельных мозговых повреждениях.

Слыша, как он повторяет слова «боль», «сердце», «сокращение», «недуг», и многое пропуская, ей казалось, что этот человек говорит исключительно о любовной страсти, о страсти болезненной, врожденной, кровной.

Она чувствовала себя взволнованной и буйной...

Прошло несколько дней. Г-жа де Фонтенэ спрашивала себя, зачем сегодня в третий раз пойдет к Филиппу Форбье.

Проезжая, неподготовленная, по темному Парижу, она думала о том, что сейчас ему скажет: скажет ли, что очень заинтересовалась его лекцией, или попросит у него адрес какого-нибудь скульптора для уроков ваяния.

Но ей не пришлось об этом думать. Филипп Форбье встретил ее иначе, чем в другие разы, он подошел к ней с улыбающимся, открытым взглядом. Г-жа де Фонтенэ, освобожденная, внезапно почувствовала, что становится счастливой, невероятно счастливой.

Уголь горел, лампа горела, и Сабина видела тысячу красных и желтых огоньков.

Что это было за счастье? Она не сумела бы в точности выразить. У нее было чувство, что, будучи на земле очень одинокой, очень усталой, очень бедной и очень слабой, она вдруг встретила человека творчества, силы и наслаждения.

Она весело заговорила; она объясняла Филиппу волнение, испытанное на его лекции. Он глядел на нее с тихим и глубоким восторгом; все в ней его восхищало: ее подвижные веки, ее круглый подбородок, ногти ее быстрой руки. Теперь он знал все розовые и бледные тени этого прелестного лица. Он смотрел на нее; она все время двигалась. Тень ее тяжелой шляпы давила ей на лицо, низко спускала огромные глазные впадины, и черная вуалетка из тонких перекрещенных нитей заключала, как за решетку, ее рот, ее запретный рот.

По всякому поводу она говорила ему:

– Значит, вы, правда, так думаете?..

Казалось, что она ждет от него каких-то новых дорог, каких-то новых верований, и Филипп, не знавший еще, что ничто в мире не поколеблет в ней собственного убеждения, входил в подробности, старался.

Сабина слушала, от всей души приносила в дар этому человеку свое внимание.

Радостное возбуждение, испытанное ею здесь с самой минуты прихода, ослабило, обессилило ее, и теперь это внимание ее утомляло, утоньшало ее лицо. Она сидела под лампой, чей блеск, казалось, ее ранил.

Она больше не говорила, тихонько проводила рукой, затянутой в перчатку, по краю стола, все повторяла это неслышное движение; и ее тонкие ноги, очерченные бархатной юбкой, оставались вытянутыми, неподвижными, бессильными, – такими, казалось, терпеливыми...

Глубочайшей душевной хитростью она угадывала, что эта немая, безжизненная поза должна раздражать Филиппа, только что видевшего ее живой, подвижной.

И правда, молодая женщина его в эту минуту таинственно тревожила, как нечто, что двигалось и больше не движется...

Он глядел на нее с желанием и гневом.

Он сердился на нее за внезапную изысканную медлительность всех ее движений; это оцепенение делало ее одновременно хрупкой и жесткой. Плечо Сабины под бархатным рукавом казалось несколько острым, и все ее тело должно было быть тонким и гладким, как распятия из слоновой кости.

Теперь она на самом деле испытывала усталость, в которую сначала играла; сознание необычайного, какое-то странное всеобъемлющее наслаждение и слишком яркий свет ее угнетали.

Она вдруг сказала:

– Я не знаю, что со мной, мне нехорошо, может быть, жара...

Филипп, желая помочь ей, придвинул к камину экран. Она приняла это за невнимание. Это огорчило, встревожило ее, чуть не свело ее с ума.

Ей, как утопающему, в отчаянном видении показалось, что она ошиблась, что Филипп не обращает на нее внимания, что нужно отказаться от этой мысли.

Это смятение тянуло ее за сердце, вырывало его. Она почувствовала необходимость убедиться перед отходом, – но как?

Она больше не думала; в ней действовал инстинкт. Она опустила, закрыла глаза, все вокруг было слишком ясно... И, сердясь на бегущее время и на то, что сама делает, сказала, стоя, почти что с гневом:

– Уверяю вас, что мне нехорошо. Ах, Господи!..

И запрокинулась над столом.

Он подхватил ее, прикоснулся рукой к ее шее, чтобы растянуть сжимавшую ее ленту, и она увидела, как горят его глаза между ресниц, и почувствовала, как дрожит его рука... Тогда она совсем повисла на этой руке, перестав опираться о стол, еле касаясь ногами земли. Она нарочно делалась тяжелой, и две ее холодных, ледяных, сухих руки сжимали рукав этого человека, царапая этот рукав...

Так она стояла, погруженная в сладострастный сон, почти засыпая.

Она только говорила себе:

– Какие у меня сейчас, должно быть, бледные руки, должно быть, ужасно бледные.

Это вставало в ней ясным и властным белым видением.

И Филипп отрывал ее от себя, еще более помертвев, чем она.

Он повторял:

– Я сейчас принесу вам воды.

И сильной рукой держал ее за пульс.

А она уже ничего не боялась, ни жизни, ни смерти, теперь она была уверена в нем... Она выпрямилась, стала уверять, что ей лучше, что совсем хорошо, что во всем виновата жара, что она может идти домой.

И еще немного слабая, она, уже независимая и оживленная, мило извинялась, смеялась, говорила, что здоровье женщин – нелепо, что от него всего можно ждать.

– Да нет, да нет же, – говорил он недоверчиво. В дверях она еще раз обернулась:

– Да, я забыла... я уезжаю на днях в деревню; когда я вернусь, я приду посмотреть вашу мастерскую – это на улице Жан-Бар, не правда ли? Сегодня пятница, – ну, значит, ровно через месяц, к четверем, я буду у вас в мастерской.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Она стояла, понимая, что вся жизнь ее может уйти на то, чтобы не расставаться с этим человеком.

И потом ушла, удивляясь всему.

III

Г-жа де Фонтенэ не собиралась в деревню; но в смятении ей явилась эта ложь, доказывавшая Филиппу, что у нее все же есть какой-то установленный порядок жизни, которого она для него не изменит. И это, одновременно, ставило ей самой довольно долгий срок.

Вернувшись домой, она больше не думала о том, что произошло, об этом обмороке на глазах этого человека.

Когда в ней, минутами, возмущалась гордость, она говорила себе:

– Я больше с ним не увижусь, вот и все.

Начиналась прежняя жизнь. Иногда, по вечерам, ей было хорошо с мужем у камина, где слабый огонь нежно шипел и извивался, как змея.

Воспоминание о доме Филиппа Форбье было для нее лишь источником жизненной силы, которую она тратила на свой домашний уют. Она отлично обходилась без него самого. Ее только удивляло, что он так близко, что живет с ней в одном городе и что для нее он тем не менее что-то далекое, туманное и желанное, как эти страны, куда так долго нужно ехать.

Ее желание было: спокойно и счастливо жить с Анри и немножко работать, чтобы жизнь ее была менее суровой и облагороженной книгами, как письменный стол Филиппа Форбье.

Зима, всегда ее утомляющая, расстраивала ее здоровье; с неделю она хворала.

Горячей рукой удерживая Анри на краю кровати, она, как всегда нежная и кающаяся от слабости, посвящала его наполовину во все свое прошлое.

– Да, – говорила она, – временами я почти отходила от вас, я не всегда вас в душе любила, уверяю вас... Но теперь я чувствую, что могу совсем измениться; если хотите, начнем все сначала.

Анри, вместо ответа, говорил с ней шепотом, точно она в бреду, и уходил, неслышно ступая туфлями.

Оставшись одна, она плакала. Все на свете ей было противно.

Когда она смогла выезжать, то настояла на прогулке с Анри, но он не доставлял ей ни малейшего удовольствия: с мокрыми от холода усами и бородой он только и делал всю дорогу, что с ритмической точностью называл все, что видел.

А когда он на несколько дней уехал, она впала в еще большее отчаяние.

– Ах, умереть! – вздыхала она, точно это проще всего.

Ей пришло в голову, что в следующую пятницу ей надо идти к Филиппу Форбье в мастерскую.

Был четверг. Не послать ли ему два слова с отказом? Но не подумает ли он, что она помнит их последнюю встречу и боится новой? Тогда она решила, что пойдет. Ах, она, правда, могла идти, – все ей было до такой степени безразлично!

Мастерская Филиппа Форбье, расположенная в третьем этаже на улице Жан-Бар, была пустая и просторная комната, где валялись на полу воск и глина; обстановка состояла из стола, старого шкафа, полка с книгами и печки.

В высокое квадратное окно без подоконника смотрело в тот день серое изменчивое небо. В соседней комнате тоже была печка, еще ковры, диван и громко тикающие часы.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Г-жа де Фонтенэ ждала уже полчаса. Теперь было пять. Серое небо затемняло большой квадрат окна. В пустоте напротив шла какая-то стройка, и слышался печальный визг пилы по камню, грохот тачки и голоса рабочих.

Филипп познакомил Сабину с одним знаменитым скульптором. Это ее как будто обрадовало.

Чувствуя в комнате только присутствие Филиппа и находя его минутами таким прекрасным, что ей делалась тяжело и душно, она тем не менее говорила с другим, восхищалась им, вслушивалась во все, что он говорил об искусстве, о философии, о жизни.

Она точно не замечала Филиппа, держалась совсем свободно, совсем не казалась у него в гостях, все осматривала, вынимала из папок рисунки за белый угол бумаги.

Когда скульптор ушел, г-жа де Фонтенэ и Филипп Форбье внезапно смутились.

Он зажег в темной комнате газовую лампу, лампа эта под зеленым колпаком издавала огромный блеск, шумела, как большая бабочка, бьющаяся в окно.

Сабина, которой тоже нужно было идти, уже раскаивалась во всей своей комедии с Филиппом; ей хотелось объяснить ему это, сказать, что играла в это равнодушие сама не знает почему, – потому что всегда все делает не так...

Впрочем, она уже была жестоко наказана. Филипп не обращал на нее ни малейшего внимания. Он был очень любезен, но чисто внешне, и убирал рисунки в старый шкаф, стоявший у стены.

Сабина подходила к горячей печке, грела руки, немножко говорила. Она рассказывала, что была больна, что у нее внутренняя усталость сразу переходит в недомогание.

– Раз вы когда-то занимались медициной и сейчас еще имеете дело с клеточками, энергией, биологией и неизвестно еще чем, вы, правда, должны были бы мне сказать, почему я скоро умру...

Он отбросил назад волосы, поднял глаза, которые уже ничего не видели, и, с лицом, одновременно рассеянным и вдохновенным, сказал ей:

– Вы сумасшедшая...

Он не смотрел на нее, смотрел куда-то в сторону, хотел, казалось, сделать что-то совсем другое. Но она ясно видела, что он идет к ней навстречу.

Она протянула ему обе руки и, смеясь, вздохнула:

– Я ухожу, но мне очень грустно, и вы мне все-таки не сказали, как сделать, чтобы не было грустно.

Они прошли по комнате рядом; теперь Филипп стоял, прислонившись к шкафу, и держал перед собой Сабину. Он крепко, почти грубо держал ее за кисти рук и мгновениями взглядывал на нее. Она говорила, смеялась оживленно, беспорядочно и необузданно, ставя между собой и им, такими близкими, что-то быстрое и меняющееся, что не давало молчанию застать их врасплох, закрепить их смертельное ожидание.

Она боялась мгновения, когда больше не услышит собственного голоса; а он отвечал ей на все ее суетное многословие, – так ясно и нетерпимо звучали ее слова.

Она двигалась, движения ее век, ее шеи, всего ее существа делали ее, в глазах Филиппа, отдаленной и свободной, хотя он и держал ее.

Он не знал, что и думать об этой женщине, у которой слова противоречат взглядам, взгляды – движениям.

С минуту они оставались так. Филипп, очевидно, думал, потом сразу резко отпустил руки Сабины и, с лицом, опущенным и упрямым, вдохнув в себя изо всей силы – глубоко и отчаянно – воздух, сказал ей:

– Уходите... зачем вы пришли?... разве я вас об этом просил? Я вас ни о чем не просил... Вы заставили меня слушать вас, взять на себя вашу отравленную жизнь. Разве я вас спрашивал о том, что вы любите, чего не любите?... Какое мне было дело до ваших радостей и печалей?... Мне до вас не было дела... У меня было то, чего я хотел, я ничего не хотел другого. Еще месяц назад я был спокоен... Ах! в первый раз, когда вы вошли, когда заговорили, я сразу увидел, что вы – опасная и скверная... Вы сами знаете, как смотрели на меня своими яростными глазами; но я забывал о вас, когда вас не было; я о вас не думал, я только смутно чувствовал, что вы живете; где и как – это меня не касалось. Это вы все возвращались... Вы взвалили на меня все мгновения вашей жизни, все ваши тайны, тайны, которые были в ваших глазах, более ясных и обнаженных, чем все слова... А теперь вам хорошо, вы довольны, и все кончено... Значит, уходите, идите, пожалейте меня хоть так.

Но она оставалась, еще более мрачная, чем он. Они уже не смели приблизиться друг к другу. Она чувствовала что-то сладкое и тяжелое, что окружало ее, облегалo ее, как волна, и, подымаясь вдоль тела, заставляло ее откидывать голову, расширять ноздри, чтобы только еще дышать, не задохнуться. Глаза ее были пристальны и сужены, губы слегка обнажали сжатые зубы. Она точно вонзила их во что-то восхитительно-сладкое.

И потом страдальческая гримаса проходила по этому лицу, брови сдвигались. И это было, как крик, который разрешает боль.

Филипп снова подошел к ней и снова взял ее за руку, он держал ее за кисть и локоть; рассеянно, к чему-то прислушиваясь, он сжимал эту волнующую руку, как если бы хотел ее сломать, как если бы в этом – в это мгновение – все.

Сабина, неподвижная, смеялась новым, тихим смехом. Она говорила:

– Сломайте мне руку, что же вы не ломаете, я всегда хотела, чтобы мне делали больно...

Все ее черты изменились. Она чувствовала, что все ее лицо, в эту минуту, обратно ее душе, что смех ее – уже не от веселья или радости, а от пронзительного, глубокого волнения.

Она пошатнулась вправо, потом влево, она чувствовала страшную тяжесть в голове и, наконец, упала на Филиппа.

Он был только немного выше ее, и так как стоял, слегка нагнув голову, их лица окончательно встретились...

С этого мгновения вдоль ее души, вдоль всего ее существа опустилась – между ним и ей – большая тень, делавшая ее застывшей и замкнутой. Она уже не боролась. Она ничего ни хотела, ни не хотела; это была душа, которая не отвечала. Все ее взгляды обратились внутрь.

Выбора больше не было. Она сознавала, что то, что кончается сейчас, на груди этого человека – есть точная и невольная чистота ее жизни, невинность ее тела.

Это не изумляло, не потрясало ее, она это просто ощущала: это была мысль, сквозившая сквозь другую. Она не делала ни единого движения. Прикосновения лица и одежды, запах волос и табака были ей откровением. Такого изумления от объятия, такого неведения мужчины у нее не было, когда она выходила замуж.

Филипп слегка отодвинул ее, и взгляд его был так тяжел, что Сабина всем телом почувствовала, что умирает.

Она с быстрым и полнейшим буйством пожелала, чтобы не было у него больше ни этих глаз, ни этой улыбки, ни этого голоса, ни малейшего из этих движений, ничего, ничего этого, что так восхищало ее и так ранило...

Тогда она, со страшным напряжением воли, бросилась к нему на грудь, как об стену, о которую хотела бы разбиться.

Он поднял ей голову и заботливо, глубоко – как пьешь во время жаркой жажды – поцеловал ее в губы. Она вбирала этот поцелуй. Их смешанная жизнь спускалась,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
стекала тепло и тихо от одного к другому.

Сабина чувствовала себя одновременно мертвой и упорной.

Филипп, спрятав в нее голову, увлекал ее, шепчущий и страстный; она не смотрела куда. Отныне она всем существом вверялась всему, что он когда-либо захочет.

IV

Вечер того дня Сабина провела спокойно. Вернувшись домой, она быстро оделась и занялась гостями, пришедшими к обеду.

Ни разу в карете, под звон дрожащих стекол, ни разу теперь, среди обычной обстановки, она не сказала себе, что у нее – любовник.

Как эта резкая, сногшибательная формула, этот дерзкий вызов могли бы подойти к мгновению столь неизбежному и столь нежному, что оно казалось осуществленным желанием самой судьбы.

Смеясь и болтая с друзьями, делая все, как всегда, она чувствовала огромное успокоение. Радостная гордость вставала в ней, и душа ее, наконец, делалась совершенной, как цветок. Это было утешением за все ее прошлое. Только отсутствие Анри ее немного тревожило, с ним ей было бы спокойнее.

* * *

Почти каждый вечер после четырех она подзывала карету, бросалась в нее и ехала к Филиппу Форбье. Париж, в синеватых сумерках, казался ей маленьким, мир – простым. Она знала малейшие подробности дороги. Улица Ансьен-Комеди, приближавшая ее к дому Филиппа, уже волновала ее темным волнением.

Иногда она приезжала первая и ждала. Она любила это ожидание. Ей казалось, что она его не вынесет и что друг ее, когда сейчас откроет дверь, найдет ее упавшей головой на руки, прямо мертвой от нетерпения. Дверь открывалась, Филипп входил. Г-жа де Фонтенэ смотрела на него издали, прищурясь, как смотришь утром на солнце, входящее в комнату... Потом что-то резко сталкивало их. Сабина неподвижно смеялась. Что-то нежной волной проходило по ее обмирающему телу; когда она в детстве слишком высоко взлетала на качелях, воздух вокруг нее так же рассекался, – и она падала в то же нестерпимое блаженство.

Они шли, садились, никак не могли разъединить рук.

Жажда друг друга покрывала их, сосредоточивалась в каждой частичке их существа. Они не смогли бы отвернуть друг от друга ни головы, ни глаз, ни дышать иным воздухом, чем дыхание друг друга.

Пламя, красневшее сквозь щели дверцы, выдыхало жару, тяжелую, как пар. Огромное молчание стояло в комнате. Сабина в каком-то оцепенении, точно слышала еще минутами острый звук пилы о камень. Она была так счастлива, что временами ей казалось, что она уже умерла. Иногда она плакала. Руки и волосы ее висели. Она задыхалась, как если бы наглоталась счастья... Вещи вокруг нее сияли. Часы с музой из медной бронзы, казалось, испытывают то же вечное блаженство.

Било шесть. Грусть и тревога последнего краткого часа охватывали Сабину.

В полутемной комнате, где пахло водой, гуашью и эссенцией, она, запрокинув голову на грудь Филиппа, тихонько жаловалась. Мысли и ощущения их напрягались и разбивались одновременно. Они были чудесно устроены друг для друга.

Толедо, где они оба не были, но куда оба рвались, зажигало в их глазах то же отчаяние.

– Господи! – говорила Сабина. – Как все это нам делает больно, и мне еще больней, чем вам!

Филипп Форбье соединял со здоровым и страстным чувством жизни – острую и нежную восприимчивость, которая все же производила впечатление выносливости и силы.

Самым странным свойством его было – умение удлинять и утоньшать ощущение, не разбивая его, до тончайшего изгиба.

Они вечно оставались друг для друга тайной. Филипп спрашивал молодую женщину, как она его любила. Она отвечала:

– В первый раз, как я вас увидела, мне захотелось прижаться к вам, заплакать и заснуть. Потом она ему говорила:

– В вас – все. Я всегда хотела всего, и вы мне его дали. Меня очаровывает, что от вас, знающего жизнь с такой тончайшей точностью, постоянно исходят грусть и жажда, возвращающая бытию его нежный туман... Вы для меня – работник вечности. Когда вы недавно вечером стояли в прекрасном Люксембургском саду, и говорили, и двигались – были сумерки – мне казалось, что одна ваша рука гасит день, а другая открывает серебряную решетку ночи...

Иногда она с гневом говорила о своей любви.

– Это какое-то наваждение, – говорила она с искаженным лицом, – весь мир вокруг вас, только вы. Докуда мне надо протягивать руки, чтобы захватить вас всего?..

В другие разы она смотрела на него тяжелым, пьяным от счастья взглядом и спрашивала:

– Вы не сходите с ума от того, что вы – вы?

Наклонясь к ней, Филипп отвечал ей шепотом, как всегда; то, что он говорил, походило на исповедь и на вздох. Слова его были так теплы, так нежны, что казались из плоти и крови – точно внутренняя волна вынесла их на край его губ.

Иногда г-жа де Фонтенэ неожиданно приходила к Филиппу на дом, туда, где он работал и где она его увидела впервые. Она несла в руках книги, чтобы не возбудить любопытства лакея.

Она заставляла Филиппа пишущим и, так как все же боялась помешать ему своим неожиданным приходом, снова проходила через все блаженное волнение первых встреч.

Однажды, когда она рассматривала разрозненные листки на столе Филиппа, он стал объяснять ей замысел и содержание книги о воображении, которую собирался писать.

Она слушала с этим биением век, хорошо передающим поглощение, а потом говорила, что это ее не удовлетворяет, и они оба смеялись.

– Я сейчас вам скажу, – начинала она – она чаще всего говорила ему вы, – я сейчас вам скажу...

И рассказывала все, что знает о воображении, о собственном воображении.

Филипп отвечал ей, восхищаясь, отдыхая от точности, изысканий и усилий:

– Как все это прекрасно, прекрасней всего, что я знаю, и насколько верней!..

Каждый чувствовал, что видит другого в том же изумительном свете.

Филипп смотрел на молодую женщину с нежной ослепленностью, минутами же – остро, едко, пронзительно.

Он ревновал и боялся, ревновал ее к самой себе.

Г-же де Фонтенэ это нравилось. Она тогда делалась туманной и далекой.

Она закалывала на голове темную, тенистую шляпу, которую Филипп ненавидел. Ему казалось, что эта шляпа возвращает ее другим, чужим, всем, кто проходит по улицам и увидит ее. Потом она начинала медленно ходить вдоль стола, с этими волнистыми, мягкими, ускользящими движениями золотистых линий в глубине прозрачной воды.

Он хватал ее за руку.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Ах, Сабина, – говорил он, – ты молода, я старше тебя. Зачем я не встретил тебя в самое сильное мгновение моей жизни?..

Он говорил это, зарываясь лбом в лицо и волосы молодой женщины, – чтобы задушить эти слова, которые его самого слишком ранили, как бы обращая их только к нежному телу подруги.

Но Сабина, загораясь, шептала ему:

– Молчи, в тебе больше мудрости, чем солнца – в мире. Ты меня пугаешь и опьяняешь.

Филипп продолжал:

– Ты слишком молода, ты уйдешь...

– Ах! – восклицала Сабина. – Будущее, смерть, жизнь, не все ли равно? Те, кому для любви – мало дня, недостаточно любят! В тот день, когда я еще могла решать, прийти или не прийти, если бы мне в тот день сказали, что ты потом уедешь, уйдешь, умрешь, я все равно бы пришла, потому что будущего нет, есть только настоящее.

А Филипп повторял с неутешной горестью:

– Ты когда-нибудь уйдешь, о милая, милая и безумная: не знаю, что будет, но будет что-то страшное в этой любви.

– Не думайте об этом, – перебила Сабина. – Какое безумие об этом думать! Если и будет горе, то со мной. Поверьте мне, это всегда так было. Страдание идет к тому, кто к нему привык.

Он сердился:

– Как это возможно, чтобы ты страдала, раз я тебя обожаю, раз даже в двадцать лет я никого бы не мог любить, кроме тебя, раз ты – божественный конец моей жизни...

Возвращаясь домой, Сабина проводила блаженные вечера.

Мгновениями Анри, Пьер, Жером и Мария представляли ей в каком-то странном сиянии.

– Это оттого, что я его видела, – думала она, – что-то от него осталось на мне, и оно-то и делает их счастливыми, хотя они этого не знают.

Она приписывала Филиппу Форбье таинственную власть. Она заставляла Жерома играть на рояле смерть Изольды и, бросившись на диван, лежала, подобрав ноги, стиснув на груди руки, – казалось, она мучительно, страдальчески сжимает на себе твердое очертание своей мечты.

Все ее существо заострялось в одно бесконечное желание. Она вбирала в себя воспоминание о поцелуях Филиппа, как восхитительный, горький, ледяной напиток. Мгновениями слишком сильная музыка ее убивала; тогда она горячо вздыхала. Она пила безумие, как утопающие пьют волну: всем ртом и всю грудью.

V

Дома г-жа де Фонтенэ каждую минуту говорила о Филиппе Форбье, замечая, что ее муж, таким образом, привыкает смотреть на этого человека, с которым не встречался, как на невидимого, преданного друга. Его забавляло, что Филипп занимается с ней скульптурой и дает ей слишком трудные книги. Он смеялся над ее усидчивым чтением, точно каждый раз заставлял ее за какой-то скучной игрой.

Молодая женщина часто употребляла в разговоре любимые слова Филиппа Форбье. Это доставляло ей страшное удовольствие. Казалось, она вырывает у него изо рта какой-то восхитительный плод и в свою очередь запускает в него зубы. Сабина передавала эти выражения Анри, тот – Марии и Пьеру, и Филипп, таким образом, действительно пребывал среди них почти все минуты их жизни.

Теперь Мария копировала картины в Лувре, Жером сочинял, Анри никогда не было

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru дома; один Пьер, более наблюдательный, мог бы заметить тайные, блаженные волнения Сабины. Но она об этом не думала, он меньше, чем кто-либо, мог бы смутить ее своей зоркостью.

Настал апрель, дни сверкали; Филипп лепил из темного медового воска голову и плечи Сабины.

К окну мастерской, большому и светлому, как водоему, прильнуло теплое вечернее небо: не было видно ни домов, ни деревьев. Только одно это чистое, нежное, длинное небо.

– Правда, такое небо должно быть в Египте, в Малой Азии? – говорила г-жа де Фонтенэ. – Пустота, пустота, молчание, пространство, и там, вдали, три пальмы, которые я сейчас выдумала...

Она бросалась на грудь Филиппу и шептала:

– Видеть с вами все страны мира...

Филипп отвечал:

– Ах, да, все страны мира... голубую Грецию и прекрасную Анатолию! Ты бы жила там полуголая, без платья, без башмаков, и я бы прижимался лбом к твоей нежной, бледной ноге, к этой ножке, которая иногда леденеет от волнения и сжимается, как рука...

Его расстраивало, что она часто плачет в сумерки, когда воздух мягкими полосами входит в открытое окно.

– Тебе нехорошо со мной? – спрашивал он, с глазами, напряженными от страха. Она отвечала:

– Да нет, да нет же; я плачу над счастьем, как пятнадцати лет плакала над юностью, потому что они не вечны.

Иногда она говорила:

– Я не знаю, что со мной; я несу в себе, в самых темных недрах моего существа, тайную и жгучую расу – тысячи существ, которые бы хотели родиться от вас.

Он прикрыл ей рот обеими руками, и тогда она, казалось, тихонько засыпала.

В другие разы она больше не хотела выходить из комнаты, спускаться по лестнице. Она страдальчески говорила: «Я не могу» – и оставалась неподвижной, как те, что, в бешенстве, уже не пьют.

Он, знавший все, отягченный знанием человеческой природы и нервов, приходил в волнение, как если бы все, что исходит от нее, – вечно ново и не имеет еще примера в его памяти.

Однажды вечером г-жа де Фонтенэ вошла к Филиппу резче, чем обыкновенно. Весь вид ее выражал решимость. Он ждал ее и писал.

– Вот, – сказала она, – я хочу куда-нибудь с вами уехать, все равно куда, куда-нибудь, где у меня будете только вы.

И, усевшись к нему на колени, перед столом, загроможденным бумагами, – на всем лежала жаркая тень этого майского вечера – ждала, чтобы он обрадовался, выразил готовность сейчас же ехать. Он целовал ее и слегка улыбался.

– А все остальное, что вам нужно, – сказал он медленно, – все, что вам нужно, все это?.. Она рассмеялась.

– Ах, вы действительно думаете, что я что-нибудь другое делаю с утра до вечера, кроме того, что сто раз в воображении, в мечте вхожу к вам в комнату, сажусь в коляску и вхожу к вам в комнату?.. Вы – вы работаете; я делаю только это.

– Зачем, – продолжала она, уже довольная и смеющаяся, – вы живете на самой

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
прекрасной улице мира, на улице, где проходили Мишле и Бальзак, там, где были все желания Мюссе! Только здесь я могу дышать. Проезжая по этим кварталам, пахнущим песней и школой, я вижу студентов с пышными волосами и легкими бородками. Все они напоминают Роллу. [70] Наверное, они в маленьких кафе, с разноцветными сиропами в витринах, пьют без жажды, просто потому, что любят пить. Они смотрят на меня, и я смеюсь. Ах, я прекрасно вижу, что все на этом берегу Сены – мудры и счастливы!

Филипп пропускал сквозь пальцы листки своей книги.

– Кто это счастлив?

Голос у него был странный, непривычный. Сабина встала.

– Почему вы так сказали? – воскликнула она. – С вами что-то творится, что с вами?

Он неестественно засмеялся.

– Ничего. Я был рассеян, нелепо занят этой работой. Он провел рукой по разрозненным листкам. Но голос оставался оскорбленным.

– Нет, нет, – продолжала Сабина, – что-то есть. Господи! Господи! что случилось?

И Филипп видел, как в ней, нетерпеливой, уже встают волны ужаса.

– Сядь, – сказал он, беря ее за руку и заставляя сесть, – это во всяком случае не так серьезно. Как ты кричишь... Ничего не случилось; только сегодня утром жена и сын показались мне совсем другими, испуганными, недоверчивыми...

Сабина снова встала. Лицо ее было жестко.

– Что с ними, – сказала она, – какое им дело, что они вмешиваются?

Филипп посмотрел на нее с упреком.

– Они ни во что не вмешиваются, Сабина, они страдают.

Она слушала. Потом воскликнула: «ах, да!», как если бы поняла. В действительности же, ничто в ней уже ничего не понимало.

Значит, все дело было в жене и сыне Филиппа...

Эта женщина и этот мальчик смели о ней думать! Эта мысль мало-помалу входила в ее потрясенную гордость, разрывала ее.

Она сдержалась; она тихонько сказала:

– Так что же теперь делать?

Ей бы хотелось сказать:

– Ах, какое мне до этого дело! Филипп снова привлек ее к себе.

– Ничего не делать, Сабина, только любить меня, как я тебя люблю: любовью, которая меня невероятно мучит. Остальное тебя не касается. Остальное – мне.

– Но скажи мне, – продолжала она, дрожа, страшась разъяснения вопроса, потрясавшего всю ее душу, – что она узнала, как могла узнать?

– Не думай об этом, – отвечал он. – Я, наверное, был слишком переполнен тобой, то слишком счастлив, то слишком несчастен; потом моя рассеянность, мое молчание. Потом твои приходы, потом – сам не знаю что, дружок.

– Значит, вот что я принесла в вашу жизнь, – вздыхала Сабина. – Впрочем, что мне все это, что все жалобы, все слезы мира, когда ты здесь?

Все вокруг нее менялось... Она видела обтрепанную обивку кресла...

Но Филипп, страстный и мрачный, привлекал ее к себе. Восхитительное забвение, детский смех, утешенная горесть нежно озаряли его лицо, и Сабина не противилась. Но теперь уже сердце ее с меньшей легкостью следовало за ее телом... Чужая опасность, жестокая и упорная, она бросилась в Филиппа, как в пропасть, и уже не отпускала его, как мертвые, которые уже не разжимают рук...

* * *

Г-жа де Фонтенэ угадала. Филипп страдал больше, чем показывал. Сентиментальное воспитание, полученное им в протестантской семье, узкий и мирный уклад которой пережил религию, располагало его к угрызениям совести.

На своей жене он женился еще юношей, любя ее.

Она была нежна, образованна, благоразумно красива.

Он был ей верен всей душой.

Все, что у него было в жизни радости, тревоги и счастья, он пережил с ней. Она потеряла дочь, у них остался сын, которому только что минуло двадцать лет. Нельзя было сказать, что он похож на отца, он был его подобием.

Филипп всегда думал о круге семьи и друзей с гордым сознанием, что он их вера, их радость, их гордость. Так он почувствовал огромное волнение, когда тем утром к нему вошел сын, озабоченный и смущенный.

Молодой человек спрашивал какие-то книги. Потом он нерешительно сказал, что матери надо отдохнуть, что она с некоторых пор выглядит очень усталой, что, может быть, можно было бы уехать в деревню.

– Да, – сказал Филипп, – ты прав, почему она не едет? Что касается меня, – ты ведь знаешь, как мне трудно, когда я в разгар новой работы, когда все бумаги, все книги у меня здесь, под рукой.

Действительно, уже несколько лет Филипп почти не выезжал из Парижа.

– Все же, – продолжал Жак, – я думаю, и для вас было бы хорошо уехать, вы слишком много работаете, устаете.

Но Филипп не отвечал. В его жесте и молчании была решимость. Молодой человек продолжал:

– Когда-то, после того, как у меня был тиф, вы уехали со мной в Версаль и пробыли там больше полутора месяцев; тогда вы тоже писали; пожалуйста, поедем; до каникул, до отъезда в Вогезы, снимите дом возле Парижа. Это не прервет ни ваших, ни моих занятий.

Он взял обеими руками руку отца.

Филиппа это тронуло; он поцеловал его. Потом сказал:

– Милый, поверь, сейчас мне невозможно бросить работу, мне она нужна для моих зимних лекций. Твоя мать больна. Я это тоже заметил, это меня тревожит; постарайся ее развлечь. Мы сможем чаще быть вместе, если хочешь.

Но Жак все настаивал – теперь уже с болью.

– Ах! – продолжал Филипп, смущенный и слабый. – Говори, ты что-то хочешь сказать и не говоришь. Что тебе такое рассказали, что ты точно меня боишься; тебе что-то рассказали, и ты сразу поверил, не придя ко мне, не спросив меня. Но, малютка, какое безумие! Ты думаешь, я с ума сошел, ты, правда, думаешь, что я могу о чем-нибудь другом думать, кроме вас обоих, когда есть в моей жизни ты, ты – мой сын!

И, глядя на сына, он увидел, как он тождествен ему; то же лицо, те же склонности, та же нежность. И резкая мысль прорезала его, – мысль, что если бы Сабина увидела этого мальчика, то полюбила бы именно его, его, такого молодого и так похожего на отца.

И вот уже страшный ужас от присутствия сына в доме, нестерпимое отчаяние обрушилось на его сожженное сердце.

Он прижал к себе юношу – этим своим внезапным, ловким и буйным движением, которым брал в объятия все существо; тихо и нежно прильнув губами к шее сына, он говорил теперь:

– Милый, милый, ничего не спрашивай... Уходи...

VI

Несколько дней спустя Филипп Форбье, занятый окончанием статьи для «Философского обозрения», в час утреннего завтрака, услышал голос жены, звавшей его. Она открыла двери и сказала:

– Уже поздно, Жак сейчас будет готов. Иди, ты наконец заболеешь, ты никогда не ешь вовремя.

Но она говорила это неопределенно и, главное, хотела, чтобы муж прошел с ней в гостиную. Он встал и пошел за ней. Она смотрела на него. Он увидел на столе большой букет цветов, удивился, не понял.

– Ты не помнишь, – сказала она, робея и уже слегка радуясь, – сегодня годовщина нашей свадьбы... Уже двадцать два года теперь.

Филипп смущенно улыбнулся, поблагодарил, поцеловал ее в волосы. Он искал, что бы такое ей сказать, что бы не было ей горьким. Окунув руки в цветы, он все перевертывал буль-де-нэжи, все повторял: «Какие красивые!» – и упорно нюхал этот букет без запаха, все ждал, чтобы что-нибудь вывело его из замешательства. Ничто не двигалось; он обернулся к жене и, внезапно растроганный, нежно сказал ей:

– Спасибо, ты добрая.

И положил ей на плечи обе руки – несколько тяжело, по-детски, как всегда это делал. Тогда она заплакала, и сразу очень сильно; это было лицо, тонущее в слезах. Филипп не мог видеть, как плачут, без сознания вины и бесконечного отчаяния.

Несчастные смущали его до ужаса, делая его таким больным, что он сам начинал себя жалеть.

Она плакала, закрыв лицо руками. Филипп, испуганный, спросил:

– Что с тобой?

Он раздвинул ей пальцы. Она не сопротивилась и опустила руки, открывшие ее лицо. Она немного улыбнулась, даже не пытаясь вытереть слезы, скрыть свой разбитый, убитый вид.

Да и к чему? Она никогда ничего не скрывала от этого человека за все двадцать лет, которые прожила с ним рядом; и теперь, впервые страдая от мужа, она не старалась скрыть от него своего горя, портившего ее, делавшего ее больной, некрасивой, старой, изношенной...

Пусть он видит ее такой! Это было ее смиренным желанием. Пусть!

И Филипп, действительно, чувствовал себя смертельно взволнованным.

Жена его стояла. Она вдруг показалась ему сгорбленной, пошатнувшейся. Он не привык видеть ее такой и с внезапной нежностью взял ее за обе руки, подержал прямо перед собой; потом спросил, с тревогой:

– Ты не больна?

Она ответила нежно, с огромной благодарностью:

– Знаешь, с тех пор, как у меня бессонница, у меня опять начались эти нервные боли в ребрах; сейчас я совсем не могу стоять прямо.

И она снова гнулась.

Он взглянул на нее: она, это была она!

Он вспомнил, что еще прошлой зимой она не казалась ему постаревшей. Для него она всегда оставалась прежней, двадцатилетней.

Ей было двадцать лет. Он встретил ее в саду, на лужайке, покрытой ромашкой. Он когда-то любил ее, желал ее, плакал из-за нее... Они двадцать лет жили любовной жизнью.

Они так знали друг друга, что сердца их были, как раскрытые ящики, где все наружу.

В течение двадцати лет они после каждого ухода, после каждого часа разлуки встречались, как школьники, приносящие друг другу все цветы, сорванные по дороге. Они жили в той же комнате; если бы Филипп во сне заговорил, она не узнала бы ничего нового.

Они жили, улыбаясь друг другу, как двое, знающие что-то, чего другие не знают.

И это кончилось... Что же теперь оставалось делать? Даже если бы она сейчас снова сделалась той белокурой девочкой, на которой он когда-то женился, он все же не мог бы ее желать; если бы к ней вернулись ее тридцать лет и то прелестное движение, которым она тащила за собой маленького сына, – он бы этого не заметил. Теперь ему нужно было сердце той, другой, сердце дикое, глубоко зарытое в нежной плоти; глаза Сабины всюду стояли перед ним. Он видел их как-то чрезмерно, не как два нежных, прекрасных глаза, но как два водоема в ночи.

Все же взял жену за руки и страдальческим голосом, вытекавшим из души, сказал ей:

– Если я тебе обещаю, если я тебе. клянусь, что все по-прежнему...

Руки ее нежно и мягко лежали в его руках. Она тихонько покачала головой.

– Ты не виноват, ничего не говори...

Он глядел на увядшее лицо этой женщины. Он держал ее за оба локтя.

Еще пять месяцев назад он брал ее так, чтобы поцеловать прямо в лицо. Теперь бы это выглядело, как поцелуй нищему, который бы огорчил их обоих. Он не поцеловал ее.

И подняв голову, как терпеливый учитель, не сердящийся на ученика за молчание и невнимание, он медленно продолжал:

– А если я тебе обещаю, если я тебе клянусь...

Но она сказала еще:

– Молчи, если я тебе поверю, то не потому, что верю, а потому, что люблю. Тогда он спросил ее:

– В конце концов, в чем дело? Что тебя мучит?

Она простодушно призналась:

– Не знаю... ты какой-то совсем другой, это главное... И эта женщина, которая к тебе приходит, которую ты лепишь, которая у тебя читает...

Филипп замолчал; потом, голосом тихим и мертвенным, – точно сознаваясь в своей вине, – сказал:

– Это безумие...

Она тотчас же поверила; она знала, что он не лжет.

Она сказала:

– Нет, я этого не думала, но ты нас больше не любишь, меня и мальчика; мы тебе надоели.

Страшная нежность затопила сердце Филиппа, дала ему возможность говорить из глубины, совсем естественно.

Он объяснил ей, что и как мог, нежно обманывал; и, изможденный столькими разнородными чувствами, он стоял перед ней прежний, такой, каким она его видела после долгих бессонных ночей – усталый, выпитый.

Она остановила его:

– Не говори больше, все кончено, все хорошо, все ясно... Она улыбнулась и ухаживала за ним, заставила его сесть, больше не думать.

– Ты убиваешь себя работой, – продолжала она, – ты, бесспорно, вправе иногда сердиться, я уже все забыла. И, все еще не отрываясь от него, смеясь, добавила:

– Позови мальчика, он у себя, я ему сказала, чтобы он не шел. Теперь она его больше не судила, она исцелила его.

VII

Прошел месяц. Ни Сабина, ни Филипп не упоминали о том, что их встревожило.

Оба, казалось, забыли об этом.

Иногда г-жа де Фонтенэ смотрела на портрет жены Филиппа и на карточки Жака.

Однажды вечером она встретила на улице г-жу Форбье. Буйным и нежным взглядом она жадно охватила все лицо, все движения той. Ей захотелось подойти к этой женщине, притронуться к ней, любовно заплакать; она была двадцать лет жизни Филиппа!

Ей было грустно в тот день, когда Филипп объявил ей, что жена его уехала в их вогезское имение, куда к ней скоро приедет сын, а что сам он остается в Париже.

– Господи, а это им очень больно? – невольно спросила она.

Но она была счастлива.

Анри де Фонтенэ, только что избранный в депутаты, уехал с Пьером Балансом в научную экспедицию вдоль марокканских берегов.

Жером Эрель, Мария и ее мать уезжали в Уазу. Сабина оставалась свободной, никто не мешал ей быть одной, бродить, отдыхать.

Они жили с Филиппом в жарком июльском Париже, выжженном солнцем и мокром от частых поливок. Низкий ветер крутился по земле; маленькие волны голубой Сены, ослепленные, оглушенные солнцем, были, как серебряные лепестки. Филипп еще много работал. Они вместе обедали, по вечерам гуляли. Набережные, улицы, лавочки – все отдыхало. Вдоль молчаливых улиц раздавалось громкое пение чижигов, сидящих над крышей из проволоки и салата. Зелень в Люксембургском саду к закату издавала запах разгоряченного металла – так пахнут летом в фруктовом саду лопата и лейка.

В г-же де Фонтенэ мгновениями поднималось беспокойство.

– В деревню! на волю! – вздыхала она. – Мне хочется голубой воды – голубой даже в стакане...

Филиппу она казалась нервной и слабой.

Однажды, обедая вдвоем в каком-то погребке Латинского квартала, они стояли у окна и забавлялись тем, что похожи сейчас на городских бедняков, у которых только и места, что это окно, открытое на улицу. Вдруг они услышали какой-то дальний гул. Он приближался к ним по бульварам, выросал в волну.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Это была толпа молодежи – студенты, устраивающие демонстрацию какому-то профессору. При свете фонаря Филипп узнал некоторых из них, виденных им на лекциях. Он показал их Сабине. Она зажала в руке руку Филиппа и, перевесившись через подоконник, жадно смотрела в сумерки. Вся ее ненасытная душа смеялась в эту минуту в ее сверкающем оскале. Филипп почувствовал ее лихорадку, задумался.

– Что же вам нужно, – вам, чтобы вы были счастливы? – в голосе его прозвучал упрек.

Она подняла на него свои горячие, детские глаза, прислонилась головой к его плечу и ответила:

– Ваша любовь.

Потом, выбрасывая наружу свою голую, слабую, властную руку, добавила:

– И возможность любви всех других... Временами она была мрачной и рассеянной. В другие разы она впивалась в Филиппа всеми своими десятью отчаянными ногтями.

– Где, – восклицала она, хватаясь за голову, как перед страшным несчастьем, – где, в каком слое воздуха я поймаю, наконец, очаровательное очертание некоторых твоих слов?

Настал август.

Сабине казалось, что она сейчас в Париже, как англичане – в Женеве. Это ее забавляло.

Филипп приходил к ней, она – к нему, на улицу Турнон. Это было ее любимое место встречи. Они были свободны.

– Видите, – сказала ему однажды Сабина; нежный вечерний ветер вносил в открытое окно желтые, мертвые от жары листочки маленького сада. – Видите, как хорошо, что вы не уехали. Что бы со мной было теперь без вас?

Их руки бессильно лежали одна на другой.

– Не говори об этом, – сказал Филипп, – я преступник, преступник и сумасшедший.

– Почему? – перебила Сабина. – Вы им там не нужны, а здесь вы работаете, здесь вы со мной – мой; и я ваша, – добавила она с прекрасной улыбкой, где сказывалась вся ее любовная уверенность.

– Друг мой, – ответил он без улыбки, – если бы вы знали, как я уже давно должен был уехать, до чего я чувствую себя виноватым, до чего вы меня сделали слабым, бессовестным, презренным в собственных глазах! Каждый день приходят письма с просьбой приехать, такие кроткие, что мне больно.

– Почему же вы тогда не уехали, не едете?

– Я жду, – вздохнул он, – чтобы ты мне сама сказала. Мне лучше умереть, лучше видеть других несчастными, чем причинить тебе зло. Хотя ты и сильнее почти всех женщин, хотя ни у кого на свете нет такого смеха, ты слишком много говорила мне о своей усталости, о своих огорчениях. Ты сделала меня страшным трусом, я всего за тебя боюсь. Скажи мне, что согласна отпустить меня на немножко туда, к ним, – только посмотреть, как они живут, – на совсем немножко, на один только месяц, причем я тебе каждый день буду писать... Скажи мне, я поеду.

– И это вы, – медленно отвечала Сабина, – это вы меня об этом просите! Вы хотите, чтобы я, я сама сказала вам, чтобы вы уехали?..

Она смотрела на Филиппа глазами такими четкими, такими явными, что казалось, с них содрали гладкую оболочку взгляда. Его охватило нетерпение:

– Я с вами об этом не говорил, я был расстроен и делал низости – вот и все.

– Теперь вы на меня сердитесь, это несправедливо, – вздохнула Сабина.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Нет, – сказал Филипп, – Я не сержусь и не несправедлив к вам... Это вы не хотите меня понять. Вы не понимаете, что в жизни иногда нужны усилие и принуждение... Женщины этого никогда не понимают... Вся наша жизнь в этом, а мы не менее нежны, чем вы; только вы, женщины, вы нервны, вы не умеете хотеть, вам всегда уступали... Вы не отличаете маленького страдания от большого; когда вам противоречат, вам кажется, что вас убивают, и все, что угодно сделаешь, только бы не видеть ваших тоскующих лиц... Одному Богу известно, как я вас люблю, но все же чувствую, что не поступил бы плохо, если бы сделал то, что сделал бы на моем месте наименее совестливый человек.

Он шагал взад и вперед по комнате, и Сабина шла за ним, не пытаясь его удержать. Казалось, она идет по дороге своего страдания. Видя на поворотах темное, неподвижное лицо Филиппа, она думала:

– Это подло, я его мучаю, я его убиваю.

Наконец, она остановила его, положила ему на плечи обе руки, и, смеясь почти естественно – решимость всегда придавала ей веселье, – сказала:

– Вы уедете, вот и все; мы с вами сумасшедшие, вы уедете, мы просто об этом не подумали... Вы, конечно, правы; все, что вы говорите, – верно. И потом, клянусь вам, весь этот страшный ужас перед вашим отъездом – это было просто безумие... Теперь я все это вижу совсем иначе... Это даже очень просто... А письма, прекрасные письма, которые я вам буду писать, и ваши торопливые, нелепые ответы... и я, с моей тоской, и вы, такой довольный, – все это будет прекрасно...

Теперь уж она по-настоящему смеялась, утешенная и сильная. Филипп, раздавленный, только повторял:

– Это ужасно!..

И пытался освободиться от Сабины, приковывавшей его к этому месту вселенной; но она держала его своими сильными, твердыми руками за кисти обеих рук и вырастала перед ним на всю свою волю.

Она понимала, что самое трудное надо делать тотчас же, и сказала, уже тише:

– Поезжай завтра, да? так лучше.

Он вздохнул:

– Вы этого хотите?

– Так лучше, – повторила она.

Она сделала все, что надо. Ее мужество дрогнуло. О, теперь она была вправе отдышать! Все еще стоя вплотную к нему, она сказала тихо, с закрытыми глазами:

– Вот, вы уедете, вы уезжаете... Я представляю себе, что вы сейчас, сию минуту уезжаете... Я сейчас посмотрю, как это будет.

С минуту она помолчала, потом, раскрывая глаза, полные ужаса, сказала:

– Нет! не могу! у меня все болит. Здесь, в плечах, и здесь, в коленях, я чувствую, что не могу с вами расстаться...

Она шаталась. Филипп взял ее на руки и сел с ней. Она лежала у него на коленях, в его объятиях, вытянутая и слабая, как спящий ребенок.

Он говорил ей, угнетенный и страстный:

– Не думайте, забудьте, спите.

И, не открывая глаз, глядя ему сонной рукой лицо, она далеким-далеким голосом отвечала:

– Не правда ли, только этого заслуживают такие, как я: нежности и смерти...

После жалоб, и утешений, и окончательных настояний, после долгих часов, когда руки и души никак не могли расстаться, отъезд Филипа был решен на завтра.

Он должен был ехать с вечерним поездом, и Сабина была у него уже с утра. В тот день у нее было оживленное лицо, движения были быстры, глаза смотрели ясно и весело. Филипп, переползая со стула на стул, убирал книги. Он хорошо справлялся с двумя противоположными чувствами. Так, несмотря на порядок и точность во всем, что он делал, печаль, висевшая над ним, придавала в тот день всем его движениям небрежность и ненужность.

Сердечная жизнь в нем была так сильна, что он умирал и воскресал от двух противоречивых чувств.

Сабина, склонившись над маленьким деревянным ящиком, бросала в него книги и бумаги, которые протягивал ей Филипп. Внезапно, вынимая из рук молодой женщины том, который только что ей подал, он воскликнул:

– Ах, вот чудная книга о преступлении и виновности, которую я там буду читать! Лицо его просияло.

– Это вам будет интересно? – спросила г-жа де Фонтенэ с мнимым равнодушием.

– Еще бы! – отвечал Филипп тем особенным, любовным голосом, которым говорил о вещах, зажигающих его желание. – Такое прекрасное исследование и такая увлекательная тема!

– А я, – спросила она, – чем я здесь буду развлекаться?

Он посмотрел на нее с болью. Он страдал; горе Сабины казалось ему лишней жестокостью. В эту минуту он ее не жалел; у него были к ней любовь и раздражение.

Она тоже была раздражена; она чувствовала, что все, что он сегодня скажет и сделает, будет ей враждебно. Чего она совсем не допускала – это его отъезда... Она чувствовала это по мере того, как Филипп, применившись к ее первоначальному решению, спешно и уверенно принимался за отъезд.

Скрытое и упорное сопротивление, потребность противоречить ему, давить на него, быть ему в тягость, все росло и росло в Сабине. Она уже не понимала, что он уедет. Раздраженная и капризная, как ребенок, она говорила и делала ненужные вещи, – так, без всякой цели, чтобы отвести на минуту слезы.

Когда он вздохнул:

– Только полчаса осталось, надо идти одеваться, – она ответила:

– Зачем? – и упрямо загородила ему дверь.

– Ну, пожалуйста, раз нельзя иначе, уж и без того невесело, – настаивал он.

– Что ж, идите, – уступала она и тотчас же рассерженно звала его обратно, так, ни за чем, из потребности в нем и потребности делать ему больно. Так, смешивая свои жалобы и упреки, один – терпеливый, другая – раздраженная, они к вечеру вошли на звонкий, стеклянный, железный вокзал, серый от взрывающегося дыма, трепещущий дорожной лихорадкой, проветренный ветрами прибегающих и убегающих поездов.

Между г-жой де Фонтенэ и Филиппом Форбье, зажатыми в толпе отъезжающих, ежесекундно вставали другие лихорадки, другие жажды. Он понимал, что всего несколько минут еще быть с Сабиной, что после этого у нее будет страдальческое лицо, которого он не увидит; он жестоко и молча страдал.

Она шла за ним, тяжелая и рассерженная. Гнев и боль, мертвенное равнодушие и тоска вставали в ней спазмами, ускоряли биение сердца, как крик.

Она смотрела на стеклянный вокзал, – счастливый, звонкий от шагов, распахнутый на все горизонты, все страны и все моря... Поезда уходили, – и в воздухе

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru разматывались клубки гула; всюду лица, зажженные лихорадкой и мечтой. Забвение смерти!..

Школьник, несший чемодан и зеленую сетку для бабочек, чуть не сбил ее с ног.

Она, она одна никуда не едет!

Она думала об этом, идя по перрону рядом с Филиппом. Тем временем он говорил ей:

– Вы мне часто будете писать, да? Каждый день?

– О, не каждый день, совсем не каждый день! – капризно отвечала она.

Она увидела, что Филипп, которому уже была крайняя пора садиться в вагон и который не мог расстаться с ней без нежных, примиряющих слов, совсем теряет голову.

– Если вы так будете продолжать, я, конечно, останусь, – заявил он.

– Да нет, да нет же, уезжайте, ради Бога, довольно с меня всего этого! – воскликнула она, как человек, который вот-вот задохнется.

Потом, внезапно, добавила:

– Вы не сердитесь? поклянитесь мне, что вы не сердитесь!

Потом вздохнула, почти плача:

– Разве так расстанутся, – с такой злобой! Надо бы, по крайней мере, сказать несколько добрых слов на прощание.

И так как минута отъезда настала, и Филипп собирался войти в вагон, она буйно схватила его руку и, вцепившись в нее всеми ногтями, страстно и жестоко пожала ее.

Поезд дрогнул. Успокоившись, она подумала: «Теперь он уехал, теперь легче».

Длинный, раздирающий свисток катился в дыму.

Тогда, задыхаясь, захлебываясь, она, сильней чем когда-либо в жизни, ощутила необходимость, чтобы он был здесь, рядом, чтобы вокруг нее лежали эти две его руки, которые она любила, которые она так часто, в минуты любовной грусти, внезапно оборачивала, чтобы поцеловать в ладонь и так умереть...

* * *

Дни после отъезда Филиппа прошли для Сабины легче, чем она ждала.

Огромная усталость притупляла остроту воспоминаний. Она почти что наслаждалась свободой и отдыхом, полюбила спать, бродить по пустому дому, играть на рояле. От Филиппа приходили страстные, горячие письма, переполненные этим детским смехом, этим умением схватывать все и всему радоваться, этой любовью к бытию, так прекрасно горевшими на его лице и в его жизни.

Она тихонько мечтала о нем.

Наступала осень, еще зеленая и холодная, как незрелая груша.

В Париже, где она осталась по слабости и лени, ее стала преследовать природа, прежние радости.

Она вспоминала одно свое лето, в детстве, в Тироле, с свежими и жаркими деревенскими утрами, пахнувшими солнцем, мокрой землей, мхом и цикламеном. В ней также проснулась тоска по Турену, по саду ее отрочества, который отец ее продал и которого она уже больше не увидит.

Она вспомнила, как просыпалась сентябрьским утром в прохладной комнате, где сонные осы тихонько умирали внизу оконных рам.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Она вспомнила фруктовый сад, дома, покрытые холодной росой и похожие на желто-красные колесики, запах зерна и воды в голубятне.

На лужайке стояло два атласских кедра, шелковистых и переливчатых, как мех голубой лисы, и поднимались на полуденном солнце легкие стаи насекомых, дрожащие, как золотистый пар.

Она когда-то любила скотный двор, опрокинутые миски с кукурузой, маленькие искусственные скалы, где лазил зеленый павлин, такой печальный от медленного приближения осени.

Она когда-то грызла розы, которые становились тогда нежными, бледнеющими трупами; сосала круглые камешки, цвета серого сахара и ландыша, держала в руках тоскующих лягушек, чья маленькая шея билась так, как, должно быть, бьется в самой глубине цветочной чашечки сердце обольстительных цветов.

Она вспоминала, какие там, к концу сентября, стояли еще прекрасные дни, с закатами, такими грустными и нежными, с такою нежностью в траве и воздухе, что каждый час казался волнующим и слабым, как лица, которые хочется поцеловать в губы.

Ей опять захотелось на волю. Мария нежными, преданными письмами звала ее в Брюйер.

Анри де Фонтенэ писал ей часто; в своих письмах, полных путевых заметок, дружбы и спокойствия, он умолял ее уехать из Парижа, вредного в эту пору, и поселиться с его матерью и Марией, где она отдохнет от своей бродячей жизни и поправится. Мысль, что она поступает по желанию Анри и этим его радует, пробудила в ней нечто вроде умиленного удовлетворения.

Она подумала, что он простой и добрый человек, и радовалась, что он счастлив.

Она сказала себе, что если бы вышла за него замуж годам к шестнадцати, если бы их дочь не умерла, если бы он иногда говорил с ней о себе и о ней, если бы он ее как-то тверже и все же как-то нежней любил, она бы осталась ему верна.

Она приехала в Брюйер на прекрасном холодном закате, желтыми полосами лежавшем над лиловыми холмами. Дорогу до замка она прошла пешком, по полю. Группы деревьев вдали напоминали волны. Наступала тень, ветра не было.

Воздух и вечер опьяняли ее. Подняв голову, она увидела елку, такую спокойную в вечернем воздухе. Она немножко постояла перед ней и с грустью позавидовала ей, живущей так высоко, в прекрасной тайне пространства и ночи...

По мягкому песку аллеи она медленно дошла до ворот замка; в мирной, слабо освещенной гостиной она застала мать Анри, Марию и Жерома. Мать Анри писала письма, которые тут же, с большим выражением, читала себе вслух, Мария вышивала, Жером ходил по комнате и курил. Мария при виде ее быстро встала.

Она чувствовала нежность ко всем троице, ей захотелось взять их за руки, сказать им: «Милые, милые!»

Все ей было отдыхом и радостью. Она почти не думала. Воспоминание о Филиппе было в ней, как сердце в теле: деятельно и безмолвно.

Она отдыхала, вспоминала, наблюдала. Ей казалось, что целые годы прошли в ее любви к Жерому... что тогда она была маленькая девочка, с утра до вечера бегавшая и кричавшая в зелени. Она уже не помнила, как тогда страдала, ей казалось, что эта любовь – ее юность, что даже страдания в ней были мимолетны и легки, как гнев ребенка.

Теперь она знала другую муку.

Этот мальчик, которого она любила, был ей теперь так безразличен, так нежно-безразличен, что она чувствовала к нему прямую, ясную дружбу, трудно дававшуюся ей с мужчинами. Она радовалась, что Мария счастлива.

Немного устав и рано улегшись после обеда, Сабина думала. Воздух в комнате был

Она думала, что у монашенок, давших обет целомудрия и покорности, должно быть, бывают в прохладных дортуарах такие белые, безмятежные вечера... Она уснула в непривычном для нее покое, уронив вокруг себя жизнь, как спущенную одежду.

IX

На следующее утро, пока в комнате раскрывали ставни, она, вся еще сонная, спросила письма. Она думала об этом во сне, с самого начала серого рассвета, – о том, что ее ждет письмо от Филиппа. Среди поданных ей писем она сразу узнала на конверте почерк Филиппа Форбье, – нервный и буйный, эллипсический и сжатый, говорящий о молниеносной мысли и краденом времени. Она затуманенным взглядом прочла это жгучее, живучее письмо, после которого она потом целый день хранила на лице эту прерванную, сдержанную улыбку, эти таинственные углы губ, которые Пьер сравнивал с туманными улыбками Винчи, все еще удерживающими на губах блаженное наслаждение...

Если это уже так кружило ей голову, – чем же будет встреча! Это примиряло ее с настоящим. Но иногда Филипп получал от нее кричащие страницы, где бушевали все чудесные возможности ее желания.

Филипп всем существом своим наслаждался этой изумительной душой, всегда опустошенной и всегда переполненной, где радость и жалость, разочарование, надежда, лихорадка, усталость и отчаяние были той же плоти и крови.

Филипп Форбье, в самое мудрое и осторожное мгновение своей жизни изысканно влюбленный в работу, готовый на все безумия и все же склонный к покою, наблюдал у Сабины с успокаивающей его уверенностью ту особенную, изумительную легкость, с которой она управляла отчаянием, ускоряла и отстраняла безнадежность; из слез она выходила еще более живучей, еще более жадной к жизни. Печаль в ней была, как болезнь: то же изнеможение, то же трудное дыхание, – и каждый раз она, казалось, окончательно выздоравливала.

Филипп вспоминал, как она входила к нему летом, расстроенная и угнетенная, и когда он, встревоженный, начинал ее расспрашивать, не то смеясь, не то плача, отвечала:

– Ах, опять у меня сегодня были тысячи выносимых невыносимостей!

Когда он, однако, начинал смеяться над резкими скачками ее настроения, она совсем без улыбки говорила:

– Не надо об этом, вы меня не знаете. Вы не можете знать, какая я, когда вас нет, а когда вы здесь, я – вы...

Но он видел, как она живет, и не упадки ее его тревожили. Его тревожили ее бездомные, безродные мечтания, жадное, ненасытное любопытство ее ослепительных глаз и ее открытый смех, как бы кусающий неизвестность.

– Как я ее удержу? – думал он. – И кто запретит ей хотеть и быть... В каждое ощущение она входит, как на остров, отделяющий ее от всего и всех. Она принадлежит музыке, которую слушает, и книге, которую читает. Она говорила мне, что, перечитывая недавно «Исповедь» Жан-Жака, позавидовала его любви к г-же д'Удето. В один прекрасный день она уйдет от меня, как пришла, стараясь причинить мне возможно меньше боли, – ведь она не злая; и доброта ее будет хуже всего. Я, останусь ее другом, потому что от нее не уходят, и в душе она верна. Она придет, будет сдержанной. Она подумает: «Как я могла его любить?!» – и будет смотреть нарочно непомнящими глазами, и это будет мне – жесточайший запрет... И, прощаясь, она быстро выдернет свою руку, чтобы я не имел времени вспомнить.

Однако эти мысли не слишком омрачали счастье Филиппа Форбье.

Выйдя из возраста, когда рассчитываешь на бесконечность, и от природы не заботясь о завтрашнем дне, он смотрел на Сабину, как на восхитительную драгоценность, одолженную ему судьбой.

Он любил ее мрачной страстью, но также и этой сознательной своей стороной, делающей для него наблюдение радостью, и еще прирожденным весельем деятельных

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
умов, которые не могут отказаться от возвышенных занятий и больше
останавливаются на радости, чем на печали. Сознание благородной, полной и щедрой
жизни лишало его детской грусти любовного служения.

Наряду со страстью у него еще была к ней бесконечная снисходительность; он
освободил бы свою подругу от всякого долга и оправдал бы каждый ее поступок.

Он знал, что одно у него, по крайней мере, никогда не отнимется: его власть над
Сабинной, – власть его слабости, его силы, его ума, – и думал, как Ницше:
«Женщина – невинна; чьи руки когда-либо были для нее достаточно нежны!»

В тихом вогезском саду шла теперь мирная жизнь. Жена и сын Филиппа с
умилительным отречением предоставили ему заботиться о их счастье, как о лечении,
которое касалось их всех и в котором он выигрывал больше всех. Впрочем, г-жа де
форбье и Жак уже больше не боялись Сабинны. Спокойствие Филиппа, его длительная
работа, его нежная, веселая доброта окончательно их успокаивали. Все, что они
знали о молодой женщине, о ее влечении к науке, объясняло им склонность Филиппа
и посещения Сабинны; они снова привыкли быть счастливыми.

Филипп, нежный и прямолинейный, и от природы не выносящий лжи, привыкал теперь к
ее несложному механизму с тем философским спокойствием, к которому приводят нас,
в ущерб семейной добродетели, неизбежности страсти.

Он устроился со своей совестью так, что ни одна из его привязанностей не
страдала.

Ложь теперь казалась ему одним из проявлений супружеской и отцовской заботы. Он
даже с удовольствием наблюдал отблески одной своей любви на другой: мирная
семейная жизнь еще сильнее разжигала в нем жажду Сабинны, жгучей и свежей, как
мята; когда же он слишком от нее страдал, то находил в преданной и покорной
нежности жены и сына восхитительное лекарство от своей слабости и гордости.

Несмотря на все свое опьянение Сабинной, он все же сохранял к ней, когда ее не
видел и не был подвластен ее нежному безумию, это легкое недоверие, это
враждебную сухость, вызываемые в нас ревностью и страхом.

Менее уверенный в ней, чем бы следовало, и полный ужаса, что когда-нибудь
слишком будет от нее страдать, он постепенно приучал себя к разлуке. «Когда она
совсем от меня уйдет, – думал он, – я буду жить без нее, как сейчас. У меня
останутся книги, которые я читаю и пишу, научные беседы с благодарными друзьями,
спокойствие моего дома, и нежный воздух, и деревья, которые я посадил, и мое
знание вселенной».

Помня года, отделяющие его от Сабинны, и горе, которое она сможет ему доставить,
Филипп намеренно опережал ее в бесчувственности и твердости. Он слишком знал,
каким он делается слабым и безумным, когда ее видит, и как она все сделает с
ним, что захочет, зимой.

А она – в Брюйере – продолжала получать от него письма и, радуясь им, жила
спокойно; ее усталость от смутного лета рассеивалась. Ей нравилось говорить с
Марией; понемногу она узнавала, что та, благодаря гибкой и разумной воле,
окончательно завладела сердцем Жерома.

С приезда г-жи де Фонтенэ в Уазу прошло уже более недели, и дни легко скользили
от восхода к закату.

Однажды утром она, по обыкновению, гуляла, – только на этот раз одна: Марии
нездоровилось, и она осталась дома.

Молодая женщина, в грубом дорожном пальто и мужской фетровой шляпе, надвинутой
на глаза, весело шла по светлым аллеям, окаймленным газоном, под ногами ее
катились глянцевитые красные каштаны, выскочившие из своих треснувших скорлупок.

Временами среди молчания поднимался птичий крик, едкий, острый и одинокий, как
ягода остролиста в снегу.

Вся зелень парка, покоричневевшая и влажная, и цветы на изгородях, шершавые,
облетевшие, склоненные, были пропитаны мягким, волнующим, предсмертным

Было холодно, надвигался октябрь. Проходя мимо фруктового сада, она ощутила на ветру запах груш, фиалок, резеды и кислой вербены.

Она шла за ограду парка и очутилась на узкой, грубо вымощенной дороге, уводившей в поля. Яблоки и груши склоняли над ней свои ветки, тяжелые от маленьких, жестких, неудавшихся плодов. Предполуденное солнце начинало блеснуть и греть, и скоро надо всей этой осенью встало новое яркое лето.

Вдали холмы и плоскогорья напоминали карту, делались редкими и разъединенными, как на гравюрах. Деревья и домики вокруг высокого холма постепенно поднимались, казалось, совершали паломничество на его верхушку и напоминали, по движению, артериальные разветвления пейзажей Дюрера.

Г-жа де Фонтенэ встретила по дороге Жерома, и они вместе пошли домой, тихонько беседуя.

На крыльце стояла Мария. Она видела их. Лицо у нее было неприятное и взволнованное. Она сердилась. Сабина, недовольная, сделала вид, что не замечает; но, когда она, к вечеру, стала расспрашивать Марию, та сразу, с плачем, упала ей в объятия. Она рыдала, она все повторяла, что она – глупая, что не надо обращать на нее внимания. Она ревновала... Почему? Как? Неизвестно; она ревновала.

Она объясняла, что власть над Жеромом ей дорого далась, что она, наконец, добилась его нежности и наслаждения ею, а что в присутствии Сабины она чувствует себя слабой, уничтоженной, нищей.

Тогда г-жа де Фонтенэ, в припадке бурной и беспорядочной доброты, рассказала ей все свое приключение с Филиппом Форбье, только чтобы ее успокоить.

– Я знаю, я знаю, – повторяла Мария, – но я тебя слишком люблю; он меня отрывает от тебя, ты меня – от него, не знаю, что делать.

Сабина видела, что Мария с каждым днем все сильнее и сильнее страдает от ее присутствия. Однажды она весело объявила ей, что собирается в Париж, что уже больше не может жить вдали от улицы, где познакомилась с Филиппом. Мария попыталась было ее удержать, но слабо, и отъезд Сабины был решен.

Рано утром Сабина спустилась в парк. Все окна в замке были еще закрыты. Она думала:

«И все же я с вами расстанусь, родные мои деревья, мирные мои учителя, так нежно ко мне склоненные. Сейчас я еще слышу и вижу вас, но еще до ночи я уеду.

Что со мной будет?... Вы так крепко держали меня, бродячую и жалкую, что я была посреди вас, как своя; я говорила с вами. Я знала все ваши привычки, знала час, когда вы еще совсем сонные, когда под каждой из ваших веток – молчание, – и час, когда на вашей восточной ветке – солнце, и час, когда вы охвачены предвечерней тревогой, когда ветер в зарослях парка шатает слабые астры.

Вы знали, что я несу в себе образ человека, в котором – моя жизнь, и принимали нас обоих, потому что любите то, что просто».

Лужайки были покрыты лиловыми цветами безвременника, маленькими лопнувшими сердцами.

Сабина вошла в огород. Она часто туда заходила. Вдоль стены вился виноград, защищенный от всякого ветра. Все здесь было тепло, безмолвно и щедро. Правильными рядами следовали друг за другом – салат, раскрытый, как розы, высокая, медно-рыжая зелень артишоков, как бы вырезанная из бронзы, тонкие нити спаржи, летучие, как перья. Там и сям виднелись огромные тыквы, скатавшиеся вокруг своего стебля, – как с неба свалившиеся.

Вдоль грядок росли каймой осенние фиалки. Листья их походили на блюдечко с крупной росой; и запах этих фиалок был так совершенен, что, каждый раз вдыхая его, Сабина ощущала чудо.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Ах, – вздыхала она, – где вы, мой друг, и какие поцелуи когда-либо вытянут мою душу из тела, мою душу, такую жадную, что всегда она простирается дальше вас и дальше меня самой.

В тот же вечер она уехала.

Х

– Господи, – думала она, сидя в вагоне, который ночь, прильнувшая к стеклам, замыкала, как шкатулку. – Господи, как все это раньше меня бы расстроило: это возвращение, одной, в пустой дом, и эта усталость, эта слабость, эта тяжесть в сердце и висках! Раньше я бы плакала; теперь я стала благоразумной. Как жизнь, в конце концов, легка! Надо только быть очень несчастной...

Несколько часов спустя она шла, неся свой довольно тяжелый чемодан по зимнему вокзалу, туманному от холода и дыма. В карете, увозившей ее по черным, звонким улицам, она тихонько дремала, охваченная этой глубокой усталостью, этим сном, в котором, как в вате, тонут удары сердца.

Вернувшись в свою наскоро приготовленную комнату, она быстро разделась и легла, наслаждаясь огнем в печи, слегка разгонявшим холодное дыхание остывшей комнаты. Она в каком-то сладострастном оцепенении чувствовала, что ничего уже не хочет сейчас, ничего не любит, кроме этого легкого озноба, этого холодка, этого тепла, поднимающихся вдоль ее тела, по свежим и теплым простыням, в мягкую подушку.

Но проснувшись утром, она увидела, что совсем не отдохнула. Ей было холодно, она немного кашляла, ей было грустно. В окне стояло жестокое голубое октябрьское небо в белых, круглых, как шар, облаках.

Что-то душило ее. Она представила себе лицо Марии – это смущенное лицо, сгорающее от нежности и страха. И Филипп уже казался ей немного далеким, немного жестоким, – он ведь не отозвался на ее новое горе! Не получив от него в то утро письма, она стала упрекать его в лени.

Лентяй и бездельник, она это знала, с этим своим вечно озабоченным видом и с этими глазами одержимого, вечно ищущими вокруг себя пустое место во времени.

Она не раз, шутя, говорила ему:

– Раз вы сейчас все равно ничего не делаете, не будьте, ради Бога, таким занятым!

И он смеялся с нею.

Весь день она, мысленно, с ним спорила.

Она представляла себе его влюбленным в уголок осеннего леса, который он ей часто описывал, или какую-нибудь спутанную, взлохмаченную хризантему. Он на все смотрел с восторженным любопытством, как будто все видит в первый раз, и это иногда раздражало Сабину, – когда это длилось слишком долго и отвлекало его от нее.

На другой день пришло письмо, спешное, лихорадочное, где буквы летели, как быстрые стежки. Он писал о своих заботах, огорчениях, усталости: его жена была недавно очень больна, все в доме потеряли голову; теперь она поправлялась, но все еще были потрясены. Потом шли любовные слова, страстные, нежные и грустные, как если бы он писал изменнице, от которой уже ничего не ждет.

И г-жа де Фонтенэ, у которой уже горло сжималось от страха, что он еще долго не придет, находила его бессердечным, возмущалась его сладострастной, подозрительной и снисходительной любовью: ах, любить спокойно и доверчиво он умел только ту!

– Я отлично вижу, – думала она, – что он смотрит на меня, как на безумие своей жизни, как на что-то второстепенное, что иногда важнее всего, но в чем он вечно раскаивается, на что он вечно жалуется, со своим культом семьи и правды.

Он, бедный, любит меня одним уголком своей темной мужской души, – самым темным, самым бессознательным, и поэтому смотрит на меня, как на злую соблазнительницу,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru и не видит, что я куда несчастнее его...

Так, ясными днями конца октября, на ветру, прикивавшему к лицу, как прохладные руки, по лесам и улицам, блестящим и мокрым от частных ливней, гуляли по белому свету ее гнев и желание.

Она уже не могла ни слушать музыки, ни читать без мысли, что теряет в одиночестве единственное человеческое счастье, – то именно, для чего и созданы книги и музыка: несчастную, прекрасную любовь.

По вечерам она ходила к некоторым подругам и, уставясь в огонь лампы, говорила о страсти и ревности.

У одной из них она узнала, что г-жа де Розэ, жена ее отца, несчастна, что у нее любовник, от которого ее совесть ужасно страдает.

Она только подумала: «Господи, – и она!»

Она поклялась больше не ходить в театр, – ей слишком хотелось умереть при виде Гермiony, плачущей на груди Пирра, в одежде, рвущейся от ее бурного дыхания; ей слишком хотелось умереть от этого последнего сладострастия, этой кровожадности, этого героизма.

Иногда ее охватывала тяжелая усталость. Она бралась за вышивание, сначала работала насильно, потом увлекалась; ей уже хотелось написать Анри, уехать с ним куда-нибудь, создать себе новое счастье.

Но внезапно в ней вставала леденящая тоска, как если бы какой-то голос произнес внутри: «Ты же знаешь, что все это – обман, жалкий самообман твоей души. Ты не можешь жить без самого горького, самого безумного, самого мутного блаженства...»

И она прекрасно знала, что не может.

В письмах к Филиппу она все смягчала, щадя его, считаясь с его личными работами, которые угадывала. Как-то раз ей стало так плохо, что она подумала было написать Анри с просьбой вернуться, остаться с ней. Но потом ей стало стыдно и отвратительно от мысли, что ему придется нести на себе горе, которое ей причиняет другой.

Когда она получила письмо от своего двоюродного брата, Луи де Розэ, с известием, что он женится, она заплакала, – так это ей показалось трогательным.

– Со мной, должно быть, творится что-то неладное, – думала она.

Она кашляла, все же выходила и отучалась есть. Мысли приходили полосами, – блестящими или темными, вызывая подъем или упадок; но никогда уже ни порядка, ни точности, ни радости. Однажды она отправилась к доктору, которого знала и любила.

– Доктор, мне очень плохо, – сказала она.

– Во-первых, сядьте спокойно, – ответил он.

Но она продолжала:

– Я не могу сидеть спокойно, я отдыхаю только, когда здорова.

И прибавила:

– Мне нужно, чтобы вы меня сейчас же вылечили, – умоляю вас! – от этой вечной боли в затылке и этой вечной тоски. Она во всех моих жилах, я все время плачу...

Он предписал ей спокойствие, сон, питание, посоветовал спокойно смотреть на жизнь – такую безразличную и забавную. Природа, говорил он, никогда не обманет того, кто умеет любить и созерцательно, и спокойно.

– Значит, солнце и лиловые вечера, и ночи с теми же звездами, что когда-то стояли над Агригентой и Коринфом, вам не разрывают сердца?.. – спросила она.

Он ответил, что все это ему очень приятно, и Сабина поняла, что для него природа – только воскресный отдых, нечто вроде огромной свето- и водолечебницы. О, для нее она была не тем! Для нее она была таинственным любовником, в честь которого она наряжалась в свои лучшие платья.

Видя, как она удивлена и печальна, он с бесконечной добротой спросил ее, нет ли у нее какой-нибудь заботы, какого-нибудь горя.

С минуту она подумала, сказать или не сказать, потом ответила, что нет, и с внезапной веселостью заговорила о другом. И лицо ее было так подвижно, глаза глядели так ясно, что доктор с большой радостью убедился, что не ошибся в возможностях этой природы.

А Сабина, уходя, думала:

– Что я могла бы ему сказать, что бы не было тщетным? Его доводы – не мои... Только удовлетворение успокаивает; от голода, жажды и усталости ведь не вылечиться тем или иным взглядом на мир, – но хлебом, водой и постелью; также и от несчастья меня вылечит только счастье... Оно ничего другого не хочет.

Так день от дня г-жа де Фонтенэ все глубже и глубже падала в свое горе, всем телом, неловко, как рабочий, который убивается насмерть.

Она писала Филиппу:

«Я не вас люблю, я люблю любить, как я вас люблю. Я ничего не жду от вас в жизни, милый. Я жду от вас только моей любви к вам».

Ее физическое недомогание сделало ее такой чувствительной, что ни один кончик ее души уже не был защищен, радость сделала бы ей больно. Она уже была вне жизни, с мертвенным взглядом на мир.

Утром, когда в гостиной передвигали мебель и подметали, она ощущала грустное отвращение, какое-то жалкое отчаяние, как если бы это обыденное, преходящее занятие завладело всей ее жизнью, восторжествовало над всей ее мечтой.

– Когда-нибудь, когда я буду лежать мертвая, – думала она, – тоже будут убирать и подметать. Какая жалость – все эти маленькие мирные житейские законы!

Жена Филиппа Форбье поправлялась очень медленно. Сабина знала это из его писем. Тон их стал благоразумнее, сквозь слова слышался вздох: «Я старею, мне нужны спокойствие и чистая совесть, – и что я для вас, такой сверкающей?»

Ей хотелось, чтоб он знал, какая она теперь. Постепенно она поняла, что слова женщин не имеют смысла для мужчин, которые их любят.

Кроме того, усталость вызывала в ней какой-то упадок гордости, какую-то физическую боязнь занимать собой других, Марию ли, Филиппа – все равно.

Мария следующий месяц уезжала с Жеромом в Испанию; последнее письмо ее было счастливым и более уверенным.

– Бедная, – подумала Сабина, – как она меня боялась, я не давала ей жить.

И на минуту в ней проснулась что-то вроде тщеславного, насмешливого возмущения.

Тогда она в своем отчаянии вспоминала об одной учительнице рисования в квартале Клиши, когда-то дававшей ей уроки. Деятельная, веселая доброта этой бедной женщины и ее смирение предстали ей, как трогательная помощь.

Она нашла ее у себя, в маленькой холодной комнате, теплой только у самой печки. На шерстяной обивке мебели лежал тусклый дневной свет.

В углу кровать, задушенная периной и пологом, заменяла, должно быть, по ночам холод – удушьем и тяжестью.

Г-жа де Фонтенэ впала в отчаяние; учительница, которую она навещала, сжилась с

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru этой обстановкой, находила в ней уют. Она любезно встретила Сабину, с которой не видалась уже пять лет. Сабина ждала большего восторга, она ценила свои посещения. Но старая дева уже не так смотрела на вещи. В последнее время жизнь сделалась слишком трудной. У нее не хватало времени даже радоваться. Она извинилась перед Сабиной, что тотчас же после завтрака должна будет идти на урок. Потом она стала расспрашивать свою бывшую ученицу, как она живет, что делает. Г-же де Фонтенэ, при виде этого бедного, угрюмого труда, не захотелось жаловаться. Она только сказала:

– Все в жизни – дело характера. Вы вот не чувствуете себя несчастной, а я чувствую...

– Не надо обо всем этом думать, – отвечала м-лле Жакэн, торопливо двигаясь по комнате, – но нет, я тоже чувствую себя несчастной. Время слишком быстро бежит; мне больше, чем когда-либо, нужны сейчас воздух, отдых, деревня. Я так и умру, не подышав свежим воздухом...

– Бедная м-лле, – вздохнула Сабина.

Она смотрела на эту женщину, во взгляде и улыбке которой уже стерлась доброта. Все движения ее, казалось, сводились к тому, чтобы открыть ящик комода или печную дверку.

– Я доведу вас до вашего урока, – сказала она.

И оставив м-лле Жакэн у какого-то подъезда, она вернулась домой с еще большей усталостью.

Она побродила по комнатам и легла; ей снились нежные, сентиментальные сны, о которых она, проснувшись, смертельно жалела. В этих снах душа Филиппа казалась ей такой близкой, такой осязаемой, что она могла до нее дотронуться. На его лице, часами, стояло самое прекрасное его выражение; они были, он и она, в атмосфере, которую бы сами выбрали... И вся беседа их была проникнута такой совершенной и длительной душевной чувствительностью, что сердце Сабины во сне обмирало.

После этого ужасающая грусть пробуждения, легкое физическое недомогание скверного утра. Дрожащий взгляд Филиппа становился навязчивой идеей, светящейся точкой, которая призывала, раздражала и усыпляла.

Весь день этот свет стоял у нее перед глазами, она заперлась у себя в комнате, чтобы лучше вспоминать, и лежала, скатавшись на постели, прикрыв руками веки, с чувством почти физического наслаждения.

Бродя однажды утром по набережным Сены, она встретила в толпе молодых людей сына Филиппа Форбье.

Он так походил на отца, что Сабина страшно вздрогнула, мгновенно его узнала.

Они были тождественны... Она чувствовала, что у него неминуемо должно быть и сердце отца, эта двойная душа, мужская и женская, всегда находящая в себе достаточное удовлетворение.

Г-жа де Фонтенэ говорила себе:

– Он молод, как тот был молод, и красив, как он. В свою очередь, у него будут сыновья, похожие на него, с тем же лицом упрямого Антиноя. Сын Филиппа – это вечность той расы, от которой я умираю.

Все, что ее сдерживало, исчезло.

Она решила во что бы ни стало увидеть своего друга.

Она написала Филиппу, что хочет его видеть и что именно он должен приехать, – в Нанте, куда она могла бы выехать ему навстречу – ненадежно, там сейчас родственники ее мужа. Сделав это, она почувствовала себя как человек, спасший, наконец, свою жизнь: совесть ее успокоилась.

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
От Филиппа пришла телеграмма: «Еду» – и потом другая, что выехать не может, потом пришло письмо, с известием, что он будет в Париже через три-четыре недели.

Сабина уже больше не удивлялась, она привыкла к разочарованию, она говорила себе: «Ну, что ж», как человек, глотающий со сдавленным горлом. Тупым и спокойным взглядом смотрела она, как неудача толкает ее прочь из жизни.

Она уже почти не вставала.

– Спать! спать! – вздыхала она.

Однажды она сказала себе:

– Почему бы не спать – всегда?

И это соблазняло ее, как если бы ей дали глотнуть какого-то восхитительного вина.

Теперь она писала Филиппу немножко реже, и только полусутя; ответы его никогда ни на что не отвечали.

Она уже неясно представляла себе его там, у ее мысли уже не было сил на это путешествие. Даже если он теперь вернется, он все же будет далек, раз она его боится... Не тот далек, кто отделен пространством, а тот, кого боишься обнять...

Она также не старалась больше уяснить себе эту душу; это было слишком сложно, слишком утомительно, – к тому же – все мужчины, которых она когда-либо знала, были сумасшедшие.

Она спрашивала себя, любил ли ее, действительно, когда-нибудь Филипп...

Она уже не думала обо всем этом, она видела видение, от которого умирала.

Из взглядов этого человека, из его точных, нежных движений, из всего, что в нем было смутного и чувственного, из желания, загоравшегося на его лице вместе с головокружительным вдохновением, она создавала себе что-то, чем себя убивала. Она делала это с мрачной радостью, полюбила свое безумие. Малейшие подробности жизни с Филиппом вставали в ее памяти. Она с разрывающимся сердцем вспоминала один вечер в Латинском квартале, в кабачке среди студентов, рабочих, женщин без шляп.

Перед столиками стоял артист, товарищ, исполненный жалкого дарования, умирающий от пьянства, и грустным голосом пел любовные песни, – подлые, пьяные, расслабленные песни, порочные и простодушные. В стихах, сопровождаемых томной, тягучей музыкой, говорилось о вечном желании, о запахе любимого тела, о любовном ложе под деревьями, о ревности и о ноже.

Все это подымалось из самых недр бытия.

Сабина вспомнила, что слушала тогда с огромным волнением всего тела, смятенная этой нищенской страстью, впивающейся в уста, как в хлеб. Жалкие женщины вокруг нее тоже слушали, – о, равенство любви и смерти! – слушали тихо и храбро, давно оставив за собой все опасности поцелуя.

И вот, в настоящую минуту, она никак не могла отделаться от одного из этих тягучих напевов:

Мне говорил однажды ты:

Возьми цветы

Для ложа, что мне будет гробом...

Что-то жгучее разрасталось в ее сердце; она уже не знала, чего так хочет; это росло, росло, уходило в бесконечность; она видела огромные солнечные пространства, и толпы, идущие к ней, и себя, богиню вечного желания.

А потом – угнетенность, слезы, отвращение ко всему.

Она говорила себе:

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Довольно таких дней... Больше не надо... Надо умереть.

Ей не верилось, что смерть ее, действительно, успокоит. Думая об этом, она улыбалась. Однажды она сказала себе: «Я покончу с собой». И это сразу сделалось безвозвратным решением, подобно механизму, который уже не может выйти из своих границ. Слабость и томление исчезли. Она занялась уборкой дома. Она чувствовала себя точной и сильной.

Поверив в возможность окончательного уничтожения, она успокоилась и прожила несколько дней, ни о чем не думая, ни над чем не мучаясь, все позабыв.

Но проснувшись однажды утром, она с огромным давлением в груди поняла, что никогда уже не будет ни счастливой, ни довольной, ни просто спокойной.

Она поняла, что все кончено.

Эти последние дни, прожитые в каком-то сладком оцепенении, все расстроили. Предметы она различала только сквозь тяжелый, нерасходящийся дым, воля ее уже не вставала, – раз она знала, что все равно все кончено!

Почему? Она бы не могла сказать...

Филиппа она видела, как видишь на дороге того, кто уходит; все меньше, все дальше...

Она думала:

– Он вернулся к ним, он больше не вернется... Зачем жить? Она устала от всего. Этот день она провела в мертвенном безумии, отвращении, отчаянии. Выбросив всю свою силу, она к вечеру почувствовала себя лучше. Тогда она подумала: спастись, уйти из жизни, уйти каким угодно путем! Самым темным, самым страшным! Только уйти!

Она говорила это громко, как бы прося чего-то, что можно получить. Потом она замолчала; она уже не жалела себя, – а как часто она себя в жизни жалела! Она говорила себе:

– Нечего себя жалеть, это глупо и подло, за глупость и подлость не жалеют.

Теперь она обращалась с собой жестко, сухо и властно, сердясь, что выносила себя так долго.

Было десять часов вечера.

Она напряженным шагом прошла в библиотеку, где стоял шкафчик с лекарствами. Она открыла его. Там были обыкновенные склянки и склянки синие – яды – с красными наклейками. Она прочла несколько трудных названий, потом увидела «морфий». Этот пузырек был у нее с лета – у Анри тогда был приступ ревматизма.

Она с любопытством читала надписи, увлекаясь, не думая о себе.

Морфий! Это напоминало ей одну болезнь ее отрочества. После целого вечера ужасных мучений ей впрыснули морфий. О, эта сладкая, ни с чем не сравнимая тяжесть! Она попросила второго укола, ей отказали, и тогда она целую ночь повторяла это слово: морфий, тихо, певуче, – голосом, влюбленным в мак...

Господи, как все это было далеко!

Она взяла склянку и иглу, находившуюся рядом. Десять грамм морфия – это убивает и не заставляет страдать.

Она вошла в свою комнату; топилась печка, что-то тихо и нежно свистело в дровах. Она села к столу, наполнила иголку ядом, положила ее на стол. Она сказала себе:

– Сейчас надо будет взять эту иглу, ни о чем другом не думать и сразу вонзить ее в тело.

Затем, успокоившись, стала искать конверты и бумагу. Она приготовила два

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
конверта: на большем она надресала адрес Марии, на другом – имя Филиппа. Мария уже сама доставит ему письмо.

Тогда, с лицом, постепенно разгорающимся, она написала:

«Друг, сейчас я сделаю вещь, которую, думала, никогда не решусь сделать.

Сейчас двенадцатый час, в полночь я себя убью. Мне не страшно, мучиться я не буду. Вы знаете, с каким ужасом я всегда избегала страдания! Я подробно справлялась о том, что смогу почувствовать: я ничего не почувствую.

Друг, то, что я сейчас сделаю, я делаю с большой уверенностью и большим спокойствием.

Весь этот месяц был ужасен, но вот уже неделя, как мое отчаяние превзошло мои возможности.

Я знаю, что, если бы вы были здесь, вы бы сказали мне, что жесточайшая боль слабеет, уменьшается в течение нескольких месяцев; но ведь умираешь не потому, что боишься будущего, а потому, что не можешь вынести завтрашнего дня. И потом, о моей жизни нельзя судить, как о других; я теперь знаю, что тем временем, как судьба обманывает и разрушает опасения других, все ужасы, которые я предвидела, случились.

Разочарование и несчастье были правилом всей моей жизни, тогда как у всех остальных они – только случайность.

Друг, вы видели меня смеющейся и играющей и всегда в восторге, ибо я все в мире любила с убийственной страстью, но что-то во мне вечно всего боялось.

Я уже страдала, когда встретилась с вами: так, из-за нескольких неудач и отчасти по привычке.

Я была, как пьяница, заходящий во все кабаки по дороге, но который был пьян, уже выходя из дому. Я родилась пьяной и всю жизнь прожила с жадной безумия и боли.

Когда я вас встретила, я узнала смертельное и чудесное счастье, я жила в ваших объятиях с непостижимой страстью, слабостью, усталостью и силой. Ни у кого, я думаю, так не сжимались зубы!

Вы любили меня и ушли от меня, потому что это понадобилось вашей жене и сыну.

Вы поступили как нужно: у мужчин есть совесть.

У женщин, дружок, нет совести, у них только ужасающее желание не быть несчастнее, чем возможно.

Если бы вы были здесь, я не смогла бы умереть; видя ваш взгляд и приближаясь к вам, я и без того умираю.

Если бы вы были здесь, вы бы взяли меня за руку и я бы сделала, как вы бы мне сказали, – как в день, когда я вас увидела во второй раз. Вы повели меня в библиотеку и, помогая мне на трудной лестнице, сперва сами того не желая, сжали в открытом, широком рукаве – мою руку. Если бы вы мне после этого сказали: „Бросься в окно!“ – я бы бросилась в окно.

Но вас нет, и я могу рассуждать. Сегодня утром, глядя на себя в зеркало, я увидела, что сделали с моим лицом все эти мучения и слезы: это сплошная тень, каждый уголок унижен.

Страдая и боясь за вас, я бы устала, состарилась, узнала бы эту пытку, которой, слава Богу, теперь уже не узнаю! – пытку уже не смочь дарить вам уверенную в себе красоту.

А иногда, я это чувствовала с опьянением и гордостью, я приносила вам все страны мира и все звезды неба в своих глазах и руках.

И потом, я всегда ощущала в наслаждении только то, что во мне самой. Когда я

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
устала и чувствую свое тело жалким, я не вижу садов и цветов.

Друг, я за последнее время, ходя по улицам, много смотрела на лица женщин. Почти у всех, проходящих мимо, озабоченный лоб, черты, растянутые скукой, – они точно поселились в безразличии. Они не улыбаются и не смеются, даже не верится, что они могут смеяться!

Они ходят, садятся, занимаются, смотрят – с какой-то раздирающей точностью. По каким часам направляют они свои, такие тщетные, дни?

Я не хочу так жить, я не вижу, когда не радуюсь... Еще ребенком я чувствовала, что смирение и тяжесть – не для таких, как я!

И ты бы сам не хотел, мой милый, чтобы та, которую ты взял за ее неистовство, гнев и крики, которая в твоих объятиях была неуловимой и бесконечной, которая так смотрела, так хотела и несла в себе такую бурю, что ее движения и голос меняли цвет неба, – ты бы не хотел видеть ее такой спокойной и послушной.

Мой милый, последняя неделя размягчила мне сердце, сделала меня бедной и слабой. Я умиляюсь и плачу оттого, что напротив меня, на стене, висит моя детская карточка. Я там очень маленькая, лет двух, должно быть. Большие, несколько тяжелые, нежные глаза смотрят прямо перед собой. Я сижу совсем спокойно и терпеливо, точно мне сказали, что сейчас за мной придут. Волосы совсем гладкие, еще немного светлые, спущенные на лоб. Вид у меня очень благоразумный и чего-то ждущий. Голые плечи, в кружевном платье, еще гнутся, они, наверное, были мягкие и слабые, как тело птицы в руке.

Друг, эти плечи, на которых красовалось по большому пышному голубому банту – такому легкому! – снесли на себе нежное буйство ваших рук, склонивших меня однажды к вашему желанию. Скажите, почему это так больно и почему я плачу о том, что я была маленькая, и такая благоразумная, и такая доверчивая!..

Мой милый, я всего боялась в жизни: грозы, ночи, одиночества и даже, когда еще вся горя, выходила от вас, – зимнего ветра, хватавшего меня на углу, – ах, я думала, что умру от холода!.. А сейчас я спокойно приму этот яд... Вы видите, что сделала со мной эта неделя...

Теперь я хочу думать только о тебе... меня не будет, но будешь ты, и это, единственно, важно: ты будешь зимой в той прекрасной темной комнате, где ты работаешь.

Ты будешь возле горячего камина, перед столом, покрытым книгами и бумагами; на лице твоём и шее будет свет от лампы, у которой фарфоровый розовый абажур и которая, мне казалось, светится только твоим лицом.

Ты будешь там, как в день, когда я в первый раз вошла к тебе.

Ты встал, у тебя был этот восхитительный взгляд куда-то в сторону, который не замечает людей, который, кажется, рассеивается в воздухе так, что все потом в комнате смотрит твоими глазами и горит.

Этот взгляд и какое-то мгновение твоей улыбки, что-то, о чем ты и не подозреваешь, – звук кончающегося смеха и какая-то складка рта, этот смех, который был – ты, и еще, признаюсь тебе, напоминал мне лицо одного человека, слегка смутившего меня в детстве, – твой взгляд и твоя улыбка были больше, чем ты. Вечером, расставшись с тобой, я старалась восстановить их, – и ночью тоже, когда так долго не спалось... И когда внезапно, как дар, сделанный памятью, они вставали передо мной с точнейшей точностью, я чувствовала на своем лице эти двойные биения радости и боли, которые ты любил и которые являются вздохами плоти и крови.

Мой милый, уж скоро полночь, я спокойна, но плачу. Плачу из-за тебя, ибо, хотя ты и господин, а я – такая покорная, – у тебя все же иногда бывали заботы и огорчения, и я тогда клала тебе на голову руки...

Кто положит тебе на голову такие влюбленные руки?..

Но тебя нет, тебя нет, нужно было бы жить без тебя завтра, а я не могу... Вот уже
Страница 208

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
полночь через несколько секунд; ты со мной, я закрываю глаза, ты со мной... Я вижу твои глаза и твой смех, и снова на мне весь запах твоего лица... Я закрыла глаза, ты здесь; ты не веришь, что я, правда, хочу умереть, и говоришь, глядя в сторону: „Какая она глупая!..“, и смеешься, и хватаешь меня обеими руками, и бросаешь к себе на грудь, и в тебе я умираю, и в тебе я умру...»

Первый удар полночи.

<1916>

Из писем Райнер Мария Рильке
Письма к молодому поэту
Париж, 17 февраля 1903 г.

...Вы спрашиваете, хорошие ли у Вас стихи. Вы спрашиваете меня. До меня Вы спрашивали других. Вы посылаете их в журналы. Вы сравниваете их с другими стихами и тревожитесь, когда та или иная редакция Ваши попытки отклоняет. Итак (раз Вы разрешили мне Вам посоветовать), я попрошу Вас все это оставить. Вы смотрите вовне, а это первое, чего Вы сейчас не должны делать. Никто не может Вам посоветовать и помочь никто. Есть только одно-единственное средство. Уйдите в себя. Испытайте причину, заставляющую Вас писать; проверьте, простираются ли ее корни до самой глубины Вашего сердца, признайтесь себе, действительно ли Вы бы умерли, если бы Вам запретили писать. Это – прежде всего: спросите себя в тишайший час Вашей ночи: должен ли я писать? Доройтесь в себе до глубокого ответа. И если бы этот ответ был да, если бы Вам дано было простым и сильным «должен» ответить на этот насущный вопрос – тогда стройте свою жизнь по этой необходимости; вся Ваша жизнь, вплоть до самого безразличного и скудного ее часа, должна стать знаком и свидетельством этому «должен». Тогда приблизьтесь к природе. Тогда попытайтесь, как первый человек, сказать, что Вы видите и чувствуете и любите и теряете. Не пишите любовных стихов; избегайте для начала слишком ходких и обычных тем: они самые трудные, ибо нужна большая зрелая сила – дать свое там, где уже дано столько хорошего, а частью и блестящего. Поэтому спасайтесь от общих тем к своим личным, поставляемым Вам данным днем Вашей жизни: расскажите свои печали и желания, преходящие мысли и веру во что-нибудь прекрасное – делайте все это с глубокой, тихой, смиренной правдивостью и берите, чтобы высказать себя, вещи Вашего окружения, образы Ваших снов и предметы Ваших воспоминаний. Если Вам Ваш день покажется бедным, не вините его, вините себя, скажите себе, что Вы недостаточно поэт – вызвать его сокровища; ибо для творящего нет бедности, нет такого бедного безразличного места на земле. И если бы Вы даже были в тюрьме, чьи стены не допускали бы до Вашего слуха ни одного из земных шумов – не оставалось ли бы у Вас еще Вашего детства, этого чудесного королевского сокровища, этой сокровищницы воспоминаний. Туда глядите. Попытайтесь вызвать к жизни затонувшие чувствования тех далеких времен; Ваша личность окрепнет, Ваше одиночество расширится и станет сумеречным жилищем, далеко минуемым всем людским шумом. – И если из этого оборота внутрь, из этого погружения в собственный мир получатся стихи, тогда Вам и в помыслы не придет кого-нибудь спрашивать, хорошие ли это стихи. Вы также не попытаетесь заинтересовать своими вещами журналы, ибо они станут для Вас любимым, кровным достоянием, куском и голосом собственной жизни. Произведение искусства хорошо тогда, когда вызвано необходимостью. В природе его происхождения – суждение о нем: нет другого. Посему, многоуважаемый N., я бы ничего не посоветовал Вам, кроме: уйти в себя и испытать глубины, питающие Вашу жизнь: у истоков ее Вы найдете ответ на вопрос, должны ли Вы писать. Примите его как прозвучит, вне толкования. Может быть, окажется, что Вы призваны быть поэтом. Тогда примите свою судьбу и несите ее, тяжесть ее и величие, никогда не озираясь на награду, могущую придти извне. Ибо творящий должен быть для себя целым миром и все находить в себе и в природе, с которой он воссоединился...

Виареджио, близ Пизы (Италия)

5 апреля 1903 г.

...На сегодня – только еще две вещи: ирония.

Не давайте ей над собой власти, особенно в нетворческие минуты. В творческие попытайтесь употребить ее как еще одно средство охватить жизнь. Чисто взятая,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru она тоже чиста, и стыдиться ее не нужно; но – если Вы чувствуете ее себе слишком близкой, если Вы растущей близости с ней боитесь, тогда обратитесь к большим и серьезным вещам, перед которыми она становится маленькой и беспомощной. Ищите глубину вещей: туда ирония никогда не сходит и, когда Вы ее так поставите на краю великого, проверьте также, является ли такое восприятие жизни необходимостью Вашего существования. Ибо под влиянием больших вещей она либо отпадет (если случайность) или же (если действительно Вам прирождена) вырастет в серьезное рабочее оружие и войдет в ряд средств, которыми Вы будете осуществлять свое творчество.

А второе, о чем я Вам сегодня хотел сказать, следующее:

Из всех моих книг мне только редкие необходимы, но две всегда со мной. Со мной и здесь: Библия и книги великого датского писателя Jens Peter Jacobsen'a. – Я сейчас подумал, знаете ли Вы его вещи? Достать их легко... Достаньте себе томик «Шесть новелл»... и его роман: «Niels Lyhne»... и начните с первой новеллы первого тома – «Mogens». Целый мир на Вас нахлынет, блаженство, богатство, непостижимое величие целого мира. Живите некоторое время в этих книгах, присвойте себе то, что Вам покажется достойным присвоения, а главное – любите их. Эта любовь Вам тысячу и тысячу раз воздается, и – как бы ни сложилась Ваша жизнь, пойдет, я в этом убежден, через ткань Вашего роста, как одна из главных нитей среди всех нитей Ваших начинаний, разочарований и радостей.

Если бы мне нужно было сказать, от кого я узнал о сути творчества, о его глубине и вечности, я бы смог назвать только два имени: имя Якобсена, великого, великого поэта, и Августа Родена, скульптора, не имеющего себе равного между творцов ныне живущих.

Рим, 23 декабря 1903 г.

Мой милый N...!

Вы не должны остаться без моего привета на Рождество, когда Вы, среди всей окружающей радости, тяжелее будете нести свое одиночество, чем всегда. Но если Вы тогда заметите, что оно больше – радуйтесь ему; ибо – спросите себя сами, чего бы стоило одиночество, которое бы не было большим; есть только одно одиночество, и оно велико, и нести его не легко, и почти всем суждены часы, в которые они его охотно променяли бы на любую – хотя бы самую обычную и дешевую общность, на хотя бы призрак близости с первым встречным, с самым недостойным... Но, может быть, именно в эти часы одиночество и растет; ибо его рост болезненен, как рост мальчика, и печален как начало весны. Но это не должно Вас сбивать. Что важно – все же лишь только это: одиночество, большое внутреннее одиночество. Уходить в себя и там часами никого не встречать – этого должно достичь. Быть – один, как в детстве был один, когда вокруг ходили взрослые, переплетенные с вещами, казавшимися большими и важными – потому что. старшие выглядели такими занятыми – а ты в их занятости ничего не понимал.

И когда в один прекрасный день ты понял, что их занятия – жалки, их профессии заостенели и больше с жизнью не связаны, почему же и дальше не смотреть на них детскими глазами, как на чужое, изглубока собственного мира, издали собственного одиночества, которое само уже – труд, и достоинство, и призвание. Зачем менять мудрое детское непонимание на борьбу и презрение, раз непонимание – отъединение, борьба и презрение же – соучастие именно в том, с чем, борясь и презирая, хочешь порвать.

Думайте, милый N..., о мире, который в себе носите, и называйте это думанье как угодно: будь то память о собственном детстве или тоска по собственному будущему, – будьте только внимательны к тому, что в Вас встает, и ставьте это превыше всего, что вокруг себя замечаете. Ваше внутреннее совершение достойно всей Вашей любви, Вы должны над ним как-нибудь работать и не терять слишком много времени и сил на выяснение Вашего взаимоотношения с людьми. Да кто Вам сказал, что у Вас вообще таковое имеется? – Знаю, Ваш род занятий (военного) тяжел и во всем Вам обратен, и заранее ждал Вашей жалобы, и знал, что она придет. Теперь, когда она пришла, я не могу Вас утешить, могу только посоветовать Вам – подумать, не таковы ли все профессии – полные притязаний, полные вражды к отдельному человеку, насквозь пропитанные также ненавистью тех, кто молча и мрачно покорился своим трезвым обязанностям. Круг, в котором Вы сейчас осуждены жить,

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru не более отягощен условностями, предрассудками и заблуждениями, чем все другие сословия, а если и имеются некоторые, с виду более вольные, то все же нет ни одного, существенно-просторного, связанного с большими вещами, из которых состоит настоящая жизнь.

Только отдельный, уединенный управляется, как вещь, глубокими законами, и когда ты выходишь в утро, встающее, или смотришь в вечер, полный совершения, и чувствуешь, что там совершается – то всякое сословие с тебя спадает, как с мертвого, хотя вокруг сплошная жизнь. То, что Вам, милый N..., сейчас приходится узнавать, как военному, Вы бы ощутили это в любой из существующих профессий; мало того – даже если бы, вне всякой профессии, знали бы только легкие и независимые отношения с одним обществом – чувство удушья было бы то же. – Всюду так; но из этого не следует ни страха, ни грусти; если нет общности между Вами и людьми, попытайтесь приблизиться к вещам, которые Вас не покинут; еще ночи есть и ветры есть, идущие сквозь деревья и через многие страны; еще у вещей и зверей все полно совершения, в котором Вы можете участвовать; и дети все еще такие, каким Вы были в детстве, – те же грусть и счастье – и думая о своем детстве. Вы опять живете среди них, среди одиноких детей, и взрослые – ничто, и их величие – дым.

Но если Вам страшно и мучительно думать о детстве, о его простоте и тишине, потому что Вы уже не можете больше верить в Бога, который в детстве, во всем и всегда, – спросите себя, милый N...: да действительно ли Вы Бога – потеряли? А что если Вы его еще никогда не находили? Ибо – когда же это могло быть? Неужели Вы думаете, что ребенок может его объять, его, которого мужи несут с трудом, и под бременем которого сгибаются старцы. Неужели Вы думаете, что действительно его обретя, можно потерять его, как камешек, – или, может быть. Вы также думаете, что обретенный им когда-либо может быть им утрачен? – Если же Вы признаете, что его в Вашем детстве не было, и раньше не было, если Вы чувствуете, что Христос был оболещен своей тоской, а Магомет обманут своей гордыней – и если Вы со страхом почувствуете, что его и сейчас нет, в тот самый час, когда мы о нем говорим – что дает Вам право его, никогда не бывшего, оплакивать и искать, как потерянного?

Почему Вы не думаете, что он – грядущий, от века предстоящий, будущий, конечный плод дерева, листья которого – мы. Что Вам мешает перебросить его рождение в грядущие времена и жить свою жизнь, как болезненный и прекрасный день в истории великой беременности? Разве Вы не видите, как все, что случается, всегда случается сначала, и не могло ли это быть ЕГО началом, раз начало само по себе – так прекрасно? Если он – наисовершеннейшее, не должно ли ему предшествовать меньшее, дабы он мог выбрать себя из полноты и избытка. – Не должен ли он быть последним, чтобы все в себе вместить, и какой смысл имели бы мы, если бы тот, которого мы жаждем, уже был?

Как пчелы составляют мед, так мы из всего извлекаем сладчайшее и строим ЕГО. С малого даже, с незаметного (будь это только с любовью) начинаем мы его, с работы и отдыха вслед, с какого-то молчания или с маленькой одинокой радости; всем, что мы делаем одни, без участников и приверженцев, начинаем мы его, которого не дождемся, так же мало, как наши предки могли дожидаться нас. И все же они, те давнопрошедшие, в нас, как склонность, как тяжесть на нашей судьбе, как кровь, в нас шумящая, как жест, встающий из глубины времен.

Есть ли что, могущее у Вас отнять надежду когда-либо так же сбыться в самом далеком, в самом крайнем – Нем?..

Фуруборг, Ионсеред (Швеция)

4 ноября 1904 г.

...о чувствах: чисты все те, которые Вас собирают и поднимают; нечисто то, берущее лишь одну сторону Вашего существа и – так – искажающее. Все, что Вы думаете перед лицом своего детства, добро. Все, что делает Вас больше, чем Вы были в самые лучшие Ваши часы, правда. Всякий подъем хорош, если только он встает из всей Вашей крови, если он не дурман, не муть, а: радость, прозрачная до самого дна.

Ясно ли Вам, о чем я хочу сказать?

И Ваше сомнение может сделаться благом, если Вы его воспитаете. Оно должно стать знающим, оценкой должно стать. Каждый раз как оно захочет что-либо Вам испортить, допрашивайте его, почему вещь плоха, требуйте от него доказательств, испытывайте его, и Вы, может быть, застанете его беспомощным и смущенным, может быть и упорствующим. Но не сдавайтесь, требуйте доводов и поступайте так, внимательно и последовательно, в каждом данном случае, и день придет, когда оно из разрушителя превратится в одного из лучших Ваших работников – может быть, в умнейшего из строящих Вашу жизнь...

(Эти письма обращены к францу Ксавере Каннус'у, лейтенанту австрийской армии.)

Письмо к другу (A Une Amie)

Вы знаете, что я не из тех, что пренебрегают телом, дабы принести его в дар душе, – моя бы такого подарка не оценила. Всякий подъем моего духа начинается в моей крови, поэтому я ввожу себя в работу, живя просто, чисто, без раздражителей и возбуждителей, чтобы не обмануться относительно истинной радости духа, состоящей в радостном и – я бы сказал – славном созвучии всей природы. Но я сейчас нахожусь в необычайном внутреннем состоянии из-за этого длительного насильственного перерыва и, посему, необходимости вернуться к чувствам – очень ценным, но все же помеченным 1912 годом.

Еще немножко времени, и я, быть может, уже не буду понимать, как и откуда эти песни когда-то поднялись. Если Вы когда-нибудь узнаете некоторые из этих вещей, Вы меня лучше поймете, – так трудно сказать себя.

Когда я наклоняюсь над своей совестью, я в ней вижу только один закон, беспощадно-повелительный: замкнуться в себе и одним духом закончить дело, поведенное мне в самую сердцевину моего существа. И вот, повинуюсь – ибо Вы отлично знаете: стремиться сюда, я только этого хотел, и не чувствую в себе никакого права изменить направление моей воли, пока не закончу этого акта служения и послушания.

Я приблизительно покончил сейчас со всеми пред-работами – говорю об ужасающем заторе своей переписки – подумайте (я только что подсчитал их сегодня утром) – я написал сто пятнадцать писем, но ни в одном не было меньше четырех страниц, а во многих восемь и даже двенадцать довольно сжатым почерком. (Я, конечно, не считаю всего пошедшего к Вам, это не писанье, это дыхание через перо...) Сколько писем! ведь столько людей, которые ждут от меня – не совсем даже знаю чего, – помощи, совета, – от меня, такого беспомощного перед самыми властными требованиями жизни! и, хотя я прекрасно знаю, что они ошибаются, обманываются – у меня все-таки искушение (и не думаю, что это было бы из тщеславия) сообщить им некоторые свои итоги – некоторые плоды моих длительных уединений. И женщины и девушки, ужасающе-одинокие в самом сердце семьи – и юныя новобрачные, испуганные тем, что с ними случилось... и еще все эти молодые люди из рабочих – в большинстве революционеры – сбитые после тюрьмы со всякого толку и ныне сбившиеся на «литературу», сочиняя стихи каких-то злостных пропойц: – что им сказать? Как приподнять их отчаявшееся сердце, как выпрямить их искаженную волю, принявшую под давлением событий характер заемный и совершенно случайный и несомую ими ныне в себе как постороннюю силу – почти неизвестного им назначения.

Опыт Мальте заставляет меня иногда отвечать на эти крики незнакомых, он-то бы ответил, если бы когда-либо чей-либо голос до него дошел, – и он оставил мне как бы целое наследие действия, которое я не мог бы ни направить, ни истратить на иное, чем любовь. Он-то и заставляет меня продолжать это служение, он-то и просит меня любить каждую вещь, которую хочу создать, всеми моими возможностями любви. Вот неотразимая сила, завещанная мне им. Представьте себе Мальте, который бы, в этом, столь ужасном для него Париже, имел бы подругу или даже друга. Разве он вошел бы тогда так глубоко в доверие вещей? Ибо каждая вещь (так он мне часто говорил в наших нескольких близких беседах), насущную жизнь которой Вы хотите передать, сперва Вас спрашивает: – Свободен ли ты? Готов ли ты посвятить мне всю свою любовь, лечь со мной, как Св. Юлиан Милостивый лег рядом с прокаженным, возвращая ему то бессмертное объятие, для которого мало простого преходящего милосердия, но двигатель которого – любовь, вся любовь, которая есть на земле. – Если же вещь видит (так мне говорил Мальте) – если же вещь видит, что Вы заняты – будь то хоть то частичей Вашего внимания – она закрывается; она еще сообщает Вам, может быть, пароль, подает Вам мимоходом легкий Дружественный знак (что уже

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru много для смертного, замкнутого между смертных)... но отказывается дать Вам все свое сердце, Доверить Вам свою терпеливую сущность, свое тихое звездное постоянство, так роднящее ее с созвездиями!

Для того, чтобы вещь Вам говорила, Вы должны взять ее на некоторое время как единственную существующую, как единственное явление, помещенное усердием и исключительностью Вашей любви по самой середине Вселенной и на этом несравненном месте обслуживаемое в тот день Ангелами. То, что Вы, мой друг, сейчас читаете – один из уроков, мне, Мальте (моего единственного друга за столькие годы страданий и искушений!) и я вижу, что Вы то же самое говорите, точь-в-точь, когда говорите о Ваших работах карандашом и кистью, ценных для Вас только как любовный договор, где кисть или карандаш только осуществляют объятие, нежное вступление во владение.

* * *

Не пугайтесь этого слова «судьба» в моем последнем письме: я зову судьбою все внешние события (включая болезни, напр<имер>, которые неизбежно могут прервать и уничтожить данное состояние духа или устремление души, одинокое по своей природе. Сезанн это отлично понимал, когда последние тридцать лет своей жизни удалялся от всего, что, по его выражению, могло бы «наложить на него лапу», и когда, при всей своей набожности и преданности традициям, упорно отказывался идти на похороны матери – чтобы не потерять рабочего дня. Когда я это узнал, это пронзило меня как стрелой, но пламенной стрелой, которая, пронзая мне сердце, оставляла его в пожаре яснозрения. Мало в наши дни художников, понимающих это упрямство, это страстное упорство, но, думается мне, без него мы навсегда останемся на периферии Искусства, правда уже достаточно богатой, чтобы разрешить нам то или иное приятное открытие – но не более чем игроку за зеленым столом – пусть временами удачливому – но все же подверженному случаю, этой послушной и ловкой обезьяне закона.

* * *

Мне часто приходилось отбирать книжку Мальте у молодых людей, запрещая им его читать. Ибо эта книга, конечная цель которой, как будто бы, доказать невозможность жизни, должна быть читаема, я бы сказал, против собственного течения. Если в ней горькие упреки – они относятся не к жизни; наоборот, это непрерывное подтверждение, что только по слабости, по рассеянности и по вине наследственных заблуждений мы почти целиком теряем несметные богатства, нам здесь уготованные.

Попытайтесь, моя Дорогая, пробежать переполненность этих страниц по этому руслу, – это не избавит Вас от слез, но может быть сообщит всем Вашим слезам значение более ясное, и, я бы сказал, прозрачное.

P.S. – Вот строфы, сложенные для Вас в субботу, гуляя по восхитительной аллее Холлингского замка.

Qui nous dit tout disparaisse?
de l'oiseau que tu blesses
qui sait s'il ne reste le vol,
et peut-être les fleurs des caresses
survivent à nous, a leur sol.
Ce n'est pas le geste qui dure
mais il vous revet de l'annure
d'or – des seins jusqu'aux genoux –
et tant la bataille fut pure
qu'un ange la porte apres vous.
Rainer Maria Rilke

(Кто нам сказал, что все исчезает? Птицы, которую ты ранил – кто знает? – не остается ли полет? и может быть стебли объятий переживают нас, свою почву. Длится не жест, но жест облекает вас в латы, золотые, – от груди до колен. И так чиста была битва, что ангел несет ее вслед.)

Письмо[71]

(Несколько дней спустя после смерти Райнер Мария я получил следующее письмо, подписанное просто «Неизвестная». Даю его, не изменив ни слова. Это такое человеческое, такое голое свидетельство, что всякое пояснение излишне; я просто узнал с тех пор, что встреча, о которой здесь речь, произошла в 1916 г.).

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Прочтя сегодня вечером Ваши строки о Рильке, обращаюсь к Вам.

Я знала его до войны и хочу Вам рассказать о нем одну вещь, вещь, смогшую произойти только в присутствии женщины.

Мы шли с ним вдоль решетки Люксембургского сада, теми спокойными местами, где добрая госпожа Nohant'a[72] некогда расстилала свое широкое, еще немножко слишком белое, платье. Я уже не помню, о чем мы молчали. Я, может быть, заканчивала в себе, на романтический и смехотворный лад, историю Абелоны... (Женщины долго не могут свыкнуться с бесконечными и неоконченными историями – рильковскими историями – никогда не оконченными, кончающимися, как земля кончается на краю пропасти: тайны.)

Он, может быть, думал о своей смерти, об этой смерти, только что начавшей его царствование, смерти бледной, скромной и молчаливой, от которой бы отрекся высокий «Дед», умершей с громкими воплями, в высоком зале, посреди множества народа.

Или же – и несомненно даже – с улыбкой думал о том, что сейчас сделает.

Он подошел ко мне в тот день, держа в руке великолепную розу. Он мне ее не поднес, он также не отдал ее на растерзание святотатственным ручкам моего двухлетнего ребенка, красоту которого любил, и я ничего не спросила его о присутствии этого цветка, ослепительного и непривычного.

В уголке, о котором речь, мы почти ежедневно заставляли старую женщину, сидящую на каменном краю решетки. Она просила милостыни – сдержанно и со стыдом, раз мы никогда не видели ее глаз и не слышали ее голоса; она просила всей своей позой, круглой спиной, всегда покрытой черной шалью – хотя было лето, опущенной линией губ, а главное руками, всегда полускрытыми черными митенками и крепко сжатыми между сдвинутых колен, руками более нищенскими, чем протянутые руки.

Каждый раз, как по взаимному уговору, мы опускали куда-то возле этих рук милостыню, испрошенную ими с таким невинным искусством. Старая женщина, не подымая головы, усиливала страдальческие линии своего лица, и мы никогда не видели ее глаз, не слышали ее благодарности, и у всех прохожих, подавших, была наша участь.

Как-то раз я сказала: «Она, может быть, богатая, у нее, может быть, шкатулка, как у Гарпагона». Р<айнер> Мария ответил мне только взглядом укоризны, укоризны легкой, извиняющейся, но так-удивленной, что возникла из-за меня, что я покраснела.

В тот день – женщина только расположилась в своей просительной позе – она еще ничего не получила. Я увидела Рильке, кланяющимся ей с почтением, не с внешним, с высоты величия, но с почтением рильковским, полным, от всей души, – затем он опустил прекрасную розу на колени старухи.

Старуха подняла на Р<айнера> Мария вероники своих глаз (такие синие и свежие между красными гноющимися веками!), схватила, быстрым и так-соответствующим всему жестом руку Рильке, поцеловала ее и ушла маленькими сношенными шажками, – в тот день уже больше не прося.

Рильке свел на-нет низ своего лица, поглядел на меня всеми глазами, всем лбом. Я ему ничего не сказала. Я постаралась доказать ему без слов, что поняла его урок, что бесконечно люблю его видение людей, что, мысля их такими прекрасными, такими избранными, такими божественными, он, он сам делает их прекрасными и божественными, и внушает им жесты, идущие непосредственно от самой высокой знати.

Неизвестная

Пер. Марина Цветаева.

<1929>

Примечания

1
Время – это я (фр.).

2
Мое время – это мы (фр.).

3
«От ожидания ничего не теряют» (фр.).

4
Обреченное дело (фр.).

5
Хорошую мину при плохой игре (фр.).

6
Выдержки из статьи того же наименования, которую мой редактор Руднев превратил в отрывки. На эти вещи я злопамятна (примеч. М. Цветаевой).

7
«Земля в работе» (фр.).

8
Гордый, когда я себя сравниваю (фр.).

9
Униженный, когда я себя сравниваю, неизвестный, когда я себя рассматриваю (фр.).

10
В игре (нем.).

11
А все остальное – лишь литература (фр.).

12
Не имеется (нем.).

13
Одержимость (фр.).

14
Обладание (фр.).

15
Но намерение есть всегда (фр.).

16
Маяковский (примеч. М. Цветаевой).

17
Одержимые (фр.).

18

Счастлив тот, кто мог их изведать (фр.).

19

И уж никогда – вам! (примеч. М. Цветаевой).

20

«А Пруст?» – «Но Пруст ведь умер, а мы говорим о живых» (фр.).

21

Годы исканий (нем.).

22

Поприще открыто для таланта, и даже не открыто, а даровано (фр.).

23

Их цель была – цвести, а мы хотим трудиться незаметно (нем.).

24

Бессмыслица (фр.).

25

Орудиями, бутафорией (фр.).

26

Приглашение в путь (фр.).

27

Солнце выявит это! (нем.).

28

Лишь в чувстве меры мастерство приятно (нем.).

29

Мастер и шедевр (нем.).

30

Орудиями, бутафорией (фр.)

31

Мольба

32

Темный взор, на мне покойся,
Покори меня всего (нем.).

33

Не ниспровергатель! (нем.).

34

«После размышлений о судьбе женщин во все времена и у всех народов я пришел к заключению, что вместо слова приветствия „здравствуй“ каждый мужчина должен

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
говорить женщине: „Прости меня“» (фр.).

35

У счастливых не бывает истории (фр.).

36

Игра слов: полотно означает и полотно, и железную дорогу. Смысл: железные дороги разрушены, и ими нельзя пользоваться (примеч. М. Цветаевой).

37

Тосна и Дно – исторические железнодорожные станции. Через одну приехал Ленин, а на станции Дно царь отрекся от престола (примеч. М. Цветаевой).

38

Здесь говорится о молодых террористах Народной Воли, которые делали бомбы (примеч. М. Цветаевой).

39

Это точно он (фр.).

40

Здесь: шаловлив, задорен (нем.).

41

Магометова тропа – райский мост мусульман. Узкий как меч (примеч. М. Цветаевой).

42

Роза, о чистое противоречие: желание быть ничьим сном под столькими веками (нем.).

43

В хорошем свете (фр.).

44

В истинном свете (фр.).

45

Эпиграфа, девиза (ит.).

46

Престол четырех времен года (фр.).

47

«Чтобы стать невидимым: похитите черную кошку, в полуночный час перережьте ей горло левой рукой» (фр.).

48

Вы что, совсем один, как есть один? (фр.).

49

Пик знамени, скалы Страстей (фр.).

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
50
Звонкая, Колокольная (фр.).

51
Бодлеровская сущность (эссенция) (фр.).

52
Ах, как дурно они пахнут, г. Николай... Ах, нет, г. Моэн, они слегка завяли, но пахнут прекрасно (фр.).

53
Здесь любителя природы (нем.).

54
Дикая охота (нем.).

55
Горельеф (фр.).

56
«флорентийские ночи» (примеч. М. Цветаевой)

57
Entre chien et loup (между собакой и волком) – французская идиома, означающая «в сумерки».

58
Дорогой (фр.).

59
Цветаева обыгрывает здесь слова: animal – зверь, ame – душа, anime – одухотворенность (примеч. перев.)

60
Книгу песен (нем.).

61
Сказки нашей жизни и бытия (нем.).

62
Ему не до этого (фр.).

63
Предок Пушкина был приговорен к смерти Петром Великим (фр.).

64
Есть в «Истории Пугачевского бунта» и Гринев, но там он подполковник и с Пугачевым не встречается (примеч. М. Цветаевой).

65
Боясь, чтобы он внезапно не умер от страха (фр.).

Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
66
Пропуск в рукописи.

67
Пропуск в рукописи.

68
Изафанские розы в их мшистых ножнах.

69
Моссульский жасмин и цветы апельсина... (пер. М. Цветаевой).

70
Герой поэмы Мюссе (примеч. М. Цветаевой).

71
Это письмо получено Эдмоном Жалу, автором книжечки о Рильке (примеч. М. Цветаевой).

72 «La bonne dame de Nohant», – Жорж Санд (примеч. М. Цветаевой).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!